Цена 90 коп.

Индекс 73293

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «НАУКА»

«Октябрь», 1988, № 2, 1—208.

1988 2 ОКТЯБРЬ

ISSN 0132-0637

ОКТЯБРЬ

2

1988



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

2

1988

ФЕВРАЛЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В НОМЕРЕ:

Г. И. ШМЕЛЕВ,

доктор экономических наук

«Не сметь командовать!»

1

Пятнадцать лет я преподавал политэкономию в вузах и помню недоуменные вопросы студентов, которым мы как основную работу к теме «Коллективизация сельского хозяйства» рекомендовали ленинскую статью «О кооперации». Почему, недоумевали они, в этой небольшой статье много говорится «о торговом интересе», проверке и контроле его государством, о необходимости отказа от третирования кооперации «как торгашеской», о поддержке крестьянина, который участвует в кооперативном обороте, о кооперативной лавочке на селе, о необходимости соединить революционный размах и энтузиазм «с уменьем быть толковым и грамотным торгашом», о том, что крестьянину нужно торговать не «по-азиатски», а «по-европейски»? Спрашивали, какое отношение все это имеет к организации колхозов, ведь в статье об этом ничего не сказано. Статья к колхозам и не имеет прямого отношения. Нам незачем додумывать за Ленина и обнаруживать в его работе якобы скрытый им смысл, подгонять содержание этой работы к какой-то привычной схеме, опровергать тех, кто комментирует эту работу как ничего не говорящую о колхозах. Ленинская работа выражает отношение автора к кооперации вообще, к поголовной кооперации населения, то есть имеет более широкое значение, чем то, которое ей придавалось. Она посвящается также конкретной, получившей в то время определенное развитие кооперации мелких производителей в сфере оборота, снабженческо-сбытовой кооперации.

Почему столь большое внимание В. И. Ленин уделил в этой статье именно кооперации в области торговли? Ответ на это дается в самой работе: «В нэпе мы сделали уступку крестьянину, как торговцу, принципу частной торговли; именно из этого вытекает (обратно тому, что думают) гигантское значение кооперации». В широком распространении кооперации при господстве нэпа, отмечает В. И. Ленин, «есть все, что нам нужно, потому что теперь мы нашли ту степень соединения частного интереса», и добавляет: «частного торгового интереса, проверки и контроля его государством, степень подчинения его общим интересам, которая раньше составляла камень преткновения для многих и многих социалистов». Именно рост товарооборота крестьянских хозяйств, связанный с переходом от продразверстки к продналогу, привлек особое внимание В. И. Ленина к кооперации. «В самом деле, власть государства на все крупные средства производства, власть государства в руках пролетариата, союз этого пролетариата со многими миллионами мелких и мельчайших крестьян, обеспечение руководства за этим пролетариатом по отношению к крестьянству и т. д.— разве это не все, что нужно для того, чтобы из кооперации, из одной только кооперации, которую мы прежде третировали, как торгашескую... разве это не все необходимое для построения полного социалистического общества? Это еще не построение социалистического общества, но это все необходимое и достаточное для этого построения».

Выступая за широкое и активное участие населения в кооперативных операциях, Ленин отмечал, что для этого нужно, чтобы стала понятной выгода такого участия, что, в свою очередь, требует определенного уровня культуры масс. «Никакие другие премудрости нам не нужны теперь для того, чтобы перейти к социализму». Нэп был для того времени формой перехода от административных методов к преимущественно экономическим методам управления экономикой. «Нэп... представляет из себя в том отношении прогресс, что он приноравливается к уровню самого обыкновенного крестьянина, что он не требует от него ничего высшего»,— писал В. И. Ленин. И в то же время через развитие ко-

операции «всякий мелкий крестьянин» может фактически участвовать в построении социализма. Кооперация, которая развилась еще при капитализме и которую коммунисты третировали как торгашескую, может стать при другом общественном строе условием строительства социализма. Безусловно, у В. И. Ленина есть в других работах высказывания и о кооперации в сфере производства. Однако в данном случае нас интересует именно работа «О кооперации», поскольку в ней В. И. Ленин, рассматривая формы кооперации, не затрагивающие напрямую производственную сферу мелкого производителя, тем не менее делает далеко идущие выводы о соотношении этой кооперации и социализма.

В. И. Ленин говорит о том, что «кооперация в наших условиях сплошь да рядом совершенно совпадает с социализмом», что «простой рост кооперации для нас тождественен... с ростом социализма». Этот вывод рассматривается им как признание коренной перемены «всей точки зрения нашей на социализм».

Нас, повторяю, интересуют здесь отношение В. И. Ленина к так называемым «простым» формам кооперации, обслуживающим мелкого производителя, вытекающим из его интересов и потребностей, ответ на вопрос о том, соответствуют ли они социализму, его росту или нет. По этому поводу он высказывался, как мы видим, вполне определенно. Касаясь же использования совхозов и производственной сельскохозяйственной кооперации, он не отдавал предпочтения ни одной из форм и отмечал, что здесь последнее слово за практикой и самими крестьянами: «Что касается мер перехода к коммунистическому земледелию, то РКП будет проверять на практике три главные меры, уже созданные жизнью: советские хозяйства, сельскохозяйственные коммуны и общества (а равно товарищества) общественной обработки земли, заботясь о более широком и более правильном их применении, особенно же о способах развития добровольного участия крестьян в этих новых формах товарищеского земледелия и об организации трудящегося крестьянства для осуществления контроля снизу и товарищеской дисциплины».

В свете ленинских высказываний представляется несостоятельным утверждение об обязательности для построения социализма полного и всеобщего обобществления индивидуального хозяйства в сфере производства. Это чрезвычайно важно для выяснения социально-экономической сущности тех государств, где сохраняется в отдельных отраслях — сельском хозяйстве, в сфере услуг, производстве потребительских товаров — весьма многочисленный слой мелких производителей. Очевидно, развитие кооперации между ними в сфере снабжения и сбыта, области кредита, совместной обработки земли, совместного использования технических средств, как и расширение их сотрудничества с общественным сектором, даже без объединения таких хозяйств в производственной сфере тождественно росту социализма.

Еще Энгельс отмечал, что коммунисты стоят на стороне мелкого крестьянина и будут делать все возможное, чтобы ему жилось более сносно, чтобы облегчить ему переход к товариществу, а в случае, если он не будет еще в состоянии принять такое решение, предоставить ему возможно больше времени подумать об этом на своем клочке. Вот польский и югославский крестьяне еще до сих пор размышляют на этом своем земельном клочке и не торопятся сделать выбор в пользу обобществления своих средств производства, хотя у них перед глазами пример передовых общественных хозяйств с высоким уровнем технической оснащенности и социальными преимуществами, пока недоступными единоличнику. Они могут, не торопясь с решением, размышлять о судьбах своего хозяйства (не только думая, но и напряженно работая, конечно) потому, что народная власть, передав им землю, осереднячив деревню, помогает мелкому производителю в различных формах, делает в отличие от капитализма мелкое крестьянское хозяйство устойчивым, хотя в ряде стран, в той же Польше, значительная часть единоличного крестьянства отстает по уровню доходов от других слоев населения.

В Югославии и Польше развита простая кооперация и сотрудничество крестьян с общественным сектором, а производственная кооперация в ее «высшей форме» не развилась. В большинстве других стран, в частности ВНР, ГДР, ЧССР, она стала господствующей в структуре сельского хозяйства и показывает хорошие результаты.

В 20-х годах у нас в стране при крайне незначительном распространении «высших» форм производственной кооперации существенное развитие получили различные формы крестьянской кооперации, преимущественно в сфере обращения.

К 1927 году колхозы и совхозы вместе давали лишь два процента всей продукции сельского хозяйства и семь процентов товарной продукции. Многие из них были нерентабельными. В том же году общая доля коллективизированных крестьянских хозяйств не составляла и одного процента. В то же время крестьяне охотно, на добровольных началах вступали в другие разнообразные кооперации — кредитную, сельскохозяйственную...

Росло число простых крестьянских производственных объединений — мелиоративных, семеноводческих, животноводческих, поселковых товариществ. Они охватывали свыше 700 тысяч крестьянских хозяйств.

К концу 1928 года кооперацией в СССР в различных ее видах — и прежде всего крестьянской,— не затрагивающих основ самостоятельного ведения хозяйства, было охвачено около 28 миллионов человек, что более чем в 13 раз превышало количество занятых во всех формах кооперации в 1913 году. Например, по молочно-животноводческим районам кооперацией было охвачено 90 процентов хозяйств. И это был реальный рост социализма в деревне.

Кооперации по переработке сельскохозяйственных продуктов, товарищества по совместному использованию инвентаря и обработке земли и прочим оказывались льготы в снабжении машинами, усовершенствованными орудиями, кредитами. Росла первичная переработка сельскохозяйственных продуктов, в которой на кооперативных началах участвовали единоличные крестьяне — маслодельные, беконные, сахарные, консервные заводы, заводы по первичной обработке льна, сушильни и так далее. Эти кооперативы устанавливали непосредственные связи с социалистической промышленностью через заказы на поставку государству продукции. Тем самым осуществлялось плановое руководство крестьянскими хозяйствами. Важным средством планового регулирования государством крестьянского производства, учета потребностей промышленности в сельскохозяйственном сырье и развитии сельскохозяйственного производства являлась контрактация — единая форма государственных закупок. Договоры выполнялись через кооперацию и, кроме обязательств по поставке продукции, включали также производственные требования, касающиеся условий обработки почвы, содержания скота, качества сдаваемой продукции. Контрактация получила весьма широкое распространение к концу 20-х годов.

Деревня жила полнокровной общественной жизнью; собирались сельские сходы для решения важных вопросов: производственных и бытовых, благоустройства деревни, охраны окружающей среды, сельской застройки. Функционировали земельные общества, комиссии.

В мае 1921 года в соответствии с декретом «Об улучшении постановки дела социального обеспечения рабочих, крестьян и семей красноармейцев», подписанным Лениным, при всех сельских Советах и волисполкомах были созданы комитеты крестьянских обществ взаимопомощи — кресткомы. Они должны были организовывать взаимопомощь при стихийных бедствиях, содействовать органам социального обеспечения и поддерживать граждан, впавших в нужду, бороться с беспризорностью, нищенством, проституцией, пьянством. В задачи кресткомов входило также оказание производственной помощи бедноте, контроль за правильным наделением угодьями, содействие различным кооперативным организациям села и волости, распространение сельскохозяйственных знаний... К началу 1929 года функционировало около ста тысяч крестьянских комитетов общественной взаимопомощи. Они имели в своем распоряжении более 10 тысяч предприятий, около 50 тысяч сельскохозяйственных машин, располагали шестью с половиной миллионами пудов семенных фондов, оказывали безвозмездную и льготную помощь своим членам.

Все это свидетельствовало о больших правомочиях крестьянских масс в деле устройства своей производственной и общественной жизни, о решении многих вопросов всем «миром», на коллективистских основах.

В снабжении деревни мануфактурой доля кооперации и государственных органов уже в 1926—1927 годах составляла более 70 процентов, в закупке крестьянского хлеба — свыше 80 процентов, а такого сельскохозяйственного сырья, как хлопок, сахарная свекла,— около ста. Через кооперацию осуществлялось в основном кредитование крестьянских хозяйств и обеспечение их средствами производства. Простые формы кооперации позволяли преодолевать обособленность и ограниченность единоличного хозяйства, обеспечивали накопление элементов обобществления в производстве, обращении, в отношениях собственности на средства производства, «социализацию» психологии крестьян-единоличников, создавали условия для более рационального использования земли, труда, основных производственных фондов и оборотных средств, для ускорения роста доходов и благосостояния сельского населения.

Итак, социалистическое преобразование сельского хозяйства, которое ныне рассматривается лишь как производственное кооперирование типа колхозов, не соответствует ленинскому представлению об этом процессе. Если следовать букве и духу статьи «О кооперации», социалистическое преобразование сельского хозяйства шире и включает в себя развитие всех тех форм кооперации, которые распространились в нашей деревне уже в 20-х годах.

При общественной собственности на основные средства производства и власти трудящихся все формы кооперации, будь то кредитная, снабженческо-сбытовая, товарищества по использованию машин, по совместной обработке земли и прочие, являются социалистическими.

Ленинские высказывания о совместимости с поступательным развитием и укреплением социализма роста так называемых «простых» форм кооперации (которые отнюдь не являются простыми), рассмотрение их не только как подготовительного условия социалистического преобразования сельского хозяйства, а как его содержания важны не только для оценки процессов в нашей деревне в 20-е годы или польского, югославского села в нынешних условиях, они важны и для других европейских социалистических стран, где, главным образом

в горных регионах, сохранились единоличные крестьянские хозяйства.

Они важны и для оценки экономической, аграрной части программ коммунистических партий капиталистических стран, имеющих целью передачу земли тем, кто ее обрабатывает, широкую поддержку мелких производителей и их объединений.

Это также очень важно для стран, приступающих к строительству социализма в условиях слаборазвитой экономики и значительного преобладания в ней отсталого аграрного сектора, ремесла, а также развивающихся стран социалистической ориентации. Эти страны нередко исходили из стремления как можно быстрее преобразовать мелкое полунатуральное хозяйство в крупное социалистическое, использовав кооперацию типа наших колхозов, вместо того, чтобы развивать более простые и близкие крестьянским массам в этих странах объединения, потому терпели зачастую на этом пути неудачи.

Поскольку мировая социалистическая система в последний период пополняется слаборазвитыми странами, перед которыми стоит практическая задача кооперирования крестьянских хозяйств в разных формах (Вьетнам, Лаос, Кампучия), а также поскольку пути и формы кооперирования живо интересуют страны социалистической ориентации, в которых пока еще сильны докапиталистические пережитки, проблемы так называемой «простой» кооперации особенно актуальны. В связи с этим исключительно важно полное и неискаженное отражение ленинских взглядов на кооперацию.

Это важно и для нас. Сегодня перед обществом стоит задача восстановления и развития кооперации в различных областях экономики, а также оживления индивидуальной трудовой деятельности, возникает вопрос о расширении ее связей с общественным сектором. Меняется и само представление о кооперации. Ныне кооператив может состоять всего из трех членов, допускается семейная кооперация, что не имело места в прошлом.

Наконец, это важно и для правильной оценки нашей истории. Было бы неверным считать проведение сплошной коллективизации незначительной издержкой, эдаким «головокружением от успехов», которое в скором времени было преодолено.

2

Надо сказать, что именно со сплошной коллективизацией, проведенной вопреки ленинскому принципу добровольности, началось отчуждение крестьянства от земли.

Именно в те времена над деревней и крестьянством возвысилась зловещая фигура платоновского активиста из повести «Котлован», денно и нощно ждущего директив из центра, чтобы с особым рвением воплотить их в жизнь.

Сталин рассматривал ускоренную коллективизацию как реализацию ленинского кооперативного плана. Между тем В. И. Ленин конкретных планов в отношении перехода крестьян к объединению и крупному производству не строил. «Политика кооперативная, в случае успеха, даст нам подъем мелкого хозяйства и облегчение его перехода в н е о п р е д е л е н н ы й с р о к (разрядка моя.— **Г. Ш.**) к крупному производству на началах добровольного объединения».

Убежденный сторонник добровольности в решении вопроса о производственном объединении крестьян, В. И. Ленин исходил из того, что нельзя предсказать, как скоро крестьянин настроится к объединению, и оставлял неопределенные сроки для этого.

Между тем, как известно, такой план появился. Это был уже не ленинский, а сталинский план кооперации. Ф. Ф. Раскольников в своем известном теперь открытом письме Сталину с полным основанием бросил последнему обвинение в том, что он «грубостью и жестокостью неразборчивых методов», отличающих сталинскую тактику, сделал все, «чтобы дискредитировать в глазах крестьян ленинскую коллективизацию».

«Приписки» (или примысливания) к чужим высказываниям в теории могут быть гораздо более вредны для практики социализма, чем приписки в экономике, пример тому — сплошная коллективизация.

У Ленина мысль о том, что кооперирование крестьянских хозяйств может происходить лишь на основе добровольности, на основе осознания крестьянами потребности в этом, проходит красной нитью из одной работы в другую. «Мы прекрасно знаем,— подчеркивал В. И. Ленин,— что такие величайшие перевороты в жизни десятков миллионов людей, касающиеся наиболее глубоких основ жизни и быта, как переход от мелкого единичного крестьянского хозяйства к общей обработке земли, могут быть созданы только длительным трудом, что они вообще осуществимы лишь тогда, когда необходимость заставляет людей переделать свою жизнь». И еще несколько ленинских цитат.

«Крестьяне, — говорил он, — люди слишком практичные, слишком крепко связанные со старым земельным хозяйством, чтобы пойти на какие-либо серьезные изменения только на основании советов и указаний книжки».

«...Пытаться вводить декретами, узаконениями общественную обработку земли было бы величайшей нелепостью».

«Мелкое производство никакими декретами перевести в крупное нельзя...».

«Насилие по отношению к среднему крестьянству представляет из себя величайший вред».

«Всякий сознательный социалист говорит, что социализм нельзя навязывать крестьянам насильно и надо рассчитывать лишь на силу примера и на усвоение крестьянской массой житейской практики. Как она считает удобным перейти к социализму? Вот та задача, которая теперь перед русским крестьянством поставлена практически. Как она сама может поддержать социалистический пролетариат и начать переход к социализму?»

Сплошная коллективизация проводилась решением верхов, а не инициативой низов, широких масс крестьянства. К выработке этого плана представители крестьянства не привлекались.

Именно с того времени утвердился в развитии сельского хозяйства единственный «установочный» метод, игнорирующий конкретные местные условия — природно-климатические, национально-исторические, социально-психологические, демографические, а также желания большинства крестьян.

До сих пор в исторической и экономической литературе преобладает описание сплошной коллективизации с позиции сталинской статьи «Год великого перелома». Это характерно и для весьма солидных исследований. «Очень часто появление и работа в деревне одного трактора, а тем более целой тракторной кооперативной или государственной колонны решали для всей массы крестьянских хозяйств вопрос о вступлении всей деревни в колхоз»,— писал в своем трехтомном труде известный экономист П. И. Лященко.

Во всех подобных работах традиционно обращалось внимание и на перегибы в проведении коллективизации. Правда, перегибы признавались лишь до появления статьи «Головокружение от успехов». После нее коллективизация вышла якобы на правильный путь, соответствовавший ленинскому учению о кооперации. Перегибы были искоренены. Так ли на самом деле?

О нарушении принципа добровольности при проведении сплошной коллективизации весьма наглядно свидетельствуют данные стремительного нарастания процентов коллективизированных хозяйств и резкого падения их при ослаблении нажима: 1927 год — 0,8 процента; 1929 (октябрь) — 6,9; 1930 (январь) — 21,6; 1930 (март) — 55; 1930 (август) — 20,6; 1931 (июль) — 52,7; 1932 — 61,5; 1937 — 93 процента. Причем эти нарушения относятся не только ко времени до появления статьи «Головокружение от успехов», но и после нее, когда кратковременный и значительный отлив крестьян из колхозов в течение всего нескольких месяцев сменился почти полным восстановлением кооперированных хозяйств. Между мартом и августом 1930 года из колхозов вышло несколько миллионов крестьянских дворов.

Отлив из колхозов мог бы быть и значительно большим, если бы крестьяне накануне вступления в колхоз не порезали скот и могли бы вернуть свою землю, попавшую в единый колхозный массив. Вышедшие из колхозов крестьяне требовали отвода им земли, возврата обобществленной тягловой силы, инвентаря, сбруи. Однако другая часть крестьян, оставшихся в колхозах, не соглашалась с этим, ссылаясь на то, что обобществленные средства производства неделимы и неприкосновенны. Всесоюзный съезд колхозов, состоявшийся в июне 1928 года, постановил ограничить права членов на обобществленное имущество в случае их выхода, рекомендовал формирование «неделимого капитала», не подлежащего разделу между членами ни во время отдельных выходов, ни при ликвидации колхозов. Даже категорические директивы центра, обязывающие местных работников немедленно предоставить вышедшим из колхозов крестьянам возможность засеять земли индивидуально, отвергались. В ряде мест на этой почве происходил самовольный захват крестьянами-единоличниками ранее принадлежащего им колхозного имущества, а также колхозных земель. Ясно, что все это удерживало колеблющихся от выхода из колхозов. Между тем после короткого периода «передышки» накатывалась новая волна ускоренной и всеобщей коллективизации.

В сентябре 1930 года во все крайкомы, обкомы и ЦК партий республик было направлено письмо ЦК ВКП(б) «О коллективизации». В нем говорилось о недостаточном росте колхозного движения, несмотря на благоприятные условия. Указывалась основная причина: «пассивное и выжидательное отношение (ставка на самотек) к новому приливу в колхозы» со стороны партийных организаций. Было рекомендовано добиться решительного сдвига в деле организации «нового мощного подъема колхозного движения». В июне 1931 года на Пленуме ЦК ВКП(б) отмечалось, что в тех районах, где еще не завершена коллективизация, имеется «возможность в основном завершить здесь сплошную коллективизацию в настоящем году и, во всяком случае, не позже весны 1932 г.», то есть не растягивать ее на весь год, как предполагалось ранее. В постановлении ЦК партии «О темпах дальнейшей коллективизации и задачах укрепления колхозов», принятом в августе 1931 года, отмечалась необходимость усилить работу по проведению коллективизации и завершить ее в 1932—1933 годах. Нельзя обольщаться тем, что решения центрального органа партии не зависели от воли Сталина. Многие постановления того периода повторяли почти слово в слово то, что было сказано им в статьях и выступлениях. Нарушение добровольности было запрограммировано в самих сроках и способах проведения сплошной коллективизации, поэтому вряд ли правильно применять в этом случае слово «перегибы». Вернее говорить о явном отступлении от ленинских принципов кооперирования. Уже зная о распространен-

ных беззакониях, принуждениях, допущенных в отношении крестьянских масс, Сталин тем не менее начинает статью «Головокружение от успехов» с оценки того, как велики успехи в области колхозного движения, о чем, по его мнению, свидетельствует прежде всего охват крестьянских хозяйств коллективизацией. «Это факт,— пишет он,— что на 20 февраля с. г. уже коллективизировано 50% крестьянских хозяйств по СССР. Это значит, что мы перевыполнили пятилетний план коллективизации к 20 февраля 1930 года более чем вдвое». В конце декабря 1929 года, за два месяца до статьи «Головокружение от успехов», Сталин говорил, что «за нашими практическими успехами не поспевает теоретическая мысль». И хотя в вышеупомянутой статье он пишет о «перегибах», на самом деле это был тактический маневр, стремление переложить вину за методы коллективизации с себя на низовых работников. «Искусство руководства,— заключает статью Сталин,— есть серьезное дело. Нельзя отставать от движения, нужно вести борьбу на два фронта — и против отстающих и против забегающих вперед».

Даже известные последствия первого периода сплошной коллективизации и вызванные ими статьи «Головокружение от успехов» (март 1930 года) и «Ответ товарищам колхозникам» (апрель 1930 года), где Сталин должен был признать «перегибы» (конечно же, не свои), отнюдь не изменили его жестокую политику.

«Осуществляя пятилетку по сельскому хозяйству, партия проводила коллективизацию ускоренными темпами. Правильно ли поступала партия, проводя политику ускоренных темпов коллективизации? Да, безусловно, правильно, хотя и не обошлось здесь дело без некоторых увлечений». Мягко сказано, не правда ли? «Стоит ли после этого пороть горячку насчет быстрых темпов коллективизации? — спрашивал он и отвечал: — Ясно, что не стоит».

Характерно, что сам Сталин, говоря о коллективизации, многократно применял термин «насаждение» и не только применял его, но нередко, очевидно, чтобы не было сомнений в неслучайности его использования, выделял этот термин: «Чтобы мелкокрестьянская деревня пошла за социалистическим городом, необходимо еще, кроме всего прочего,— недвусмысленно отмечал он,— насаждать в деревне крупные социалистические хозяйства в виде совхозов и колхозов... Социалистический город должен вести за собой мелкокрестьянскую деревню не иначе, как насаждая в деревне колхозы и совхозы»,— подчеркивал он, противопоставляя это «насаждение» «самотеку» социалистического строительства в деревне.

Сталин считал вполне возможным устанавливать планы кооперирования за крестьян, без их участия и полагал вполне умеренными установленные сроки завершения коллективизации в стране до 1933 года. Он даже употреблял в отношении этих сроков выражение «растянуть коллективизацию». Ровно столько времени отводилось теперь крестьянину поразмышлять на клочке земли о том, вступать ему в колхоз или нет. Как далеко все это было от того, что завещал, имея в виду развитие кооперации, В. И. Ленин.

Можно с уверенностью сказать, что статья «Головокружение от успехов» — образец лицемерия в политике.

> Да, он умел без оговорок,
> Внезапно — как уж припечет —
> Любой своих просчетов ворох
> Перенести на чей-то счет;
> На чье-то вражье искаженье
> Того, что возвещал завет,
> На чье-то головокруженье
> От им предсказанных побед.
>
> А. Твардовский.

Очевидно, массовый выход крестьян из колхозов в 1930 году явился для Сталина неожиданностью. Нарушался ход задуманной и предпринятой им в широких масштабах акции, однако последующими решениями и действиями, осуществляемыми под его руководством, все вернулось «на круги своя».

Характерно, что в первой половине 1932 года повторился, хотя и на фоне общего роста коллективизированных хозяйств, массовый выход крестьян из колхозов (правда, в значительно меньших размерах, чем в 1930 году). Из колхозов тогда вышло более полумиллиона хозяйств.

Одновременно с ускоренной коллективизацией крестьянства происходило существенное изменение структуры коллективных хозяйств. Сельхозартель вытеснила все другие формы производственной кооперации. Если в 1928 году в сельскохозяйственной производственной кооперации преобладали ТОЗы — на них приходилось около 60 процентов всех коллективных хозяйств, на сельхозартели — 34,8 процента, то в 1932 году на сельхозартели уже приходится примерно 96 процентов, а на ТОЗы — всего два.

3

> *Тут ни убавить, ни прибавить,*
> *Так это было на земле.*
>
> А. Твардовский

Ускоренное жестким административным нажимом кооперирование деревни не соответствовало ни ленинским принципам, ни партийным и правительственным решениям, принятым незадолго до начала этого процесса.

В постановлении ЦИК и СНК СССР, принятом в марте 1927 года, отмечалось: «В настоящих условиях наиболее массовой формой коллективизации являются простейшие производственные объединения (товарищества по совместной обработке земли, машинные товарищества и т. д.)... Какое бы то ни было принуждение при организации коллективных хозяйств или искусственное форсирование перехода от простейших форм коллективных хозяйств к более сложным формам неизбежно нанесли бы коллективному движению огромный вред и задержали бы его развитие».

Многие видные партийные и государственные деятели в конце 20-х годов отмечали долгий срок перехода к общественному производству в деревне. Например, В. М. Молотов: «Мы знаем, что развитие индивидуального хозяйства по пути к социализму есть путь медленный, есть путь длительный. Требуется немало лет для того, чтобы перейти от индивидуального к общественному (коллективному) хозяйству... Нашей задачей является помочь развитию производительных сил крестьянского хозяйства. Все мероприятия Советской власти направлены на то, чтобы помочь этому развитию... Этой политики мы придерживались, придерживаемся и будем придерживаться, пока существует мелкое крестьянское хозяйство»,— можно прочесть в стенограмме XV съезда партии. Это не помешало Молотову затем безоговорочно поддержать курс на форсирование коллективизации.

М. И. Калинин на Первом Всесоюзном съезде колхозов сказал: «Почему я останавливаюсь в первую очередь на индивидуальном хозяйстве? Потому, что остальные мероприятия потребуют больше средств и более времени».

Еще в июле 1928 года сам Сталин говорил о поднятии индивидуального крестьянского хозяйства как о первой, главной задаче партийной работы, которая должна быть дополнена новыми задачами — по поднятию колхозов и совхозов. Даже в апреле 1929 года он отмечал, что «индивидуальное бедняцко-середняцкое хозяйство в деле снабжения промышленности продовольствием и сырьем играет и будет еще играть в ближайшем будущем преобладающую роль. Именно поэтому необходимо поддерживать индивидуальное, не объединенное еще в колхозы «бедняцко-середняцкое хозяйство».

Однако затем все круто меняется.

Следует отметить, что в нашей литературе до сих пор преобладает упрощенное, не соответствующее действительности представление об экономических последствиях нарушений, допущенных в период сплошной коллективизации. Представление о том, что статья Сталина «Головокружение от успехов» якобы все поставила на свое место, а если негативные явления в развитии сельского хозяйства и продолжались, то по вине сил, враждебных коллективизации, к тому же при любом коренном повороте в жизни села, мол, неизбежны издержки.

Между тем нарушение ленинских принципов кооперирования дорого обошлось нам. Если взять поголовье крупного рогатого скота, то оно с 1928-го по начало 1934 года сократилось на 26,6 миллиона голов (45 процентов), коров — на 10,3, или на 35 процентов, свиней — на 12,1, то есть в два с лишним раза, овец — на 64,4, или почти в три раза, коз — на 6,4, тоже почти втрое, лошадей — на 17,2 миллиона, или в два раза. На восстановление того поголовья крупного рогатого скота, которое насчитывалось в 1928 году, нам потребовался 31 год (оно было восстановлено в 1959 году), свиней — 25 лет (1953), овец — 29 (1957), коз — 11 (1939). Сокращение поголовья скота за военные годы было относительно меньшим, чем в период перехода к сплошной коллективизации: с 1941 по 1946 год поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 6,9 миллиона голов, коров — на 4,9, свиней — на 16,9, овец — на 21,3, лошадей — на 10,3, а число коз осталось на прежнем уровне.

Масштабы забоя скота крестьянством были бы значительно большими, если бы в январе 1930 года не вышли специальные постановления ЦИК и СНК СССР «О мерах борьбы с хищническим убоем скота», «О запрещении убоя лошадей и об ответственности за незаконный убой и хищническую эксплуатацию лошадей». За убой скота и лошадей на сельскохозяйственные предприятия и бедняцко-середняцкие массы единоличников налагался штраф в десятикратном размере стоимости забитого животного, а на кулаков — полная или частичная конфискация скота с одновременным привлечением к уголовной ответственности, наказание лишением свободы на срок до двух лет с выселением или без оного.

Ответственность колхозов и колхозников в этих постановлениях была не случайной, ибо из-за неподготовленности к широкому обобществлению скота, из-за отсутствия общественных животноводческих построек, кормов и прочего часто забивали ослабленный недокормом, плохим уходом скот, сведенный с крестьянских подворий. Это в какой-то мере повторилось и в конце 50-х годов в отношении скота из личных подсобных хозяйств, переводимого на общественные фермы.

В ставшем ныне известном письме М. Шолохова, написанном летом 1929 года, говорится об этом так: «Что творилось в апреле, мае! Конфискованный скот гиб на станичных базах, кобылы жеребились, и жеребят пожирали свиньи (скот был весь на одних базах), и все это на глазах у тех, кто ночи недосыпал, ходил за кобылицами... После этого и давайте говорить о союзе с середняком. Ведь все это проделывалось в отношении середняка».

Одной из причин массового забоя скота сельским населением в начальный период сплошной коллективизации была Директива Колхозцентра СССР от 10 декабря 1929 года, в которой предлагалось всем местным организациям в рай-

онах сплошной коллективизации добиться обобществления рабочего скота и коров на 100 процентов, свиней — на 80, овец — на 60.

На XVII съезде партии в 1934 году в отчетном докладе съезду Сталин вынужден был признать наличие «кризиса животноводства» в сельском хозяйстве и оценить задачу восстановления поголовья скота как первоочередную.

Между тем именно необходимостью значительного роста сельскохозяйственного производства Сталин объяснял настоятельность ускоренной коллективизации.

В своей речи на конференции аграрников-марксистов в декабре 1929 года он отметил, что в нашей стране «мелкокрестьянское хозяйство не только не осуществляет в своей массе ежегодно расширенного воспроизводства, но, наоборот, оно очень редко имеет возможность осуществлять даже простое воспроизводство. Можно ли двигать дальше ускоренным темпом нашу социализированную индустрию, имея такую сельскохозяйственную базу, как мелкокрестьянское хозяйство, неспособное на расширенное воспроизводство и представляющее к тому же преобладающую силу в нашем народном хозяйстве? Нет, нельзя».

Такая пессимистическая оценка не соответствовала действительному состоянию сельского хозяйства и положению основной массы крестьянства в те годы.

Уже в 1926 году против 1922-го число лошадей в крестьянских хозяйствах выросло на 29 процентов, крупного рогатого скота — на 52,4, в том числе коров — на 32,3, овец и коз — на 64, свиней — на 89. Число бескоровных крестьянских хозяйств за тот же период сократилось с 22,3 до 19,6 процента.

Хозяйств без посева по РСФСР и по Украине в 1922 году было 6,9 процента, в 1925-м — уже 4,2, хозяйств с посевом до двух десятин — соответственно 46 и 33, зато число хозяйств с посевом от 6 до 16 десятин возросло с 6,7 до 12,7 процента.

В 1928 году против 1922-го, за семь лет, валовая продукция сельского хозяйства в сопоставимых ценах выросла вдвое (за последующие 12 лет, к 1941 году она возросла лишь на 10 процентов). Вопреки очевидным фактам в отчетном докладе XVII съезду партии Сталин заявил, что в пятилетке имел место общий подъем сельского хозяйства, более медленный, чем в промышленности, но все же более быстрый, чем в период преобладания единоличного хозяйства.

Сталинская оценка производственных возможностей единоличных хозяйств, данная на конференции аграрников-марксистов, расходилась с его же сделанными незадолго до того заявлениями и с партийными резолюциями того периода.

В июле 1928 года Сталин еще критиковал тех, «которые, восхваляя колхозы, объявляют индивидуальное крестьянское хозяйство нашим «проклятием»... Надо было сказать, что мелкое крестьянское хозяйство является менее выгодным, или даже наименее выгодным, в сравнении с крупным коллективным хозяйством, но все-таки не лишенным известной немаловажной выгоды. А у вас получается, что мелкое крестьянское хозяйство вообще невыгодно и, пожалуй, даже вредно. Не так смотрел Ленин на мелкое крестьянское хозяйство». Можно привести еще одно его высказывание об этом же: «Есть люди, думающие, что индивидуальное крестьянское хозяйство исчерпало себя, что его не стоит поддерживать. Это неверно, товарищи. Эти люди не имеют ничего общего с линией нашей партии».

Резолюция шестнадцатой конференции ВКП(б), проведенной в апреле 1929 года, за несколько месяцев до упомянутой речи Сталина на конференции аграрников-марксистов, гласила: «Учитывая то, что и при максимально возможном развитии совхозов и колхозов основной прирост сельскохозяйственной продукции в ближайшие годы падет на индивидуальное бедняцкое и середняцкое хозяйство, что мелкое хозяйство далеко еще не исчерпало и не скоро исчерпает имеющиеся у него возможности, партия должна во все расширяющемся размере содействовать преодолению технической, культурной и организационной отсталости бедняцкого и середняцкого индивидуального хозяйства, повышению урожайности и расширению посевных площадей этих хозяйств».

Таким образом, еще в начале 1929 года партия делала основную ставку на крестьянские хозяйства, а ускоренная коллективизация не вынуждалась экономической обстановкой, положением в сельском хозяйстве. Не вынуждалась она и состоянием крестьянства, большая часть которого, получив землю, превратилась в середняков и тем самым вышла из нищеты и нужды. Доля середняцких хозяйств по сравнению с дореволюционным периодом ко времени сплошной коллективизации возросла с 20 до 66 процентов.

В этой связи была явно преувеличена роль колхозов и очевидно недооценены все иные формы кооперации, развившиеся к тому времени в деревне: «Колхозы являются единственным средством избавления крестьян от нищеты»,— заявлял Сталин.

С 1928 по 1933 год уровень сельскохозяйственного производства сокращался и в 1933 году (в сопоставимых ценах) был почти на четверть ниже уровня 1928 года. В животноводстве падение продолжалось и в 1934 году, тогда оно устанавливалось на отметке 47 процентов к уровню 1928 года.

В 1932—1933 годах на Украине, Северном Кавказе, Южном Урале, в Поволжье, Казахстане вспыхнул голод, приведший к многочисленным жертвам.

По объему валовой продукции сельского хозяйства нам лишь дважды в до-

военный период, в 1937 и 1940 годах, удалось превысить уровень производства продукции 1928 года.

Итак, нарушение ленинских принципов добровольности при проведении сплошной коллективизации не имело достаточных экономических мотивов, не было вынужденной мерой и, напротив, привело к ощутимым экономическим потерям, ослабившим наше сельское хозяйство накануне войны.

Колхозный строй, конечно, выстоял в войну. Но этот факт не должен оправдывать тех, кто определил высокие темпы коллективизации. Если бы в годы, предшествовавшие войне с фашизмом, коллективизацией в тех формах, в каких она проводилась, не был бы нанесен ущерб животноводству, если бы к этому времени поголовье скота в стране было хотя бы на уровне 1928 года, а продукция растениеводства продолжала бы расти, очевидно, продовольственное положение во время войны у нас было бы лучшим.

Кроме того, говоря о колхозном строе, нужно иметь в виду не только общественное производство колхозов, но и производство личных подсобных хозяйств. Основную массу многих видов сельскохозяйственной продукции, кроме зерна и технических культур, в довоенные годы давали не колхозы и совхозы, а личные подсобные хозяйства. Их доля в валовом производстве продукции сельского хозяйства страны по картофелю в 1940 году составляла 65 процентов, по овощам — 48, мясу — 72, молоку — 77, яйцам — 94 процента. Они же производили основную массу фруктов и ягод. В 1940 году на долю личного подсобного хозяйства в совокупном доходе семьи колхозника приходилось 48,3, а на долю доходов от колхоза — 39,7 процента.

Потребление продуктов питания в деревне во время войны и первое время после нее почти исключительно осуществлялось за счет личного подсобного хозяйства. На оккупированной врагом территории крестьянские семьи существовали лишь за счет своего хозяйства да еще помогали партизанам. После изгнания оккупантов часть колхозов не могла оплачивать трудодни; почти всю продукцию, за исключением фондов, необходимых для воспроизводства, отдавали в государственные заготовки. В 1945 году 5,4 процента колхозов не выдавали крестьянам зерна, более 37 выдавали на трудодень до 300 граммов зерна, в целом же по стране общественное хозяйство колхозов удовлетворяло потребности своих членов в зерне лишь на одну треть. В этих условиях личные хозяйства также брали на себя значительную часть продовольственного обеспечения сельского населения, в том числе и в зерне. В 1940 году —12, а в 1945-м — около 20 процентов зерна в стране производили личные подсобные хозяйства. Они же давали немалую долю продукции городскому населению. И не только через колхозный рынок. В 1944—1950 годы личные подсобные хозяйства сдавали государству в расчете на сто колхозных дворов ежегодно от 37 до 43 голов скота. Еще в 1953 году каждый колхозный двор был обязан сдать государству от 40 до 60 килограммов мяса, от 100 до 280 литров молока, несколько десятков яиц. Колхозники уплачивали сельскохозяйственный налог, другие налоги и сборы, военный налог (введенный в 1941 году, он действовал до 1946 года и уплачивался на двор в размере от 150 до 600 рублей в прежнем масштабе цен). Так что в нашу победу в Отечественной войне личное подсобное хозяйство внесло существенный и пока недостаточно оцененный вклад.

4

Отступление от ленинских норм привело и к большим потерям в «человеческом факторе». Сельское хозяйство лишилось миллионов работников и среди них — «старательных», по выражению В. И. Ленина, крестьян, в основном середняков, которые были оторваны от хозяйствования не только зачислением в кулаки и подкулачники, но и добровольным снятием с насиженных мест в результате произошедших в деревне перемен, самоликвидаций хозяйств из-за боязни раскулачивания. Численность сельского населения между переписями 1926 и 1939 годов сократилась более чем на шесть миллионов человек. Зато небывалыми темпами выросло городское население: за тот же период оно увеличилось примерно вдвое. Это в определенной мере было связано с политикой раскулачивания.

Но для того чтобы более подробно рассмотреть ее, обратимся к ленинским определениям среднего крестьянства и кулачества. В первоначальном наброске тезисов ко II конгрессу Коминтерна Владимир Ильич следующим образом определял эти социальные группы: «Под «средним крестьянством» в экономическом смысле следует понимать мелких земледельцев, которые владеют, на праве собственности или аренды... небольшими участками земли, но все же такими, которые, во-первых, дают при капитализме, по общему правилу, не только скудное содержание семьи и хозяйства, но и возможность получать известный излишек, способный, по крайней мере в лучшие годы, превращаться в капитал, и которые, во-вторых, прибегают довольно часто (например, в одном хозяйстве из двух или из трех) к найму чужой рабочей силы... Крупным крестьянством («Großbauern») являются капиталистические предприниматели в земледелии, хозяйничающие по общему правилу с несколькими наемными рабочими, связанные с «крестьянством» лишь невысоким культурным уровнем, обиходом жизни, личной физической работой в своем хозяйстве».

Итак, середняки, как и кулаки, согласно ленинскому определению, могли арендовать землю и даже нанимать батраков. Наличия или отсутствия этих признаков недостаточно для того, чтобы определить, кто кулак, а кто середняк. Конечно, на крайних полюсах имущественной и доходной дифференциации при найме нескольких работников кулак был весьма заметен и определялся отчетливо, но при незначительных различиях выделить кулака не так уж просто, и, очевидно, четкими критериями для этого те, кто проводил политику раскулачивания, вооружены не были. Послушаем, что говорили, например, по этому поводу в своих выступлениях некоторые делегаты XV съезда партии:

Молотов: «...высчитывать какой-нибудь общий процент сельскохозяйственной буржуазии (кулачества) для всего СССР является задачей почти невозможной».

Милютин: «Что такое кулак? До сих пор, в сущности, ясного, точного определения в той дифференциации, которая сейчас происходит, у нас часто кулаку не дается. Мне представляется, что кулак может быть определен по следующим признакам: во-первых, по найму рабочей силы, во-вторых,— по эксплуатации с помощью ли торговли, с помощью ли дачи капитала в денежной форме, или с помощью сдачи инвентаря, чужого труда и по получению этим путем прибавочной стоимости».

Енукидзе: «Вам всем хорошо известны практические трудности определения кулака».

Как видно из этих выступлений, четкости в определении кулака, а следовательно, в подсчете его численности накануне раскулачивания не было. К тому же кулак (или те, кто к нему причислялся) в 20-х годах изрядно помельчал, а середняк укрепился. Накануне первой мировой войны товарность кулацкого производства зерна достигала 34 процентов, в 1926—1927 годах — 20 процентов, а общее производство ими зерна сократилось в три с лишним раза. Таким образом, поляризация между отдельными социальными группами крестьянства существенно смягчилась.

Каково было отношение основоположников научной теории коммунизма к экспроприации кулачества?

Известно высказывание Ф. Энгельса в работе «Крестьянский вопрос во Франции и Германии», что если богатые крестьяне «поймут неизбежность гибели их нынешнего способа производства и сделают из этого необходимые выводы», то можно будет и обойтись без их насильственной экспроприации.

В. И. Ленин, указывая на враждебность кулачества к революционному пролетариату, его эксплуататорский характер, тем не менее отмечал, что этот буржуазный слой способен к трезвой оценке своего положения, к признанию невозможности повернуть назад колесо истории и необходимости идти на сотрудничество с пролетарской властью. «Опыт российской пролетарской революции, в которой борьба против крупного крестьянства усложнилась и затянулась в силу ряда особых условий, показал все же, что, получив хороший урок за малейшие попытки сопротивления, этот слой способен лояльно выполнять задания пролетарского государства и начинает даже проникаться, хотя и с чрезвычайной медлительностью, уважением к власти, защищающей всякого труженика и беспощадной к тунеядцам-богачам». Он отмечал также, что «по общему... правилу пролетарская государственная власть должна сохранить за крупными крестьянами их земли, конфискуя их лишь в случае сопротивления власти трудящихся и эксплуатируемых».

Профессор В. М. Селунская в журнале «Вопросы истории КПСС» обосновывает необходимость раскулачивания в том числе и ссылкой на выступление Ленина на XI съезде партии, где Владимир Ильич говорил, что с капитализмом, который растет из мелкого крестьянского хозяйства, нам предстоит «последний и решительный бой». Обратимся к первоисточнику, дабы убедиться, что это за «бой». Имеется в виду соревнование с частным капиталом на поприще экономики. Именно в этом выступлении Владимир Ильич иронизирует по поводу комчванства ответственных коммунистов, которым вовсе не грех поучиться хозяйствованию у простого приказчика: «Он, коммунист... на которого смотрят, если не сорок пирамид, то сорок европейских стран с надеждой на избавление от капитализма,— он должен учиться от рядового приказчика, который бегал в лабаз десять лет, который это дело знает, а он, ответственный коммунист и преданный революционер, не только этого не знает, но даже не знает и того, что этого не знает».

Сколько же было официально учитываемых кулаков ко времени сплошной коллективизации? По некоторым источникам, в 1927 году насчитывалось 1,1 миллиона кулацких хозяйств, в каждом из которых работало по два постоянных батрака, не считая временных и сезонных.

Однако такие цифры явно и намного расходятся с другими данными. Согласно данным ЦСУ, в 1926—1927 годах в деревне работало примерно 3,2 миллиона сельскохозяйственных рабочих, из них только половина работала в индивидуальных крестьянских хозяйствах, остальные — в совхозах и кооперативных организациях. В том же году число хозяйств, нанимающих «сроковых» рабочих, составило 1,4 миллиона. Таким образом, в подавляющем большинстве «кулацких» хозяйств — не более одного наемного работника, 94 процента крестьянских хозяйств вообще не нанимали работников на срок. А среди нанимающих

«сроковых» и поденных работников — немалая доля середняцких и даже бедняцких хозяйств. В доколхозной деревне среди крестьян, не только кулаков, весьма распространена аренда земли, а также орудий труда. В 1927 году согласно специальному обследованию к аренде земли прибегало более четверти хозяйств середняков и около 12 процентов бедняков, 30 процентов середняцких хозяйств сдавало в 1929 году в аренду средства производства.

Как пишет историк В. П. Данилов, рассматривая доколхозную деревню, трудно было найти крестьянское хозяйство, в том числе и середняцкое, которое бы в той или иной мере не нанимало или не сдавало бы внаем средства производства, землю или рабочую силу.

Существует мнение, что во время перехода к политике раскулачивания у нас фактически кулачества не было. Так ли это? До революции кулачеству принадлежало свыше 80 миллионов гектаров земли. В годы революции и гражданской войны у кулаков было отнято и передано беднякам и середнякам 50 миллионов гектаров. Это существенно подорвало кулачество, оно сократилось втрое. Что касается периода, непосредственно предшествовавшего коллективизации, то, по-видимому, численность и экономическая сила кулачества были гораздо меньше, чем это доказывалось в те годы.

Несомненно, что раскулачивание захватило значительные слои среднего крестьянства, оказалось направленным прежде всего против него.

Кто же причислялся к кулакам?

По постановлению СНК СССР от 21 мая 1929 года к кулакам относились те, кто обладал хотя бы одним из следующих признаков: систематически применял наемный труд для сельскохозяйственных работ или в кустарных промыслах и предприятиях; имел в хозяйстве мельницу, маслобойню, крупо- и просорушку, волночесалку, шерстобитку, терочное заведение, плодовую или овощную сушилку или иное предприятие с механическим двигателем; постоянно или сезонно сдавал внаем оборудование, помещение под жилье или предприятие; систематически сдавал внаем сельскохозяйственные машины с механическим двигателем; занимался торговлей, ростовщичеством, коммерческим посредничеством.

Причем краевым и областным исполкомам предоставлялось право вводить свои признаки применительно к местным условиям. Это же право местных органов самим квалифицировать кулака, определять его признаки подтверждалось и рядом позднее принятых решений. В отдельных районах к кулацким были отнесены хозяйства с двумя-тремя коровами или двумя головами рабочего скота, словом, которые мало-мальски выделялись из общего строя середняцких хозяйств. Даже те, кто сдавал постоянно или хотя бы временно на сезон жилье, могли быть причислены к кулакам. Можно себе представить, как это могло «подстегнуть» отдельных работников суда и прокуратуры, которых Сталин в 1928 году во время поездки в Сибирь обвинил в том, что они слабо борются с кулаками, не применяют к ним статью о спекуляции потому, что, мол, живут на квартирах у кулаков. И хотя понятие «кулак» употребляется в данном очерке, естественно подразумевается, что значительная часть так называвшихся никакого отношения к кулакам фактически не имела. В разряд кулацких попадали семьи относительно многолюдные — в среднем с семью-восемью душами обоего пола, середняцких — семьи с пятью, пролетарских и полупролетарских — двумя-тремя душами.

Во многих случаях к кулацким относили хозяйства, интенсифицирующие свое производство, внедряющие новые прогрессивные технологии, высокоурожайные сорта культур, сочетающие сельскохозяйственный труд с подсобными промыслами.

Раскулачиванием зачастую запугивали среднего крестьянина, принуждая его вступать в колхоз. Для определения кулака все же существовали весьма зыбкие имущественные показатели, но для категории подкулачников, весьма расхожего обозначения части крестьян того периода, вообще никаких определений не существовало. Так можно было назвать любого единоличника, не пожелавшего вступить в колхоз. В лексиконе Сталина в период, предшествовавший сплошной коллективизации, наряду с «кулаками» часто использовался еще один термин — «зажиточные». Он предложил, в частности, от имени ЦК партии применять повышенную прогрессию обложения для «кулацких и зажиточных слоев деревни». Очевидно, коль скоро здесь Сталиным использован союз «и», под зажиточными подразумевались уже середняки. Повышенное обложение их действительно было установлено.

В 1926—1927 годах средний размер сельскохозяйственного налога на кулацкие хозяйства был повышен против 1925/26 года на 58 процентов и превысил средний налог на бедняцкое хозяйство в 112 раз, на середняцкое — почти в шесть раз. Еще более налог был повышен в 1928/29 году. Как отмечает один из исследователей аграрных отношений того периода, В. Н. Яковцевский, в данном случае налоговая система уже была фактически средством экспроприации кулачества.

Как же начиналась политика прямого раскулачивания?

В 1926—1927 годах, как это отмечал сам Сталин, троцкистско-зиновьевская оппозиция усиленно навязывала партии политику наступления на кулачество. Партия, по его словам, не пошла на эту опасную авантюру, так как кулаки производили еще значительную часть товарного зерна.

На XV съезде партии (1927 год), однако, было решено «принять ряд новых мер, ограничивающих развитие капитализма в деревне», в частности, постепенно сокращать землю, сдаваемую в аренду в тех районах, где она ведет к росту кулацких элементов, ограничить аренду на срок не более одного севооборота, но не свыше шести лет, усилить контроль за неуклонным проведением в жизнь Кодекса труда в отношении сельскохозяйственных работников в хозяйствах кулацкого типа. Все это было решительным наступлением на кулаков.

Впрочем, воспроизведем и то, что говорил Сталин в декабре 1927 года: «Неправы те товарищи, которые думают, что можно и нужно покончить с кулаком в порядке административных мер, через ГПУ: сказал, приложил печать, и точка. Это средство — легкое, но далеко не действительное. Кулака надо взять мерами экономического порядка и на основе советской законности... Это не исключает, конечно, применения некоторых... административных мер против кулака. Но административные меры не должны заменять мероприятий экономического порядка». Обвинение, брошенное Сталиным Зиновьеву в том, что тот принадлежит к числу тех счастливых людей, которые пишут для того, чтобы на другой же день забыть написанное, в гораздо большей степени относилось к самому Сталину. Месяц спустя, в январе 1928 года, в Сибири, говоря о хлебозаготовках, он предложил потребовать от кулаков немедленной сдачи всех излишков хлеба по государственным ценам, а в случае отказа привлекать их к судебной ответственности по статье 107 Уголовного кодекса РСФСР (предусматривающей наказание за спекуляцию) с конфискацией хлебных излишков в пользу государства. Если же прокурорские и судебные власти не выполнят этого приказа, их нужно изгонять с занимаемых постов: «Непонятно... почему эти господа до сих пор еще не вычищены и не заменены другими честными работниками». Сталин поучал партийно-хозяйственный актив Сибири: «Вы говорите, что применение к кулакам 107 статьи есть чрезвычайная мера, что оно не даст хороших результатов, что оно ухудшит положение в деревне... Почему применение 107 статьи в других краях и областях дало великолепные результаты,.. а у вас, в Сибири, оно должно дать якобы плохие результаты и ухудшить положение?»

Между тем отказ работников юстиции от использования меры уголовного наказания, а именно статьи 107 УК РСФСР как средства выполнения плана хлебозаготовок, был не случаен. Эта статья предусматривала наказание за спекуляцию, то есть за скупку и перепродажу частным лицам товаров с целью наживы. В данном случае речь шла о зерне не скупленном, а произведенном самими крестьянами и не перепродаваемом, а, наоборот, не реализуемом государству из-за недостаточных, с точки зрения крестьянства, закупочных цен.

Надо сказать, что в 1927/28 году по сравнению с 1925/26-м закупочные цены на зерновые сократились до 86 процентов, в 1926/27-м — даже до 80 процентов, тогда как цены на продукты животноводства поднялись до 109, а на техинческие культуры — до 131 процента. В этих условиях трудно было ожидать расширения посевных площадей под зерновые и полной реализации излишков зерна.

Статья 107 предусматривала весьма суровую санкцию: лишение свободы на срок не ниже пяти лет с полной или частичной конфискацией имущества.

Поскольку при конфискации хлеба 25 процентов передавались бедноте на условиях долгосрочного кредита для удовлетворения ее семенных и потребительских нужд, низшие слои деревни были заинтересованы в выявлении на селе крестьян, по отношению к которым могла бы быть применена 107-я статья.

Предложение об использовании статьи 107 не по прямому ее назначению стало одним из типичных примеров применения в последующем статей Уголовного кодекса «по аналогии», что грубо нарушало основы социалистической законности. О вольном обращении Сталина с Уголовным кодексом говорит его заявление о том, что если в будущем году «не будет чрезвычайных обстоятельств и заготовки пойдут нормально, 107 статья не будет иметь применения». Следовательно, от хода заготовок, а не от преступного деяния зависело применение или неприменение уголовного наказания. Лишь в 1938 году Верховный суд СССР разъяснил недопустимость предания суду трудящихся по обвинению в спекуляции «за хранение и продажу принадлежащих им продуктов сельского хозяйства и предметов массового потребления, если не доказаны скупка и перепродажа этих продуктов и предметов в целях наживы или скупка их для перепродажи в тех же целях».

Применение чрезвычайных мер и прежде всего статьи 107 по отношению к крестьянству было, по существу, началом политики раскулачивания. Тем не менее к сплошному раскулачиванию перешли позднее. Как уже отмечалось, эту меру предложили троцкисты, но не только они. Предложение о ликвидации кулачества выдвигалось делегатами XVI партконференции в апреле 1929 года, но было отвергнуто как несвоевременное из-за отсутствия необходимых условий для этого. На ноябрьском Пленуме того же 1929 года вопрос вновь поднимался и тоже не прошел. Однако спустя месяц с небольшим в речи на конференции аграрников-марксистов в декабре 1929 года Сталин вдруг объявляет о том, что «мы от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества перешли к политике ликвидации кулачества как класса». Впрочем, раскулачивание ко времени этого выступления Сталина в некоторых районах страны уже шло полным ходом, шло вопреки решениям партконференции и мнению Пленума ЦК партии, воодушевленное установками, прозвучавшими в Сибири. А вот как он объяснял «законность» этого процесса в конце января 1930 года: XV съезд исходил из того, что «несмотря на ограничение кулачества, кулачество как класс все же должно остаться до поры до времени. На этом основании XV съезд оставил в силе закон об аренде земли, прекрасно зная, что арендаторами в своей массе являются кулаки. На этом основании XV съезд оставил в силе закон о найме труда в деревне, потребовав его точного проведения в жизнь. На этом основании была еще раз провозглашена недопустимость раскулачивания... Противоречат ли эти законы и эти постановления политике ликвидации кулачества как класса? Безусловно, да! Стало быть, эти законы и эти постановления придется теперь отложить в сторону... Впрочем, они уже отложены в сторону самим ходом колхозного движения в районах сплошной коллективизации». Рекомендация точь-в-точь как известный устав «О нестеснении градоначальников законами»: «Ежели чувствуешь, что закон полагает тебе препятствие, то, сняв оный со стола, положи под себя. И тогда все сие, сделавшись невидимым, много тебя в действии облегчит».

30 января 1930 года было принято постановление (в нарушение сложившейся практики не ЦК партии, а Политбюро) «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации».

5

Против сталинского уклона от ленинских принципов в крестьянском вопросе в 1928 году выступило трое из девяти членов Политбюро: Бухарин, Рыков и Томский. Первый был редактором газеты «Правда» и членом Исполкома Коминтерна, второй — председателем Совнаркома СССР и РСФСР и зам. председателя Совета Труда и Обороны (СТО) страны, третий — председателем Президиума ВЦСПС. Это было последнее при сталинском руководстве партией выступление членов Политбюро ЦК ВКП(б) с мнением, отличным от мнения Генерального секретаря по принципиальным вопросам, правда, выступление меньшинства. Позиция этих членов Политбюро была затем заклеймена как правоуклонистская, капитулянтская.

Бухарин предлагал вместо применения чрезвычайных мер при проведении хлебозаготовок маневрирование заготовительными ценами на хлеб по районам, повышение их. Это предложение не противоречило социальной и экономической политике строительства социализма.

«Правоуклонисты» выступали против ускоренной коллективизации. И это вполне соответствовало ленинским идеям о кооперации и условиям развития сельского хозяйства. В борьбе с кулачеством они предлагали экономические, а не административно-уголовные меры, что также соответствовало новой экономической политике.

В чем же выражался уклон в области аграрной политики?

На чем основывались обвинения Бухарина в создании теории врастания кулака в социализм? На его цитате из брошюры «Путь к социализму»: «Основная сеть наших кооперативных крестьянских организаций будет состоять из кооперативных ячеек не кулацкого, а «трудового» типа, ячеек, врастающих в систему наших общегосударственных органов и становящихся таким путем звеньями единой цепи социалистического хозяйства. С другой стороны, кулацкие кооперативные гнезда будут точно так же через банки врастать в эту же систему; но они будут до известной степени чужеродным телом, подобно, например, концессионным предприятиям». Что же содержится в этой цитате? В ней говорится, во-первых, не о кулаках вообще, а о кулацких кооперативах; во-вторых, о врастании этих кооперативов в систему госучреждений (банков, к примеру), а не в социализм; в-третьих, о том, что они будут оставаться в этой системе чужеродным телом, правда, «в известной степени». Можно говорить о том, что эта фраза неудачна, но можно ли на ее основании делать вывод о существовании теории?

Кстати, эта работа была написана Бухариным в 1925 году. Брошюра с того времени выдержала несколько переизданий, но Сталин молчал. Он заговорил лишь спустя четыре года, тогда, когда эта цитата потребовалась ему для обвинений Бухарина в кулацком уклоне. Это было бессовестным выдергиванием цитаты и приписыванием оппоненту надуманных обвинений.

Процитируем Бухарина дальше того места, на котором остановился Сталин: «Пролетарское государство, которое заинтересовано в росте «некапиталистических», то есть социалистических форм хозяйства, само собой разумеется, не может относиться одинаково к кооперативам трудовым и к кооперативам кулацкого типа; оно будет, как мы уже упоминали выше, всемерно поддерживать кооперативы бедноты и середняков. В этом, между прочим, будет выражаться классовая борьба, классовая помощь пролетариата наиболее близким к нему слоям в борьбе этих слоев против кулаков или сельскохозяйственной буржуазии». Сказано, по-моему, довольно ясно.

Отмечая, что обложение частных предпринимателей страховым взносом, налоговое обложение доходов, лишение капиталистов избирательных прав при выборах в органы власти, конкурентная борьба государственной торговли, кооперации с капиталистами есть новые фор-

мы классовой борьбы рабочих, переходя к деревне, Бухарин здесь же подчеркивает, что меняются в отличие от политики «военного коммунизма» формы классовой борьбы. Возросшая в условиях нэпа хозяйственная свобода буржуазных элементов деревни «вовсе не означает, что мы перестаем вести классовую борьбу против деревенской буржуазии. Это вовсе не означает, что мы отказываемся поддерживать бедняков и середняков против эксплуататорских слоев. Мы лишь меняем форму нашей классовой борьбы против мелких деревенских капиталистов. Мы переходим к новой, более целесообразной в настоящих условиях, форме классовой борьбы». Бухарин предполагал строить социализм не через врастание кулака в него, а через его вытеснение. «Постепенно, с вытеснением частных предпринимателей всевозможного типа и их частных хозяйств и по мере роста организованности и стройности хозяйства государственно-кооперативного, мы будем все более и более приближаться к социализму»,— писал он.

Кто не помнит обвинений Бухарина в защите кулака, в выдвижении лозунга «обогащайтесь!»? Не одно поколение студентов узнает об этом лозунге из курса истории КПСС, изучая проблемы социалистического преобразования сельского хозяйства в курсе политэкономии. Но послушаем, что говорил Сталин по поводу этого лозунга в тот период, когда Бухарин поддержал его в борьбе с троцкистами: «Дальше, вопрос о Бухарине. Я имею в виду лозунг «обогащайтесь!». Я имею в виду апрельскую речь Бухарина, когда у него вырвалось слово «обогащайтесь». Через два дня открылась апрельская конференция нашей партии. Не кто иной, как я, в президиуме конференции, в присутствии Сокольникова, Зиновьева, Каменева и Калинина, заявил, что лозунг «обогащайтесь!» не есть наш лозунг. Я не помню, чтобы Бухарин возражал против этого протеста... Большинство ЦК решает... предложить Бухарину заявить в печати об ошибочности лозунга «обогащайтесь!», с чем он соглашается и что он выполняет потом... Известны ли все эти факты оппозиции? Конечно, известны. Почему же, в таком случае, не прекращают они травлю против Бухарина? Доколе будут они кричать об ошибке Бухарина?»

Или вот: «...Возьмем друзей Троцкого — Зиновьева и Каменева, которые любят часто напоминать о том, что Бухарин как-то раз сказал — «обогащайтесь», и танцуют вокруг этого «обогащайтесь».

Это было в 1922 году, когда у нас обсуждался вопрос о концессии Уркарта, о кабальнейших условиях этой концессии. И что же? Разве это не факт, что Каменев и Зиновьев предлагали принять кабальные условия концессии Уркарта и, предлагая, настаивали на своем предложении?.. Каменев заставляет меня напомнить, так как он надоел со своим напоминанием об ошибке Бухарина, об ошибке, которую Бухарин давно уже исправил и ликвидировал».

Кажется, достаточно...

Но стоило Бухарину выступить против политики Сталина, и пресловутый лозунг «обогащайтесь!» был взят на вооружение. Выходит, что эстафетная палочка критики Бухарина за этот лозунг в руки наших современных обществоведов была передана троцкистами. И ныне они повторяют эту критику исключительно понаслышке. Ведь смело можно утверждать, что большинство из них никогда никаких статей Бухарина не читали, поскольку они до сих пор хранились в спецфондах и выдавались ограниченному контингенту читателей.

М. И. Калинин на XV съезде партии отметил как заслугу Бухарина его выступление на московском губернском съезде профсоюзов в октябре 1927 года с предложением о форсированном наступлении на кулака. Кстати, именно тогда же это выступление Бухарина вызвало незамедлительную реакцию сторонников Троцкого: предложения о развернутом наступлении на кулачество, мол, повторяют их собственные предложения.

Передо мной затертая и пожелтевшая газета «Известия» от 4 ноября 1927 года с докладом Бухарина на собрании актива Ленинградской партийной организации об итогах объединенного Пленума ЦК и ЦКК ВКП(б). Он говорит об усилении борьбы с кулачеством, об основных мерах по форсированному наступлению на кулачество, намеченных ЦК партии, а именно: повышенном обложении кулачества, усилении борьбы с куплей, продажей земли, более строгом соблюдении законов об использовании наемного труда в крестьянских хозяйствах, лишении кулака права голоса в земельных обществах, разъясняет политику партии по этому вопросу, подчеркивает важность решений партии, направленных на усиление поддержки середняцких хозяйств. В этом выступлении, как и во многих других, нет и намека на то, что позднее ему приписывал Сталин.

Как же можно было Бухарина после этого обвинять в том, что «он забывает о социальных группировках в деревне», что «у него исчезают из поля зрения кулаки и беднота и остается одна лишь сплошная середняцкая масса»!

Впоследствии сталинский нажим заставил всех троих и не однажды каяться в своих «ошибках». Но это уже не спасло их. Сталин не прощал тех, кто ему возражал, тем более что они критиковали подмену коллективного руководства в Политбюро ЦК единоличным, а это, безусловно, был прямой выпад против Сталина.

В 1938 году Рыков и Бухарин проходили уже по процессу антисоветского правотроцкистского блока и «признавались» уже не в уклоне, а в гораздо бо-

лее тяжких преступлениях (Томский погиб еще в 1936 году).

Рыков: «Я изменил родине... Мы готовили государственный переворот, организовывали кулацкие восстания и террористические ячейки; применяли террор как метод борьбы. Я организовал с Нестеровым на Урале специальную террористическую организацию. Я в 1935 г. давал задания Котову, возглавлявшему террористическую организацию в Москве...».

Бухарин: «Я признаю себя виновным в измене социалистической родине... в организации кулацких восстаний, в подготовке террористических актов, в принадлежности к подпольной антисоветской организации... в подготовке заговора «дворцового переворота». Я признаю себя виновным в злодейском плане расчленения СССР...» (Из последних слов обвиняемых.)

Кому-то нужно было отвечать и непосредственно за неудачи в сельском хозяйстве.

Проходившему вместе с Бухариным и Рыковым по процессу бывшему наркому земледелия М. А. Чернову инкриминировалось то, что он был по заданию немецкой разведки и указаниям Рыкова организатором крупных вредительско-диверсионных актов по снижению урожайности сельскохозяйственных культур и порче сельскохозяйственных мобилизационных запасов, по сокращению конского состава и крупного рогатого скота.

Но это все было после. А тогда, в январе 1930 года, как уже отмечалось, Политбюро приняло постановление о раскулачивании. Очевидно, оно не могло принимать постановление, идущее вразрез с позицией Пленума партии (кстати, и с его же собственной позицией), высказанной за месяц до этого. Необходимо было по крайней мере решение Пленума ЦК или партийной конференции, тем более что дело касалось весьма острого и чрезвычайно важного вопроса. И уж не должен был сам Сталин одобрять кампанию по раскулачиванию и выступать перед научной аудиторией с подобными заявлениями, не получив санкции на то высших партийных инстанций. Однако в это время Сталин уже не считался с общепринятыми партийными нормами. Эта кампания была пробным шаром для дальнейших его действий, попирающих выработанные многими годами партийную практику, этику и законность.

1 февраля 1930 года принято постановление ЦИК и СНК СССР «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством». Формальным поводом для подкрепления политики раскулачивания явились выводы так называемой «комиссии Яковлева».

В первой половине декабря 1929 года по просьбе Нижне-Волжского крайкома партии, зачинателя сплошной коллективизации, была создана комиссия Политбюро ЦК ВКП(б) под председательством Я. А. Яковлева (Эпштейна), которая рассмотрела вопросы о темпах и сроках коллективизации и пришла к выводу о необходимости ликвидации кулачества как класса, о применении к кулакам государственного насилия — выселения и лишения частной собственности на орудия и средства производства.

6

Итак, началось массовое раскулачивание. Как оно проводилось? Мы уже говорили об усиленном налогообложении. Если в 1928 году кулацкие хозяйства по индивидуальному налогообложению заплатили 10,8 процента всей суммы налога, то в 1929-м — уже 28 процентов. Наряду с уменьшением найма этими хозяйствами рабочей силы происходит сокращение ими аренды земли, объема используемых средств производства. У кулаков изымались немногочисленные тракторы. С 1928 года было запрещено кредитование кулацких хозяйств. Началось свертывание производства, нарастал процесс «самоликвидации» хозяйств. На это последовала соответствующая реакция.

При переходе к сплошной коллективизации, с одной стороны, была провозглашена ликвидация кулачества как класса, с другой — эту ликвидацию можно было проводить не раньше и не позже, а лишь одновременно с массовой организацией колхозов в тех или иных районах. Когда Московский обком принял решение о раскулачивании и выселении кулаков, оно было отменено ЦК партии в феврале 1930 года на том основании, что область в то время еще не относилась к районам сплошной коллективизации. Таким образом, занесенные в списки семьи обрекались на пассивное ожидание предстоящих репрессий. Чтобы пресечь самоликвидацию крестьянских хозяйств, массовый выезд их владельцев из сельской местности в феврале 1930 года было принято специальное постановление ЦИК и СНК СССР «О воспрещении самовольного переселения кулацких хозяйств и распродажи ими имущества».

Была ли правовая основа раскулачивания?

Очевидно, что такие меры против граждан, как конфискация имущества, ссылка, должны были осуществляться судебными органами. Тем более что это относилось не к периоду военного времени, не к первым годам Советской власти, когда у нее еще не было своего судебного аппарата и правовых норм и когда классовых врагов судили исходя только из революционного правосознания. В отношении кулаков и членов их семей применялись и такие меры, как лишение избирательных прав, права участия в общественных и кооперативных

делах деревни. и другие. Внесудебные меры в отношении как самих кулаков, так и их семей вплоть до конфискации имущества и выселения с местожительства должны были проводить краевые и областные Советы. На местах создавались специальные комиссии, которые устанавливали категории кулацких хозяйств, от чего зависело не только, подвергнется ли данное хозяйство конфискации (рабочего и продуктивного скота, дома и построек, машин и другого имущества), а ее владельцы высылке, но и последуют ли арест, а также суд и тюремное заключение. Они же составляли списки хозяйств, подлежащих раскулачиванию, описывали имущество раскулачиваемых и передавали его в неделимые фонды колхозов или финансовым органам в счет погашения задолженности по государственным налогам. В районах сплошной коллективизации такие комиссии были организованы в спешном порядке в январе 1930 года. Комиссия по коллективизации под руководством Яковлева, в которой тогда же была создана специальная подкомиссия о кулаке (в нее входили сам Я. А. Яковлев, Н. В. Крыленко, И. Д. Кабаков и другие), разделила все кулацкие хозяйства на три категории: первая — «контрреволюционный кулацкий актив» — немедленное заключение в исправительно-трудовые лагеря (организаторам контрреволюционных выступлений — высшая мера наказания); вторая — наиболее богатые кулаки — выселение вместе с семьями в отдаленные районы страны; третья — остальные кулаки — выселение за пределы коллективных хозяйств, но в границах района. Для них создавались специальные поселки. Комиссия не только предложила классификацию для массовых репрессивных актов, но и «подсчитала», сколько должно быть по какой категории репрессировано. По ее расчетам, количество кулаков, подлежащих заключению в тюрьмы и более жестким наказаниям, должно было составить 60 тысяч человек, высылке в отдаленные районы — 150 тысяч семей. Последняя цифра была в дальнейшем перевыполнена.

Количество кулацких хозяйств, подлежащих ликвидации, должно было дифференцироваться по районам в зависимости от фактического числа кулацких хозяйств, но не превышать в среднем трех — пяти процентов всех крестьянских хозяйств. Тем не менее кое-где кампания по раскулачиванию превратилась в своего рода соревнование и процент раскулаченных доходил до десяти — двадцати процентов и более. Это касалось не только отдельных поселков и районов, но и целых регионов страны. Только в течение 1930 и 1931 годов было раскулачено 568 тысяч семей. Лишь из районов сплошной коллективизации с 1930-го и до осени 1932 года было выселено более 240 тысяч семей. В целом же количество раскулаченных было гораздо больше. По данным члена-корреспондента АН СССР П. Волобуева, в стране в разное время было раскулачено от 12 до 15 процентов крестьян. Ясно, что основным объектом этой акции стал не кулак, а середняк.

План по раскулачиванию... Это был возврат в лихолетье «военного коммунизма» с той разницей, однако, что продразверстку заменила разверстка на людей.

Одним из первых начал раскулачивание Нижне-Волжский край. Вот что писал о положении в нем в ныне ставшем известным письме М. Шолохов: «А вы бы поглядели, что творится у нас и в соседнем Нижне-Волжском крае. Жмут на кулака, а середняк уже раздавлен». Видно, Шеболдаеву, тогдашнему секретарю Нижне-Волжского крайкома, включенному затем в качестве члена в комиссию Яковлева, очень не терпелось выйти в передовики и распространить свой опыт на всю страну.

Даже во время революции, гражданской войны и интервенции правительство, возглавляемое Лениным, национализируя капиталистическую собственность, не прибегало к тотальным массовым репрессиям против представителей свергнутого класса. Даже отобрав у кулачества в ходе гражданской войны большую часть земли, мы не применяли в отношении кулаков и их семей этих мер, хотя немало из них выступили с оружием в руках против Советской власти.

И еще раз послушаем, что говорил Сталин о раскулачивании за год с небольшим до того, как этот процесс набрал силу: «Разговоры о том, что мы будто бы отменяем нэп, вводим продразверстку, раскулачивание и т. д., являются контрреволюционной болтовней, против которой необходима решительная борьба. Нэп есть основа нашей экономической политики и остается таковой на длительный исторический период». В июне того же года он отмечал: «Бывают и такие случаи, когда борьбу с кулачеством пытаются превратить в раскулачивание, а хлебозаготовительную работу — в продразверстку, забывая, что раскулачивание при наших условиях есть глупость, а продразверстка означает не союз, а борьбу с середняком». Наконец, в разосланном им членам Политбюро ЦК «Ответе Фрумкину», написанном тогда же, в 1928 году, говорилось: «Прав Фрумкин, утверждая, что нельзя бороться с кулачеством путем раскулачивания, как это делают иногда некоторые наши работники на местах. Но он ошибается, думая, что сказал этим новое слово».

Между тем раскулачивание уже началось...

Значительная часть раскулаченных и их семей после объявления политики, направленной на ликвидацию кулачества, выселялась в малообжитые районы Севера, Сибири, Дальнего Востока, Казахстана и Урала. Более половины высланных были направлены на лесозаготовки, рудники и шахты, на строительство.

Правовой базы для репрессий против кулаков не было и потому, что до этого они хозяйствовали в рамках советских законов, разрешавших им и аренду земли, и наем рабочей силы, законов, принятых в связи с переходом к новой экономической политике.

По декрету ВЦИК от 22 мая 1922 года использование наемного труда допускалось по договору тогда, когда «хозяйство по состоянию рабочей силы или инвентаря не может выполнить своевременно необходимые сельскохозяйственные работы», и при условии, что все трудоспособные члены хозяйства работают в нем наравне с наемными работниками. Нанимающая сторона должна была обеспечить работника одеждой и обувью, соблюдать установленную договором продолжительность рабочего дня, предоставлять выходные дни и отпуск. В 1925 году были изданы временные правила об условиях применения подсобного наемного труда, которыми был запрещен наем лиц моложе 12—14 лет, введены обязательное предоставление одного выходного, увольнение с предупреждением за две недели, оплата не ниже установленного государством минимума и так далее.

Безусловно, в немалой части кулацких хозяйств положения об использовании наемной рабочей силы обходились. Но именно в этих случаях возможно было применять против них административное и судебное воздействие.

Раскулачивание было первой акцией массовых беззаконий, идейным вдохновителем которых стал Сталин.

Не было и экономической основы для сплошного раскулачивания. При недостаточном зерновом производстве речь должна была идти не об уничтожении наиболее товарной формы крестьянского производства, а о совмещении колхозов с этими хозяйствами. Не было и потому, что общая материально-техническая база колхозов оставалась крайне низкой: в 1929 году был произведен первый советский комбайн. В 1928-м в сельском хозяйстве СССР насчитывалось 27 тысяч тракторов, два комбайна, 700 грузовых автомашин, включая автоцистерны. В среднем один трактор приходился на пять колхозов. Как отмечалось на I Всесоюзном съезде колхозов, «перед колхозами стоит задача поднять свое хозяйство... его доходность на такую высоту, чтобы оно могло свободно конкурировать с кулацким хозяйством». Что же касается совхозов, то значительная часть из них оставалась нерентабельной.

Поводом для раскулачивания послужили также обострение классовой борьбы в деревне, террористические акты и даже восстания. Число таких выступлений действительно возросло во время сплошной коллективизации.

Однако тут зачастую путают причину со следствием. Нередко такие акции были лишь следствием притеснений и несправедливости местных властей. Именно форсированная коллективизация и раскулачивание, которому подвергались и середняки, порождали массовые волнения в деревне. Притеснения крестьян как причину их волнений в свое время признавал и сам Сталин. Выступая по поводу убийства селькора в селе Дымовка, он говорил: «Основной вопрос в этом деле, по-моему, не в том, что убили селькора, не в том даже, что есть у нас Дымовка,— все это очень плохо, но не в этом основа дела. Основа в том, что наши местные работники кое-где в деревне, волости, в районе, в округе глядят лишь на Москву, не желая повернуться к крестьянству, не понимая, что недостаточно ладить с Москвой, надо уметь еще ладить с крестьянством. Вот в этом основная ошибка, основная опасность нашей работы в деревне... С крестьянством мы сейчас работаем,— это... наш союзник, причем такой союзник, который дает нам прямую помощь теперь же, дает армию, хлеб и пр. С этим союзником... мы работаем вместе, мы вместе с ним строим социализм, хорошо ли, плохо ли, но строим, и мы должны уметь ценить этого союзника именно теперь, особенно теперь... Одно из двух (я уже не раз об этом говорил): либо мы вместе с беспартийным крестьянством, вместе с нашими советскими и партийными работниками на местах будем сами себя критиковать для того, чтобы улучшать нашу работу либо недовольство крестьян будет накапливаться и прорвется в виде восстаний». В другой речи на XIII губернской конференции московской организации РКП(б) в январе 1925 года, он, касаясь той же проблемы, сказал: «...Вопрос стоит так: либо мы, вся партия, дадим беспартийным крестьянам и рабочим критиковать себя, либо нас пойдут критиковать путем восстаний... Грузинское восстание — это была критика. Тамбовское восстание — тоже была критика. Восстание в Кронштадте — чем это не критика?» Хорошо говорил Сталин в те годы, да плохо следовал своим же выводам.

Что же происходило с оставшейся частью единоличных, исключительно середняцко-бедняцких крестьянских хозяйств? В конце 30-х годов были существенно сокращены размеры земли, находящейся в их распоряжении. В 1927 году средний размер надела в европейской части РСФСР (без автономных республик), по расчетам Наркомзема, несколько превышал 13 гектаров.

Постановлением «О мерах охраны общественных земель колхозов от разбазаривания», принятом в мае 1939 года, полевая земля единоличных крестьянских дворов была ограничена в хлопководческих районах десятью сотками, в неполивных — половиной гектара, во

всех остальных районах — до одного гектара, а единоличный приусадебный участок, считая и землю, занятую под постройками, был ограничен в поливных районах десятью, а в остальных районах — двадцатью сотками. Вся земля сверх указанных норм, как полевая, так и приусадебная, отрезалась и присоединялась к колхозным землям.

Таким образом, общее количество земли у единоличников было ограничено от 0,2 до 1,2 гектара (включая полевой надел, приусадебный участок и землю, занятую под постройками). Фактически оно было сокращено до размеров, приближающихся к приусадебным участкам колхозников (в отведенные им полгектара, по Примерному уставу сельскохозяйственной артели 1935 года, не вошла земля, занятая под постройками).

Размер приусадебных участков единоличников не мог быть больше, чем у колхозников соответствующих районов, а в тех районах, где для колхозников не хватало приусадебной земли, ее прибавляли за счет единоличных наделов.

Еще ранее наряду с определенными льготами колхозам (нормы сдачи сельскохозяйственных продуктов урожая 1935 года для них были установлены, например, в полтора-два раза ниже, чем для единоличников) единоличным хозяйствам были значительно повышены налоги. Уже в довоенные годы поголовье скота у них из-за недостатка кормов и по другим причинам оказалось гораздо ниже, чем у колхозника. Так, в 1938 году на 100 дворов колхозников приходилось 138 голов крупного рогатого скота, единоличников — 85, свиней соответственно—70 и 35, овец и коз—169 и 132.

Само слово «единоличник» после сплошной коллективизации оказалось синонимом невежественности и частнособственнических пережитков, несовместимых с социализмом.

После почти полного исчезновения единоличного крестьянства из социально-экономической структуры нашего общества отрицательное отношение к нему и его хозяйству было перенесено на личное подсобное хозяйство. Это отношение не зафиксировано в партийно-государственных решениях. Напротив, в них нередко подчеркивалось его экономическое значение на современном этапе развития общества и тому подобное. Но в жизни, в быту многие его рассматривали как остаток частного, как нечто рудиментарное. В пятидесятых годах отмирание личного подсобного хозяйства уже считалось практической задачей, стоящей на повестке дня. И хотя это в дальнейшем было отброшено, вплоть до последнего времени, до 80-х годов, личное подсобное хозяйство не знало стабильной, долгосрочной, последовательно благожелательной политики. Лишь в 1986 году в официальном партийно-правительственном постановлении появилась характеристика его как составной части социалистического сельского хозяйства.

7

Но вернемся к периоду ускоренной коллективизации. Именно тогда усилилось свертывание нэпа, который вводился «всерьез и надолго». Подрыв хозрасчетных отношений в аграрной сфере, отход от взаимовыгодного обмена между промышленностью и сельским хозяйством, возврат к принципам продразверстки, возложение на крестьянство, по выражению Сталина, «нечто вроде дани» — все это характеризовало последующий период и обусловило известные деформации в экономике.

Наконец, следует остановиться еще на одном негативном и самом долговременном, до сих пор не преодоленном последствии сплошной коллективизации — сужении демократических начал в обществе и деревне, самостоятельности крестьянских масс. «Нет ничего глупее, как самая мысль о насилии в области хозяйственных отношений среднего крестьянина,— отмечал Ленин.— Задача здесь сводится не к экспроприации среднего крестьянина, а к тому, чтобы учесть особенные условия жизни крестьянина, к тому, чтобы учиться у крестьян способам перехода к лучшему строю и не сметь командовать! Вот правило, которое мы себе поставили».

Ленинское указание «Не сметь командовать!» — разве оно не актуально сейчас, только теперь не по отношению к единоличному крестьянству, а к колхозам?! Разве повторенное, но не выполненное до сих пор требование отказа от мелочной опеки не свидетельствует об игнорировании ленинских принципов хозяйствования в аграрной сфере, игнорировании, которое началось именно в конце 20-х годов?!

Кстати, тогда уже в резолюции XVI партконференции «Об итогах и ближайших задачах борьбы с бюрократизмом» звучал призыв о решительной борьбе «против подмены пролетарской общественности административным командованием и мелочной опекой со стороны партийных комитетов». Все последующее действо с тех пор во многом напоминало движение по воинской команде: «На месте шагом арш!» — движение вроде бы было, а продвижения ни на шаг.

Теми формами и методами, которыми осуществлялась сплошная коллективизация, был не только нарушен привычный, выработанный веками крестьянский уклад жизни, но и началось разрушение крестьянина как производителя, работника и организатора производства, превращение его, по существу, в наемную силу, исполнителя чужой воли, его отчуждение от земли, снижение его заинтересованности в конечных результатах производства.

Приведем по этому поводу весьма примечательное высказывание Сталина: «Пока в деревне преобладал единоличный хозяин, партия могла ограничивать свое вмешательство в дело развития сельского хозяйства отдельными актами помощи, совета или предупреждения. Тогда единоличник сам должен был заботиться о своем хозяйстве, ибо ему не на кого было взваливать ответственность за это хозяйство, которое было лишь его личным хозяйством, и не на кого было рассчитывать, кроме себя самого... С переходом на коллективное хозяйство дело существенно изменилось... Колхозники так и говорят теперь: «Колхоз мой и не мой, он мой, но вместе с тем он принадлежит Ивану, Филиппу, Михаилу и другим членам колхоза, колхоз общий». Теперь он... может взвалить ответственность и может рассчитывать на других членов колхоза, зная, что колхоз не оставит его без хлеба. Поэтому забот у него, у колхозника, стало меньше, чем при индивидуальном хозяйстве, ибо заботы и ответственность за хозяйство распределены ныне между всеми колхозниками.

Что же из этого следует? А из этого следует то, что центр тяжести ответственности за ведение хозяйства переместился теперь от отдельных крестьян на руководство колхоза... Теперь крестьяне требуют заботы о хозяйстве и разумного ведения дела не от самих себя, а от руководства колхоза... А что это значит? Это значит, что партия уже не может теперь ограничиваться отдельными актами вмешательства в процесс сельскохозяйственного развития. Она должна теперь взять в свои руки руководство колхозами, принять на себя ответственность за работу...»

Такова была концепция Сталина: представление о колхозе как о средстве для крестьянина сложить с себя значительную часть ответственности за хозяйство и переложить его в основном на руководство созданного колхоза и в какой-то мере на коллег по совместному труду и, наконец, о колхозе как условии для широкого вмешательства извне в процесс сельскохозяйственного производства.

До чего же все это расходится с ленинской политикой сохранения в сельских тружениках чувства хозяина производства, достижения большей заинтересованности в нем, личной ответственности за результаты своей деятельности, ликвидации мелочной опеки.

В 1921 году по предложению Ленина был создан Всероссийский союз сельскохозяйственной кооперации, объединивший все кооперативные хозяйства в стране и координирующий их деятельность, соответствующие союзы были образованы на местах, в губерниях и уездах. В 1927 году был организован Колхозцентр СССР, создание которого определило постепенное свертывание организационной структуры многих иных звеньев кооперативной системы, затем был упразднен и сам Колхозцентр.

На первом Всесоюзном съезде колхозов в 1928 году был выбран Всесоюзный совет колхозов с сессиями не реже двух раз в год, а Всесоюзные съезды сельскохозяйственных коллективов решили проводить один раз в два года. Это решение не было соблюдено. За всю последующую шестидесятилетнюю историю колхозного движения было проведено всего три Всесоюзных съезда колхозников, в 1933 и 1935 годах (съезды колхозников-ударников) и в 1969 году. Эти съезды, особенно 1933 и 1935 годов, были по характеру преимущественно отчетно-парадными, а не деловыми.

Постепенно колхозы лишились, и надолго, Всесоюзного совета колхозов, в котором уже на первых порах сами колхозники не составляли большинства членов. Кстати, и после создания Союзного совета колхозов его, а также все советы колхозов в союзных республиках возглавляли до последнего времени не колхозники, а по совместительству чиновники — министры сельского хозяйства.

Из 125 членов Союзного совета колхозов, избранного в 1980 году, примерно четверть составили административные работники государственных служб (министры сельского хозяйства, начальники управлений и так далее) и только девять — рядовые колхозники: три комбайнера, дояр и доярка, тракторист, чабан, чаевод, табаковод. Естественно, что подобные советы, хотя и собирались и что-то обсуждали, но в пределах того, что уже обсуждалось на уровне ведомств и соответствовало тому, как решалось это на коллегиях министерств и в других вышестоящих инстанциях. Лишь с организацией Агропрома СССР положение было подправлено.

С завершением сплошной коллективизации перестали существовать сельские общины, земельные общества, потеряли свое значение сельские сходы и другие формы крестьянского общественного самоуправления. Оказались без поддержки со стороны общества традиционные неформальные виды соседской крестьянской взаимопомощи и кооперации. Тогда же сокращается и прекращается деятельность разнообразных форм крестьянской кооперации. Потребительская кооперация все более приобретает государственно-бюрократический характер, разрастается ее аппарат управления.

В стране в последний период была предпринята массовая ликвидация сельпо, наиболее близко стоявших к многомиллионным массам сельских пайщиков. Райпо ныне объединяют в среднем 19—20 тысяч пайщиков. В 1959 году полностью упраздняется промысловая кооперация, свертывание которой началось с 1956 года. В 60-х годах происходит массовое преобразование колхозов в совхозы. С существенно меньшей интенсивностью, но все же шел этот процесс и в последующие годы. Если к началу 1960 года доля колхозов в общей земельной площади в стране достигла

72,5 процента, остальное падало на земли государственных сельскохозяйственных предприятий, то в 1970 году удельный вес колхозов по земле сократился до 34, а в 1986 году — до 23 процентов.

Припоминаю, что в пору массовых преобразований колхозов в совхозы — я тогда работал в Ростовской области преподавателем Азово-Черноморского института механизации и электрификации сельского хозяйства — спросил кого-то из областного управления сельского хозяйства, почему в Вешенском районе из всех колхозов сохранился лишь «Тихий Дон», на что получил ответ, что и этот колхоз был бы преобразован в совхоз, но вмешался М. А. Шолохов, и для него этот колхоз сохранили. Вот как решался столь серьезный вопрос. Впрочем, сами колхозники не были заинтересованы в сохранении «вывески», так как перевод на положение совхозов сулил им определенный экономический выигрыш — иной уровень пенсий и тому подобное.

С 30-х годов и до последнего времени происходило постоянное и далеко не всегда оправданное укрупнение колхозов, ликвидация в них «неперспективных» населенных пунктов, мелких ферм.

С начала сплошной коллективизации создаются и множатся государственные органы, контролирующие и опекающие колхозы. В них направляются для проведения различных кампаний уполномоченные, которые вмешиваются во всю их работу, ограничивают колхозное самоуправление.

Когда-то В. И. Ленин отмечал: «Нет ничего глупее, когда люди, не знающие сельского хозяйства и его особенностей, люди, которые бросились в деревню только потому, что они услышали о пользе общественного хозяйства, устали от городской жизни и желают в деревне работать,— когда такие люди считают себя во всем учителями крестьян».

Между тем эти «глупости» продолжались на большом историческом отрезке времени. Очевидно, нельзя лишь с положительной стороны расписывать посылку в 1929—1930 годах на село «двадцатипятитысячников» — рабочих из городов для помощи в проведении коллективизации. Основным достоинством этих людей считалось не знание сельского хозяйства, а рабочий стаж, твердость в проведении «линии». А ведь посылка из городов на работу в деревню, причем на руководящие должности, людей, далеких от сельского хозяйства, повторилась еще и в пятидесятых годах. В 1955 году было решено послать на постоянную руководящую работу в колхозы (главным образом для использования в качестве председателей и заместителей председателей колхозов) не менее 30 тысяч горожан из числа партийных, советских и хозяйственных кадров, инженеров, техников, рабочих и служащих. Для их «ознакомления» с вопросами сельскохозяйственной экономики были организованы... трехнедельные курсы и двухмесячная стажировка в колхозах. Вот и весь багаж, с которым ехали на село посланцы города, призванные заменить колхозных вожаков. Лишь немногие из тысяч посылавшихся на село прижились там и оказались на уровне предъявляемых требований.

Итак, мы видим весьма глубокие последствия форсирования коллективизации.

Что же из всего сказанного вытекает? А именно то, что рожденное нами в результате сплошной коллективизации предприятие, названное колхозом, по существу и изначально не было кооперативным хозяйством в том смысле, которое в это понятие вкладывал В. И. Ленин или которое определилось уже сложившейся к тому времени хозяйственной практикой.

Государственное руководство колхозами фактически ничем не отличается от совхозов, и формула «обязать совхозы и рекомендовать колхозам» в действительности не предполагает для тех и других каких-то различий в выполнении указаний. Колхозы были лишены права распоряжаться своими производственными фондами, права свободно расходовать денежные средства, находящиеся на счете в банке, они чрезвычайно стеснены в выборе каналов реализации своей продукции, стеснены высоким «продразверсточным» уровнем закупок. Они оказались несвободны в материально-техническом обеспечении своих потребностей, в определении структуры производства.

Формальное отличие колхозов от совхозов — избрание правления и председателя колхоза, но ведь известно, что обычно кандидатуры руководителей колхозов, как и директоров совхозов, «утрясаются» районным руководством и с их подачи «выбираются» на этот пост. Неделимые фонды колхозов по своему режиму использования никаких следов кооперативной собственности не несут. Любое кооперативное предприятие создается ради повышения эффективности производства и именно этим оправдывает свое существование, оно просто не может по самой своей сущности не быть хозрасчетным, не может являться хронически убыточным, живущим за счет государственных инъекций. Между тем у нас немало именно таких колхозов-иждивенцев, которые не могут стать на собственные ноги, осуществить принципы хозрасчета. Но такие бесперспективные хозяйства не перестают функционировать, их ликвидация была бы неизбежно оценена как деколлективизация, к тому же для колхозов в их Примерном уставе не был предусмотрен их добровольный роспуск по желанию их членов.

В колхозах, как и в совхозах, постепенно значительно разрослась управляющая прослойка. Составление разного рода обязательств, сводок, отчетов, сообщение письменных и устных справок, подготовка многочисленных бумаг для единичных контролеров и целых комиссий — всем этим занят не только аппарат управления, но и специалисты. В настоящее время только в колхозах и совхозах аппарат управления составляет примерно полтора миллиона человек. Если учесть, что, помимо этого, многочисленные штаты «столоначальников» в системе Агропрома и его местных органов (472 тысячи человек), что огромная армия специалистов сельскохозяйственных предприятий (800 тысяч) также значительную часть бюджета рабочего времени отдает писанине, заседаниям, можно представить, сколь грандиозен подъем и размах рутинно-бюрократической работы, отвлечения трудовых ресурсов и интеллектуальных сил от непосредственного производства.

Со временем, как известно, исчез такой отличительный признак колхозов, как трудодень, который сочетал в себе признаки денежной и натуральной оплаты, в большей мере определялся конечными результатами производства.

В этой связи автор не делает вывод: коль скоро сплошная коллективизация и раскулачивание были отклонениями от ленинских принципов кооперирования, следует распустить нынешние колхозы и начать все сначала, что история колхозного движения — это сплошное темное пятно.

Прежде всего перейти к единоличному хозяйствованию не захочет подавляющая масса самих колхозников.

У нас было и есть немало колхозов, добившихся существенных успехов в развитии производства. Безусловно, вырос, и весьма значительно, общий объем сельскохозяйственной продукции.

Но, по-видимому, следует оценивать результаты не только по тому, что было и на какой уровень мы вышли сейчас, но и что достигнуто в производстве и его эффективности по сравнению с другими странами и насколько общий уровень развития сельского хозяйства соответствует возможностям и потребностям общества.

Несмотря на определенный рост сельскохозяйственного производства, оно в нашей стране существенно отстает от большинства братских социалистических и развитых капиталистических стран. Продукция сельского хозяйства с 1966—1970 годов по настоящее время держится на уровне 85 процентов к объему производства в США, а производительность труда в отрасли за период с 1966 по 1985 год сохраняется на уровне 20—25 процентов к соответствующему показателю в США. Урожайность зерновых в 1981—1985 годы в среднем составила всего 14,9 центнера с гектара, надои молока на корову в 1986 году достигли лишь 2445 килограммов (рост против 1970 года — всего 335 килограммов), в том числе в колхозах и совхозах — 2611 килограммов (рост — 299 килограммов).

Все это существенно ниже, чем в развитых капиталистических странах. В США, например, средний удой на корову в 1985 году — 5844 литра, в Великобритании — 4909, в ФРГ — 4710, во Франции — 3284 литра.

Урожайность зерновых и зернобобовых за последние годы у нас находилась, как уже отмечалось, на уровне примерно 15 центнеров с гектара, тогда как в развитых странах ЕЭС — 48—50, а в США — 42—47 центнеров с гектара.

Очевидно, следует искать причины этого общего отставания сельского хозяйства в анализе социальных и экономических условий.

В чем же заключается основной фактор ускорения развития колхозов и повышения их эффективности?

Он, очевидно, в возвращении им того уровня кооперативной хозяйственной самостоятельности, которой крестьянские хозяйства и кооперативные организации были лишены с переходом к сплошной коллективизации, в возвращении к разнообразию форм кооперации, которая соответствует интересам тружеников села и местным условиям, в возрождении там, где этого желают отдельные крестьянские семьи, индивидуальной трудовой деятельности на основе кооперации с общественным сектором и при его помощи.

Когда-то В. И. Ленин писал: «Мы не претендуем на то, что Маркс или марксисты знают путь к социализму во всей его конкретности. Это вздор. Мы знаем направление этого пути, мы знаем, какие классовые силы ведут по нему, а конкретно, практически, это покажет лишь опыт миллионов, когда они возьмутся за дело». Этой самодеятельности масс в строительстве социализма нам и недостает. Социализм можно строить только с народом, а иначе нельзя.

«Лишь те объединения ценны,— отмечалось в резолюции VIII съезда РКП(б) об отношении к среднему крестьянству,— которые проведены самими крестьянами по их свободному почину и выгоды коих проверены ими на практике».

Ленинское неприятие голого администрирования в отношении крестьянства выражалось не только по поводу вступления крестьян в кооперацию. Он всегда подчеркивал необходимость считаться с волей крестьянских масс, не подавлять самодеятельности и инициативы крестьянства в решении вопросов сельской жизни неуемным администрированием.

«Больше всего на свете,— писал В. И. Ленин,— надо теперь бояться, помоему, именно неумелого вмешательства, пока еще мы не изучили основательно действительных потребностей местной сельскохозяйственной жизни и действительных способностей нашего мест-

ного аппарата власти (способностей не причинять зла во имя благочестивого желания делать добро)».

В резолюции XI съезда партии «Об укреплении и новых задачах партии» подчеркивалось: «Партийные организации ни в коем случае не должны вмешиваться в повседневную текущую работу хозорганов и обязаны воздерживаться от административных распоряжений в области советской работы вообще. Парторганизации должны направлять деятельность хозорганов, но ни в коем случае не стараться заменять или обезличивать их. Отсутствие строгого разграничения функций и некомпетентное вмешательство приводят к отсутствию строгой и точной ответственности каждого за вверенное ему дело, увеличивают бюрократизм в самих парторганизациях, делающих и все и ничего... одним словом, затрудняют правильную организацию работы». Более того, в резолюции съезда указывалось, что смешение функций партийных и хозяйственных органов «дало бы совершенно гибельные результаты», подобно тому, как могло бы оказаться гибельным для нашей страны в период гражданской войны смешение партийных и военных функций, если бы не было установлено в 1919 году единоначалие в Красной Армии, разграничение обязанностей командиров и комиссаров.

Положения этой резолюции актуальны и сегодня. Призывы покончить с мелочной опекой обычно адресовались тем самым органам, которые эту мелочную опеку осуществляли, которые привыкли к директивно-командному стилю руководства отраслью, тем паче, что не несли материальной ответственности за негативные последствия своих распоряжений.

Единоначалие важно не только в армии, оно должно быть установлено и на земле. На земле может быть один хозяин — колхоз, совхоз, а в конечном счете трудовой коллектив — семья, межсемейная группа или вообще малый трудовой коллектив доверяющих друг другу работников. Этот коллектив, ими самими сформированный, трудится на переданной им по договору в долгосрочную аренду или на иных условиях земле. Только он вправе решать вопросы рационального ее использования, безусловно, с учетом общественных потребностей, которые отражаются в договорных взаимовыгодных отношениях колхоза с государственными закупочными организациями, а колхозов, в свою очередь,— с отдельными тружениками и их группами.

Следует, по-моему, прекратить практику щедрого награждения партийных работников за хозяйственные успехи сельских тружеников. Эта практика, увы, часто вела к «ларионовщине», «медуновщине», «рашидовщине» и тому подобному честолюбивому нажиму на руководителей хозяйств, дабы обеспечить высокие показатели любой ценой, за счет неоправданного изменения структуры сельского хозяйства, а если не получалось, то и за счет приписок, незаконных махинаций... В этой жестокой игре председателям колхозов и директорам совхозов отводилась роль пешек.

В период авантюры с чрезмерным и ускоренным распространением посевов риса на Кубани весь край знал, что кроется за этим — неудержимое желание тогдашнего партийного руководителя края Медунова получить очередную Звезду Героя. Все было мобилизовано ради этой цели; даже на футболках, даже на чайных сервизах красовался выдвинутый им лозунг: «Достичь урожая в один миллион тонн риса!» На месте уже было ясно, что авантюра провалится, а по Центральному телевидению шла передача «Вот они, герои», в которой Медунов делился опытом своих достижений.

Не только у нас, но и в других странах социалистического содружества проявляется потребность в более четком разграничении функций партийных, государственных и хозяйственных органов, устранении командного стиля партийного руководства деятельностью государственных органов и хозяйственных организаций. В «Основных положениях концепции дальнейшего построения социализма в НРБ» говорится: «Тот факт, что партия возведена в ранг главного субъекта власти, противоречит всем писаным и неписаным принципам, позволяет некоторым ее деятелям в центре и на местах приобрести чувство вседозволенности, безнаказанности, недосягаемости при нарушении установленных норм и порядков».

Речь, конечно же, идет не об устранении партии от вопросов экономики. Но за партией должно прежде всего и в основном сохраняться участие в выработке стратегических направлений развития аграрного сектора народного хозяйства. Должна быть усилена воспитательная, идеологическая работа, способствующая пробуждению творческой инициативы тружеников села, а не вызовы «на ковер» в райкомы партии тех, кто отстает с выполнением плана.

Укрепить самостоятельность, предотвратить необоснованное вмешательство в эту область может возмещение вышестоящими органами и отдельными лицами материального ущерба, причиненного в результате их распоряжений. Такой принцип, в частности, действует в ЧССР, его следует ввести и у нас в измененный Примерный устав колхоза. Но думаю, что ответственность здесь должна быть обоюдной. Должен быть материально наказан за ущерб не только тот, кто отдал предписание, нарушившее права колхоза, но и руководитель хозяйства, принявший эту команду, беспрекословно опустивший руки по швам, вместо того чтобы отвергнуть вмешательство. Были распространены щедрый под-

корм районного руководства за счет колхозных кладовых, безропотное участие председателей в организации всевозможных банкетов для местных властей, содержание гостевых домиков, хлебосольное ублажение различных контролеров и уполномоченных, число которых резко возрастало в период уборки урожая... Причем чем неувереннее чувствовал себя на председательском месте тот или иной человек, тем более он старался утвердиться «подлизыванием» к местным властям, беспрекословным удовлетворением их желаний. Подкармливалось не только местное руководство. Кое-кто из председателей возил щедрые дары столичным начальникам. Один из прославленных в прошлом председателей колхозов, а возможно, и не один, содержал звероферму: каждый раз, отправляясь в Москву, отвозил тем, от кого зависело материально-техническое снабжение колхоза, в качестве презента дорогие меха. Таким образом шел подкорм близких и дальних генералов от земледелия за счет мужицких, то бишь колхозных, средств.

Конечно, это не характерно для всего или большинства из передового отряда председательского корпуса, но, что весьма распространено, несомненно. И дело тут не только в материальных потерях для колхозов, но и в той обращенности к верхам, к возрастающей зависимости от них, в которой все более утрачивались хозяйские правомочия коллектива. Ведь именно за его счет укреплялась личная связь между председателем и многочисленной иерархией от района до Москвы и все более недоставало внимания простым труженикам.

Это, в частности, тоже привело к тому, что ныне мы на каждом шагу сталкиваемся с отношением к общественной собственности как к ничейной, с противопоставлением своего и общественного, незаинтересованностью сельских жителей в конечном результате своего труда.

В полном восстановлении ленинских принципов хозяйствования на земле нет второстепенных вопросов. Возьмем вопрос руководства колхозом. До сих пор должность председателя колхоза является почему-то номенклатурой райкома, а не номенклатурой самих сельских тружеников. Выборы после того, как будущего кандидата привозят со стороны на колхозное собрание, становятся, по существу, профанацией. И ответственным он себя считает уже не перед коллективом, которым руководит, а перед тем органом, который его посадил в председательское кресло и при неудаче пересадит в другое.

Год-полтора назад один из моих знакомых, офицер в отставке К. И. Лакшин, рассказал мне глубоко возмутившую его историю. Отдыхая осенью в одном из подмосковных санаториев, он вместе со своим соседом по палате, бывшим армейским политработником, как-то прогуливался в окрестностях лечебного заведения. И вдруг они увидели, что на поле еще не убранных овощей въехал трактор и начал перепахивать. Его сосед, прихрамывая, тяжело припадая на трость, бросился наперерез. Он кричал, махал рукой трактористу, чтобы тот остановил машину, а трактор шел. И только в метре от преградивших ему движение фигур он остановился. Из кабины показалась взлохмаченная голова механизатора: «Уйдите с поля, деды, а то задавлю!» — злобно крикнул он. «Что же ты делаешь, паршивец, ведь поле еще не убрано!». «Это для тебя не убрано,— возразил тот,— а по сводке оно не только убрано, но и вспахано. Так что не мешай работать. Я ведь прикрываю грех начальства, привожу поля в соответствие со сводкой». «Ну, ладно,— попытался урезонить его сосед,— начальству нужно отчитаться, а где же твоя рабочая совесть? Ведь ты уничтожаешь плоды нелегкого труда других». «Нашел в чем упрекать,— невозмутимо ответил молодец.— Сейчас, дед, этап всеобщей электрификации. Уразумел? А это значит, что всем все до лампочки».

Конечно, эта злая шутка не выражает отношения к труду большинства членов общества, но тем не менее равнодушие к производственным обязанностям со стороны значительной части общества — факт неоспоримый.

Продолжавшееся десятилетиями административное подавление инициативы крестьянства сказалось на формировании его социальной психологии, а следовательно, и на сложившемся типе колхозника и работника совхоза, на их зачастую инертном, безразличном отношении к выполняемой работе, в ожидании «куда пошлют, что прикажут». Преодолеть эту инертность, восстановить заинтересованного, инициативного работника будет отнюдь не просто. Тем не менее ждать смены поколений для решения ныне стоящих перед обществом и сельским хозяйством задач не приходится. Поэтому перестройка в экономике неизбежно упирается в перестройку мышления рядовых тружеников, в воспитание, в том числе экономическими мерами, нового отношения работника сельского хозяйства к общественной собственности и к труду.

Мне неоднократно приходилось участвовать в научных конференциях, симпозиумах, научно-практических совещаниях республиканских, всесоюзных и даже международных, посвященных совершенствованию хозяйственного механизма в агропромышленном комплексе. На них выступало немало ученых и весьма ответственных товарищей из ведомств, входящих в систему этого комплекса. Скрещивались копья, высказывались очень смелые мысли, предложения, по какому пути нам идти в перестройке системы управления и планирования, как лучше стимулировать производительный труд, полнее использовать принципы про-

изводственной демократии... Но странио, что на этих совещаниях не звучал голос тех, кого прежде всего эти изменения вроде бы должны касаться,— самих работников сельского хозяйства. На этих совещаниях их обычно не было, и мы к этому привыкли, как и привыкли труженики села к тому, что важные перемены в их производственной и общественной жизни замышлялись и осуществлялись, помимо них.

О том, как далеко зашло вмешательство в права колхоза, можно судить по тому, что за 1981—1982 годы безвозмездная передача основных средств колхозов в распоряжение государственных органов, различных организаций и предприятий в общей сложности составила около миллиарда рублей. В настоящее время в соответствии с утвержденным в 1986 году типовым положением о районном агропромышленном объединении колхозы, наравне с совхозами, обязываются покрывать расходы на содержание работников аппарата управления этих объединений, то есть оплачивать аппарат государственной службы. Некоторые колхозы выплачивают на эти цели до полумиллиона и более рублей — больше, чем на содержание собственного управления.

Недавно на заседании Союзного совета колхозов я разговорился с председателем колхоза имени XXII партсъезда Орловской области. Речь зашла о жилищном строительстве на селе. Председатель рассказал, что колхозникам было предложено построить коттеджи с удобствами — на льготных условиях: половину стоимости домов, десять — пятнадцать тысяч, колхоз берет на себя, колхозники при этом должны были выплатить единовременно 20 процентов, а остальное — с рассрочкой на 20 лет. Никто не выразил желания стать владельцем дома. А между тем плата за него в рассрочку ежемесячно получалась примерно 35 рублей, что при нынешних заработках доярки в 300 и более рублей не так уж накладно. Все предпочитают быть квартирантами в принадлежащих колхозу домах да еще хотят, чтобы правление заботилось о починке выключателя или ремонте крыши, что раньше всегда делали сами колхозники. «Что-то мы упустили»,— горько заметил председатель.

Так отсутствие хозяйского отношения к производству ныне распространяется и на сферу быта. Крестьянин-домохозяин все более превращается в квартиросъемщика.

Для того чтобы трудящиеся ощутили себя хозяевами общественного богатства, требуется не только большая воспитательная работа, но и известный «порог ощутимости», который достигается при закреплении средств производства, а в сельском хозяйстве прежде всего основного из них, земли, за небольшими трудовыми коллективами (желательно на семейной и межсемейной основе) и оплате по конечной продукции.

Всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами мы должны возвращать сельскому труженику чувство хозяина, восстановить его разорванную связь с землей. Для этого надо шире использовать и зарубежный опыт. Недавно венгерская газета «Непсабадшаг» рассказала о привлечении денежных средств крестьян к развитию сельскохозяйственных производственных кооперативов. Предоставляя кооперативу денежный кредит, отмечала газета, его члены не только помогают развитию хозяйства, но и укрепляются в своем чувстве хозяина. Такой опыт может быть ценен и для нас. Видимо, следует предоставить трудящимся выбор формы трудовой деятельности и кооперации. На мой взгляд, следует вспомнить разнообразные формы кооперативной деятельности деревни двадцатых годов, хозяйскую сметку, предприимчивость крестьян, объединение их усилий именно в тех сферах, в которых это диктовалось их собственными интересами и особенностями производства.

Наряду с коллективным садоводством и огородничеством следует предоставлять на арендных началах землю для сельскохозяйственного производства отдельным гражданам, поощрять создание и поддерживать развитие различных животноводческих товариществ в городах и небольших поселках.

Устранение мелочной опеки, раскрепощение кооперации становятся ныне насущным требованием почти во всех странах мировой социалистической системы. Так, в законопроекте о сельскохозяйственной кооперации, который представлен в Чехословакии на всенародное обсуждение, предусматривается полная хозрасчетная самостоятельность кооперативов. Государство не будет вмешиваться в их деятельность, нести экономическую или правовую ответственность за ее результаты.

Возвращаясь к колхозам, повторю, что я вовсе не за их повсеместный роспуск или что-нибудь в этом роде. Очевидно, что колхозы еще просто не действовали в тех нормальных условиях, в которых могли бы раскрыться их важные достоинства, обеспечивающие существенный рост производительности труда.

Эти позитивные условия вернули бы крестьянину столь необходимое чувство хозяина, а предприятию желательную, пока не достигнутую самостоятельность. Создание этих условий во многом зависит от того, как будет выполнен в отношении деревни ленинский завет: «Не сметь командовать!».

Василий ГРОССМАН

Жизнь и судьба

РОМАН

59

В первый день работала проволочная связь.

От долгого безделья и отчужденности от жизни дома «шесть дробь один» девушке-радистке стало невыносимо тоскливо.

Но и этот первый день в доме «шесть дробь один» многое подготовил для сближения ее с жизнью, которая ей предстояла.

Она узнала, что в развалинах второго этажа сидят наблюдатели-артиллеристы, передающие данные в Заволжье, что старший на втором этаже — лейтенант в грязной гимнастерке, с постоянно сползающими со вздернутого носа очками.

Она поняла, что сердитый сквернослов-старик попал сюда из ополчения и гордится своим званием командира минометного расчета. Между высокой стеной и холмом кирпичного лома располагались саперы, там царствовал полный человек, который ходил, покряхивая и морщась, словно страдал от мозолей.

Единственной в доме пушкой командовал лысый в матросской тельняшке человек. Фамилия его была Коломейцев. Катя слышала, как Греков крикнул:

— Эй, Коломейцев, ты, я вижу, опять мировую цель проспал.

Пехотой и пулеметами верховодил младший лейтенант со светлой бородой. Лицо его в рамке бороды казалось особенно молодым, а лейтенант, вероятно, считал, что борода ему придает вид тридцатилетнего, пожилого.

Днем ее покормили, она поела хлеба, бараньей колбасы. Потом она вспомнила, что в кармане гимнастерки у нее лежит конфета, и назаметно сунула конфету в рот. После еды ей захотелось спать, хотя стреляли совсем близко. Она заснула, во сне продолжала сосать конфету, продолжала томиться, тосковать, ждать беды. Вдруг ушей ее достиг протяжный голос. Не открывая глаз, она вслушивалась в слова:

...как вино, печаль минувших дней
В моей душе, чем старе, тем сильней...

В каменном колодце, освещенном вечерним газообразным янтарем, стоял взъерошенный, грязный малый и держал перед собой книжку. А на красных кирпичах сидели пять-шесть человек, Греков лежал на шинели, подперев подбородок кулаками. Парень, похожий на грузина, слушал недоверчиво, как бы говоря: «Нет, меня не купишь такой ерундой, брось».

От близкого разрыва встало облако кирпичной пыли, и, казалось, заклубился сказочный туман, люди на кровавых грудах кирпича и их оружие в красном тумане стали как в грозный день, о котором рассказано в «Слове о полку Игореве». И неожиданно сердце девушки задрожало от нелепой уверенности, что ее ожидает счастье.

День второй. В этот день произошло событие, взбудоражившее ко всему привыкших жильцов дома.

На втором этаже ответственным съемщиком был лейтенант Батраков.

Продолжение. Начало см. в № 1 с. г.

При нем находились вычислитель и наблюдатель. Катя по нескольку раз на день видела их — унылого Лампасова, хитроумного и простодушного Бунчука, странного, все время улыбающегося самому себе очкастого лейтенанта.

В минуты тишины сверху, через пролом в потолке, бывали слышны их голоса.

Лампасов до войны имел отношение к куроводству, беседовал с Бунчуком об уме и вероломных повадках кур. Бунчук, припав к стереотрубе, протяжно, нараспев докладывал: «Ось бачу — с Калача идэ фрыцевська автомобильна колонна... идэ середня танка... идуть фрыци пишки, до батальону... У трех мистах, як и вчора, кухни дымять, идуть фрыци с котелками...» Некоторые его наблюдения не имели стратегического значения и представляли лишь житейский интерес. Тогда он пел: «Ось бачу... фрыцевський командир гуляе с собачкой, собачка нюхае стовбыка, бажае оправиться, так воно и е, мабудь, сучка, охвицер стоить, чекае. Ось дви дивки, городськи, балакають с фрыцевськими солдатами, рыгочуть, солдат выймае сигареты, идна дивка бере, пускае дым, друга головой мотае, мабудь, каже: я не куряща...»

И вдруг Бунчук все тем же певучим голосом доложил:

«Ось бачу... на плацу построена полнокровна пихота... Стоить оркестра... На самой середыни якась трибуна, ни, це дрова зложены...» Потом он надолго замолчал, а затем голосом, полным отчаяния, но все же протяжным, произнес: «Ой, бачу, товарищ лейтенант, ведуть женщину, в сорочци, вона щось кричить... оркестра гра... цю женщину привязывають до столба, ой, бачу, товарищ лейтенант, коло ней хлопчык, и его привязують... товарищ лейтенант, очи б мои не дывылись, два фрыца льють бензин с бачков...»

Батраков передал о происшествии по телефону в Заволжье.

Он припал к стереотрубе и на свой калужский манер, подражая голосу Бунчука, заголосил:

— Ой, бачу, ребята, все в дыму и оркестр играет... Огонь! — заорал он страшным голосом и повернулся в сторону Заволжья.

Но Заволжье молчало...

А через несколько минут место казни было накрыто сосредоточенным огнем тяжелого артиллерийского полка. Плац закрыло облаками дыма и пыли.

Несколько часов спустя стало известно через разведчика Климова, что немцы собирались сжечь цыганку и цыганенка, заподозренных в шпионаже. Накануне Климов оставил старухе, жившей в погребке с внучкой и козой, пару грязного белья, портянки и обещал назавтра зайти за постиранным бельем. Он хотел разузнать у старухи про цыганку и цыганенка, — убило их советскими снарядами или они успели сгореть на немецком огне. Климов прополз среди развалин по ему одному ведомым тропинкам, но на месте, где находилась землянка, советский ночной бомбардировщик положил тяжелую бомбу — не стало ни бабушки, ни внучки, ни козы, ни климовских рубахи и подштанников. Он обнаружил лишь между расщепленными бревнами и ломтями штукатурки грязного котенка. Котенок был никудышный, ни о чем не просил и ни на что не жаловался, считал, что этот грохот, голод, огонь и есть жизнь на земле.

Климов так и не мог понять, почему вдруг сунул котенка в карман.

Катю удивляли отношения людей в доме «шесть дробь один». Разведчик Климов докладывал Грекову не по форме, стоя, а сел рядом с ним, говорили они, словно товарищ с товарищем. Климов прикурил свою папироску от папиросы Грекова.

Закончив рассказ, Климов подошел к Кате и сказал:

— Девушка, вот какие жуткие дела бывают на свете.

Она вздохнула, покраснела, ощутив на себе его колющий, режущий взгляд.

Он вытащил из кармана котенка, положил его на кирпич рядом с Катей.

В этот день десяток людей подходили к Кате, они заговаривали с ней на кошачьи темы, но никто не говорил о случае с цыганкой, хотя случай этот растревожил всех. Те, кто хотел завести с Катей чувствительные, откровенные разговоры, говорили с ней насмешливо, грубо. Те, кто замышлял с бесхитростной простотой переспать с ней, заговаривали церемонно, с елейной деликатностью.

У котенка сделалась трясучка, и он дрожал всем телом, видимо, был контужен.

Старик минометчик, морщась, проговорил:

— Пришибить его, и все. — И тут же добавил: — Ты бы с него блох выбрала.

Второй минометчик, красивый, смуглый ополченец Ченцов, посоветовал Кате:

— Выкиньте эту погань, девушка. Был бы сибирский.

Мрачный, с тонкогубым и злым лицом солдат-сапер Ляхов один лишь действительно интересовался кошкой и был безразличен к прелестям радистки.

— Когда мы в степи стояли, — сказал он Кате, — как шарахнет на меня, я подумал — снаряд на излете. А это заяц. До вечера со мной сидел, а затихло — ушел.

Он сказал:

— Вот вы девушка, а все-таки понимаете, — он бьет из стовосьмимиллиметрового, вот его «ванюша» сыграл, разведчик над Волгой летает. А заяц, дурачок, ничего не разбирает. Он миномета от гаубицы не отличит. Немец навесил ракет, а его трясет — разве ему объяснишь? Вот поэтому их и жалко.

Она, чувствуя серьезность собеседника, так же серьезно ответила:

— Я не вполне согласна. Собаки, например, разбираются в авиации. Когда мы стояли в деревне, там был один Керзон, дворняга, идут наши «илы», он лежит и даже головы не подымет. А чуть заноет «юнкерс», и этот Керзон бежит в щель. Без пол-литра разбирался.

Воздух дрогнул от поганого дерущего скрипа — заиграл двенадцатиствольный немецкий «ванюша». Ударил железный барабан, черный дым смешался с кровавой, кирпичной пылью, посыпался грохочущий камень. А через минуту, когда стала оседать пыль, радистка и Ляхов продолжали разговор, точно не они падали наземь. Видимо, и Катю заразило самоуверенностью, шедшей от людей в окруженном доме. Казалось, они были убеждены, что в разваленном доме все хрупко, ломко, и железо, и камень, только не они.

А мимо расщелины, в которой они сидели, с воем и свистом пронеслась пулеметная очередь, за ней вторая.

Ляхов сказал:

— Весной мы под Святогорском стояли. И как засвистит над головой, а выстрелов не слышно. Ничего не поймешь. А это оказалось — скворцы научились передразнивать пулю... Командир у нас был, старший лейтенант, и тот нас по тревоге поднял, так они засвистели.

— Дома я себе войну представляла: дети кричат, все в огне, кошки бегают. Приехала в Сталинград, все так и оказалось.

Вскоре к радистке Венгровой подошел бородатый Зубарев.

— Ну как, — участливо спросил он, — живет молодой человек с хвостом? — И приподнял обрывок портянки, прикрывавший котенка. — Ох, какой бедный, какой слабый, — говорил он, а в глазах его блестело нахальное выражение.

Вечером после короткого боя немцам удалось немного продвинуться но фланг дома «шесть дробь один», преградить пулеметным огнем дорогу между домом и советской обороной. Проволочная связь со штабом стрелкового полка прервалась. Греков приказал пробить ходок из подвала к подземному туннелю, проходившему неподалеку от дома.

— Взрывчатка есть, — сказал Грекову широкотелый старшина Анциферов, держа в одной руке кружку с чаем, в другой — огрызок сахара.

Жильцы дома, рассевшись в яме, у капитальной стены, беседовали. Казнь цыганки взволновала всех, но никто по-прежнему не заговаривал об этом. Казалось, людей не волновало окружение.

Странным было Кате это спокойствие, но оно подчиняло себе, и самое страшное слово «окружение» не было ей страшно среди самоуверенных жильцов дома. Ей не было страшно и тогда, когда где-то совсем рядом скрежетнул пулемет и Греков кричал: «Бей, бей, вот они полезли».

Ей не было страшно, когда Греков говорил: «Кто что любит: граната, нож, лопатка. Вас учить — портить. Только прошу — бей, кто чем любит».

В минуты тишины жильцы дома обсуждали, не торопясь и обстоятельно, наружность радистки. Батраков, который, казалось, был не от мира сего да к тому же и близорук, обнаружил осведомленность во всех статьях Катиной красоты.

— В дамочке бюст для меня основное, — сказал он.

Артиллерист Коломейцев поспорил с ним, он, по выражению Зубарева, «шпарил открытым текстом».

— Ну, а насчет кота заводили разговор? — спросил Зубарев.

— А как же, — ответил Батраков. — Даже папаша насчет кота запускал.

Старик минометчик сплюнул и провел ладонью по груди.

— Где же это у нее все, что полагается девке по штату? Я вас спрашиваю?

Особенно он рассердился, когда услышал намеки на то, что радистка нравится Грекову.

— Конечно, при наших условиях и така Катька сойдет, летом и качка прачка. Ноги длинные, как у журавля, сзади — пусто. Глаза большие, как у коровы. Разве это девка?

Ченцов, возражая ему, говорил:

— Тебе бы только сисятая. Это отживший, дореволюционный взгляд.

Коломейцев, сквернослов и похабник, объединивший в своей большой лысеющей голове множество особенностей и качеств, посмеиваясь и щуря мутно-серые глаза, говорил:

— Девчонка форменная, но у меня, например, особый подход. Я люблю маленьких, армяночек и евреечек, с глазищами, поворотливых, быстрых, стриженых.

Зубарев задумчиво посмотрел на темное небо, расцвеченное прожекторами, и негромко спросил:

— Все же интересно, как это дело сложится?

— Кому даст? — спросил Коломейцев. — Грекову — это точно.

— Нет, неясно, — сказал Зубарев и, подняв с земли кусок кирпича, с силой швырнул его об стену.

Приятели поглядели на него, на его бороду и принялись хохотать.

— Чем же ты ее прельстишь, волосней? — осведомился Батраков.

— Пением! — поправил Коломейцев. — Радиостудия: пехота у микрофона. Он поет, она будет передавать вещание в эфир. Пара — во!

Зубарев оглянулся на паренька, читавшего накануне вечером стихи.

— А ты что?

Старик минометчик сварливо сказал:

— Молчит — значит, говорить не хочет, — и тоном отца, выговаривающего сыну за то, что тот слушает разговоры взрослых, добавил: — Пошел бы в подвал, поспал, пока обстановка позволяет.

— Там сейчас Анциферов толом проход подрывать будет, — сказал Батраков.

А в это время Греков диктовал Венгровой донесение.

Он сообщал штабу армии, что, по всем признакам, немцы готовят удар, что, по всем признакам, удар этот придется по Тракторному заводу. Он не сообщил только, что, по его мнению, дом, в котором он засел со своими людьми, будет находиться на оси немецкого удара. Но, глядя на шею девушки, на ее губы и полуопущенные ресницы, он представлял себе, и очень живо представлял, и эту худенькую шею переломленной, с вылезающим из-под разодранной кожи перламутрово-белым позвонком, и эти ресницы над застекленевшими рыбьими глазами, и мертвые губы, словно из серого и пыльного каучука.

И ему хотелось схватить ее, ощутить ее тепло, жизнь, пока и он, и она не ушли еще, не исчезли, пока столько прелести было в этом молодом существе. Ему казалось, что из одной лишь жалости к девушке хотелось обнять ее, но разве от жалости шумит в ушах, кровь ударяет в виски?

Штаб ответил не сразу.

Греков потянулся так, что кости сладко хрустнули, шумно вздохнул, подумал: «Ладно, ладно, ночь впереди», спросил ласково:

— Как же этот котеночек поживает, что Климов принес, поправился, окреп?

— Какой там окреп, — ответила радистка.

Когда Катя представляла себе цыганку и ребенка на костре, пальцы у нее начинали дрожать, и она косилась на Грекова, — замечает ли он это?

Вчера ей казалось, что никто с ней не будет разговаривать в доме «шесть дробь один», а сегодня, когда она ела кашу, мимо нее пробежал с автоматом в руке бородатый и крикнул, как старой знакомой:

— Катя, больше жизни! — И показал рукой, как надо с маху запускать ложку в котелок.

Парня, читавшего вчера стихи, она видела, когда он тащил на плащпалатке мины. В другой раз она оглянулась, увидела его, — он стоял у котла с водой, она поняла, что он смотрел на нее, и потому она оглянулась, а он успел отвернуться.

Она уже догадывалась, кто завтра будет ей показывать письма и фотографии, кто будет вздыхать и смотреть молча, кто принесет ей подарок — полфляги воды, белых сухарей, кто расскажет, что не верит в женскую любовь и никогда уже не полюбит. А бородатый пехотинец, наверное, полезет лапать ее.

Наконец штаб ответил, Катя стала передавать ответ Грекову: «Приказываю вам ежедневно в девятнадцать ноль-ноль подробно отчитываться...»

Вдруг Греков ударил ее по руке, сбил ее ладонь с переключателя, — она испуганно вскрикнула.

Он усмехнулся, сказал:

— Осколок мины попал в радиопередатчик, связь наладится, когда Грекову нужно будет.

Радистка растерянно смотрела на него.

— Прости, Катюша, — сказал Греков и взял ее за руку.

60

Под утро из полка Березкина в штаб дивизии сообщили, что окруженные в доме «шесть дробь один» люди прорыли ход, столкнувшийся с заводским бетонированным туннелем, и вышли в цех Тракторного завода. Дежурный по штабу дивизии сообщил об этом в штаб армии, там доложили генералу Крылову, и Крылов приказал доставить к нему для опроса одного из вышедших. Офицер связи повел паренька, выбранного дежурным по штабу, на командный пункт армии. Они пошли оврагом к берегу, и паренек дорогой вертелся, задавал вопросы, беспокоился.

— Мне нужно домой возвращаться, я только разведать туннель должен был, чтобы раненых вынести.

— Ничего, — отвечал офицер связи. — Идешь к командирам постарше твоего, что прикажут, то и будешь делать!

По дороге паренек сказал офицеру связи, что в доме «шесть дробь один» они сидят третью неделю, питались одно время картошкой, сваленной в подвале, воду брали из котла парового отопления и до того допекли немцев, что те присылали парламентеров, предлагали пропустить окруженных на завод, но, конечно, командир (паренек называл его «управдомом») велел в ответ вести стрельбу всем оружием. Когда они вышли к Волге, парень лег и пил воду, а напившись, бережно стряхнул на ладонь капли с ватника и слизал их, как голодный крошки хлеба. Он сказал, что вода в котле парового отопления сгнила и первые дни все страдали от нее желудочными болезнями, но управдом приказал кипятить воду в котелках, после чего желудочные болезни прекратились. Потом они шли молча. Паренек прислушивался к ночным бомбардировщикам, глядел на небо, расцвеченное красными и зелеными ракетами, шнурами трассирующих пуль и снарядов. Он поглядел на вялое и утомленное пламя все еще не гаснущих городских пожаров, на белые орудийные вспышки, на синие разрывы тяжелых снарядов в теле Волги и все замедлял шаги, пока офицер связи не окликнул его.

— Давай, давай, веселей!

Они шли среди береговых камней, мины со свистом неслись над ними, их окликали часовые. Потом они стали подниматься тропинкой по откосу, среди вьющихся ходков, среди блиндажей, врубленных в глиняную гору, то идя по земляным ступенькам, то стуча каблуками по дощатым кладкам, и наконец подошли к проходу, закрытому колючей проволокой,— это был командный пункт 62-й армии. Офицер связи поправил ремень и пошел ходом сообщения к блиндажам Военного совета, отличавшимся особой толщиной бревен.

Часовой пошел звать адъютанта, на мгновение из-за полуприкрытой двери сладостно блеснул свет настольной электрической лампы, прикрытой абажуром.

Адъютант посветил фонариком, спросил фамилию паренька, велел ему обождать.

— А как же я домой попаду?—спросил паренек.

— Ничего, язык до Киева доведет,—сказал адъютант и строго добавил:—Зайдите в тамбур, а то еще миной ударит и буду в ответе перед генералом.

В теплых полутемных сенцах паренек сел на землю, привалился боком к стене и уснул.

Чья-то рука сильно тряхнула его, и в сонный сумбур, смешавший в себе боевые жестокие вопли прошедших дней и мирный шепот родного, давно уже не существующего дома, ворвался сердитый голос:

— Шапошников, скорей к генералу...

61

Сережа Шапошников провел двое суток в блиндаже охраны штаба. Штабная жизнь томила его, казалось, люди с утра до вечера маялись в безделье.

Он вспомнил, как просидел с бабушкой восемь часов в Ростове, ожидая идущего в Сочи поезда, и подумал, что нынешнее ожидание напоминает ему ту довоенную пересадку. Потом ему стало смешно от сравнения дома «шесть дробь один» с сочинским курортом. Он просил майора— коменданта штаба—отпустить его, но тот тянул,—от генерала не было распоряжения; вызвав Шапошникова, генерал задал ему всего два вопроса и прервал разговор: отвлек телефонный звонок командира. Комендант штаба решил не отпускать пока паренька,—может быть, генерал вспомнит о нем.

Комендант штаба, входя в блиндаж, ловил на себя взгляд Шапошникова, говорил:

— Ладно, помню.

Иногда просящие глаза паренька сердили его, и он говорил:

— Чем тебе тут плохо? Кормят на совесть, сидишь в тепле. Еще успеют тебя там убить.

Когда день полон грохота и человек по уши погружен в котел войны, он не в силах понять, увидеть свою жизнь, надо отойти хоть на шаг в сторону. И тогда, словно с берега, глаза видят всю громаду реки,— неужели в этой бешеной воде, пене плыл он только что?

Тихой казалась Сереже жизнь в ополченском полку: ночной караул в темной степи, далекое зарево в небе, разговоры ополченцев.

Лишь три ополченца очутились в поселке Тракторного завода. Поляков, не любивший Ченцова, говорил: «От всего ополченского войска остались—старый, малый да дурак».

Жизнь в доме «шесть дробь один» заслонила все, что было прежде. Хотя эта жизнь была невероятна, она оказалась единственной действительностью, а все прежнее стало мнимым.

Лишь иногда ночью возникала в памяти седая голова Александры Владимировны, насмешливые глаза тети Жени, и начинало щемить сердце, охваченное любовью.

Первые дни в доме «шесть дробь один» он думал—странно, дико, если в его домашнюю жизнь вошли вдруг Греков, Коломейцев, Анциферов... А теперь он иногда представлял себе, как нелепо выглядели бы его тетки, двоюродная сестра, дядя Виктор Павлович в его нынышней жизни.

Ох, если б бабушка услышала, как Сережа матерится...

Греков!

Не совсем ясно, подобрались ли в доме «шесть дробь один» удивительные, особенные люди, или обыкновенные люди, попав в этот дом, стали особенными...

Ополченский Крякин не проначальствовал бы и дня здесь. А вот Ченцов, хотя его не любят, существует. Но он уже не тот, что в ополчении,—административную жилку упрятал.

Греков! Какое-то удивительное соединение силы, отваги, властности с житейской обыденностью. Он помнит, сколько стоили до войны детские ботинки, и какую зарплату получает уборщица либо слесарь, и сколько давали на трудодень зерном и деньгами в колхозе, где работает его дядя.

То говорил он о довоенных армейских делах с чистками, аттестациями, с блатом при получении квартир, говорил о некоторых людях, достигших генеральства в 1937 году, писавших десятки доносов и заявлений, разоблачавших мнимых врагов народа.

То, казалось, сила его в львиной отваге, в веселой отчаянности, с которой он, выскочив из пролома в стене, кричал:

— Не пущу, сукины коты!— и бросал гранаты в набегающих немцев.

То кажется, сила его в веселом, простецком приятельстве, в дружбе со всеми жильцами дома.

В довоенной его жизни не было ничего примечательного, был он когда-то десятником в шахте, потом техником-строителем, стал пехотным капитаном в одной из расположенных под Минском воинских частей, проводил занятия в поле и в казарме, ездил в Минск на курсы по переподготовке, вечером читал книжечки, пил водочку, ходил в кино, играл с приятелями в преферанс, ссорился с женой, с полным основанием ревновавшей его ко многим районным девицам и дамам. Обо всем этом он сам рассказывал. И вдруг в представлении Сережи, да не только Сережи, стал он богатырем, борцом за правду.

Новые люди окружили Сережу, вытеснили из души его даже самых близких ему.

Артиллерист Коломейцев был кадровым моряком, плавал на военном судне, трижды тонул в Балтийском море.

Сереже нравилось, что Коломейцев, часто презрительно говоривший о людях, о которых не принято говорить презрительно, проявлял необычайное уважение к ученым и писателям. Все начальники, по его мнению, обладающие любой должностью и званием, ничего не значили перед каким-нибудь плешивым Лобачевским или усохшим Роменом Ролланом.

Иногда Коломейцев говорил о литературе. Его слова совершенно не походили на ченцовские разговоры о нравоучительной, патриотической литературе. Ему нравился какой-то не то американский, не то английский писатель. Хотя Сережа никогда не читал этого писателя, а Коломейцев забыл его фамилию, но Сережа был уверен, что писатель этот хорошо пишет,—уж очень смачно, весело, с непристойными словами хвалил его Коломейцев.

— Мне что в нем нравится,—говорил Коломейцев,—не учит меня. Полезет мужик к бабе—и все, напился солдат—и все, умерла у старика старуха—описано точно. И смех, и жалко, и интересно, и все равно не знаешь, для чего люди живут.

С Коломейцевым дружил разведчик Вася Климов.

Как-то Климов и Шапошников пробирались в немецкое расположение, перелезли через железнодорожную насыпь, подползли к воронке от немецкой бомбы, где сидели расчет немецкого тяжелого пулемета и офицер-наблюдатель. Прильнув к краю воронки, они смотрели на немецкую жизнь. Один малый-пулеметчик, расстегнув китель и засунув за ворот рубахи красный клетчатый платок, брился. Сережа слышал, как скрипела под бритвой пыльная, жесткая щетина. Второй немец ел консервы из плоской баночки, и Сережа смотрел короткое, но емкое мгновение на его большое лицо, выражавшее сосредоточенное удовольствие. Офицер-наблюдатель заводил ручные часы. Сереже хотелось негромко, чтобы не испугать офицера, спросить: «Эй, слышите, сколько времени?»

Климов выдернул чеку из ручной гранаты и уронил гранату в воронку. Когда пыль еще стояла в воздухе, Климов бросил вторую гранату и вслед за взрывом прыгнул в воронку. Немцы были мертвы, словно и не жили минуту назад на свете. Климов, чихая от взрывных газов и пыли, взял все, что нужно было ему,— затвор от тяжелого пулемета, бинокль, снял с теплой офицерской руки часы, осторожно, чтобы не запачкаться в крови, вынул солдатские книжки из растерзанных мундиров пулеметчиков.

Он сдал взятые трофеи, рассказал о происшествии, попросил Сережу слить немного воды ему на руки, сел рядом с Коломейцевым, проговорил:

— Вот мы сейчас покурим.

В это время прибежал Перфильев, говоривший о себе: «Я мирный рязанский житель, рыболов-любитель».

— Слышь, ты, Климов, чего расселся,— закричал Перфильев,— тебя управдом ищет, надо снова пойти в немецкие дома.

— Сейчас, сейчас,—виноватым голосом сказал Климов и стал собирать свое хозяйство: автомат, брезентовую сумочку с гранатами. К вещам он прикасался бережно, казалось, боится причинить им боль. Обращался он ко многим на «вы», никогда не ругался.

— Не баптист ли ты?—как-то спросил старик Поляков Климова, убившего сто десять человек.

Климов не был молчалив и особенно любил рассказывать о своем детстве. Отец его был рабочим на Путиловском заводе. Сам Климов, токарь-универсал, перед войной преподавал в заводском ремесленном училище. Сережу смешил рассказ Климова о том, как один ремесленник подавился шурупом, начал задыхаться, посинел, и Климов—до прибытия «скорой помощи»—вытащил из глотки ремесленника шуруп плоскогубцами.

Но однажды Сережа видел Климова, напившегося трофейным шнапсом,—он был ужасен, казалось, сам Греков оробел перед ним.

Самым неряшливым человеком в доме был лейтенант Батраков. Сапог Батраков не чистил, одна подошва у него похлопывала при ходьбе,—красноармейцы, не поворачивая головы, узнавали о приближении артиллерийского лейтенанта. Зато лейтенант десятки раз на день протирал замшевой тряпочкой свои очки, очки не соответствовали его зрению, и Батракову казалось, что пыль и дым от разрывов коптят ему стекла. Климов несколько раз приносил ему очки, снятые с убитых немцев. Но Батракову не везло—оправа была хороша, а стекла не подходили.

До войны Батраков преподавал математику в техникуме, отличался большой самоуверенностью, говорил о иеучах-школьниках надменным голосом.

Он устроил Сереже экзамен по математике, и Сережа осрамился. Жильцы дома стали смеяться, грозились оставить Шапошникова на второй год.

Однажды, во время немецкого авиационного налета, когда обезумевшие молотобойцы били тяжелыми кувалдами по камню, земле, железу, Греков увидел Батракова, сидящего над обрывком лестничной клетки и читающего какую-то книжонку.

Греков сказал:

— Нет уж, ни хрена немцы не добьются. Ну что они с таким дураком сделают?

Все, что делали немцы, вызывало у жильцов дома не чувство ужаса, а снисходительно-насмешливое отношение. «Ох, и старается фриц», «Гляди, гляди, что хулиганы эти надумали...», «Ну и дурак, куда он бомбы кладет?..»

Батраков приятельствовал с командиром саперного взвода Анциферовым, сорокалетним человеком, любившим поговорить о своих хронических болезнях—явление на фронте редкое,—под огнем сами собой вылечивались язвы и радикулиты.

Но Анциферов продолжал в сталинградском пекле страдать от многочисленных болезней, которые гнездились в его объемистом теле. Немецкий лекарь не лечил его.

Фантастически неправдоподобно выглядел этот полнолицый, с лысеющей круглой головой, с круглыми глазами человек, когда, освещенный зловещими отблесками пожаров, благодушествуя, пил чай со своими саперами. Он сидел обычно босиком, так как обутую ногу досаждала мозоль, без гимнастерки—Анциферову всегда было жарко. Он прихлебывал из чашки с синими цветочками горячий чай, вытирал обширным платком лысину, вздыхал, улыбался и вновь принимался дуть в чашку, куда угрюмый боец Ляхов, с головой, повязанной бинтом, то и дело подливал из огромного закопченного чайника кипящую струю стоялой воды. Иногда Анциферов, не натягивая сапог, недовольно кряхтя, взбирался на кирпичный пригорок посмотреть, что происходит на белом свете. Он стоял босой, без гимнастерки, без пилотки, похожий на крестьянина, вышедшего в буйный грозовой ливень на порог избы оглядеть свое приусадебное хозяйство.

До войны он работал прорабом. Теперь его опыт строителя приобрел как бы обратный знак. В мозгу его постоянно стояли вопросы разрушения домов, стен, подвальных перекрытий.

Главным предметом бесед Батракова с сапером были вопросы философские. В Анциферове, перешедшем от созидания к разрушению, появилась потребность осмыслить этот необычный переход.

Иногда их беседа с высот философских—в чем цель жизни, есть ли советская власть в звездных мирах и каково преимущество умственного устройства мужчины над умственным устройством женщины,—переходила к обычным житейским отношениям.

Здесь, среди сталинградских развалин, все было по-иному, и нужная людям мудрость часто была на стороне растяпы Батракова.

— Веришь, Ваня,—говорил Анциферов Батракову,—я через тебя стал кое-что понимать. А раньше я считал, что всю механику понимаю до конца—кому нужно полкило водки с закуской, кому новые покрышки для автомашины доставить, а кому просто сотню сунуть.

Батраков, всерьез считавший, что именно он со своими туманными рассуждениями, а не Сталинград открыл Анциферову новое отношение к людям, снисходительно отвечал:

— Да, уважаемый, можно в общем и целом пожалеть, что мы до войны не встречались.

А в подвале обитала пехота, те, кто отбивал немецкий натиск и сам переходил по пронзительному голосу Грекова в контратаки.

Пехотой заправлял младший лейтенант Зубарев. Он учился до войны пению в консерватории. Иногда ночью он подбирался к немецким домам и начинал петь то «О не буди меня, дыхание весны», то арию Ленского.

Зубарев отмахивался, когда его спрашивали, для чего он забирается в кирпичные груды и поет с риском быть убитым. Быть может, здесь, где трупное зловоние день и ночь стояло в воздухе, он хотел доказать не только себе и своим товарищам, но и врагам, что с прелестью жизни никогда не справятся могучие истребительные силы.

Неужели можно было жить, не зная о Грекове, Коломейцеве, Полякове, о Климове, о Батракове, о бородатом Зубареве?

Для Сережи, прожившего всю жизнь в интеллигентной среде, стала очевидна правота бабушки, всегда твердившей, что простые рабочие люди — хорошие люди.

Но умненький Сережа сумел заметить бабушкин грех—она все же считала простых людей простыми.

В доме «шесть дробь один» люди не были просты. Греков поразил как-то Сережу словами:

— Нельзя человеком руководить, как овцой, на что уж Ленин был умный, и тот не понял. Революцию делают для того, чтобы человеком никто не руководил. А Ленин говорил: «Раньше вами руководили по-глупому, а я буду по-умному».

Никогда Сережа не слышал, чтобы с такой смелостью люди осуждали наркомвнудельцев, погубивших в 1937 году десятки тысяч невинных людей.

Никогда Сережа не слышал, чтобы с такой болью люди говорили о бедствиях и мучениях, выпавших крестьянству в период сплошной коллективизации. Главным оратором на эти темы был сам управдом Греков, но часто вели такие разговоры и Коломейцев, и Батраков.

Сейчас, в штабном блиндаже, Сереже каждая минута, проведенная вне дома «шесть дробь один», казалась томительно длинной. Немыслимым казалось слушать разговоры о дневальстве, о вызовах к начальникам отделов.

Он стал представлять себе, что делают сейчас Поляков, Коломейцев, Греков.

Вечером, в тихий час, все снова говорят о радистке.

Уж Грекова, если решит, ничем не остановить, хоть сам Будда или Чуйков будут грозить ему.

Жильцы дома были замечательными, сильными, отчаянными людьми. Наверно, Зубарев и сегодня ночью запускал арии... А она сидит беспомощная, ждет своей судьбы.

«Убью!» — подумал он, но неясно понимал, кого он убьет.

Куда уж ему, он ни разу не поцеловал девушки, а эти дьяволы опытны, конечно, обманут ее, задурят.

Он много слышал историй о медсестрах, телефонистках, дальномерщицах и прибористках, девчонках-школьницах, ставших против воли «пепеже» командиров полков, артдивизионов. Эти истории его не волновали и не занимали.

Он поглядел на дверь блиндажа. Как раньше ему не приходило в голову, никого не спрашивая, встать да пойти?

Он встал, открыл дверь и пошел.

А в это время оперативному дежурному в штаб армии позвонили по указанию начальника политотдела Васильева, попросили незамедлительно прислать к комиссару бойца из окруженного дома.

История Дафниса и Хлои постоянно трогает сердца людей не потому, что их любовь родилась под синим небом, среди виноградных лоз.

История Дафниса и Хлои повторяется всегда и всюду — и в душном, пропахшем жареной треской подвале, и в бункере концентрационного лагеря, и под щелканье счетов в учрежденческой бухгалтерии, и в пыльной мути прядильного цеха.

И эта история вновь возникла среди развалин, под вой немецких пикировщиков, там, где люди питали свои грязные и потные тела не медом, а гнилой картошкой и водой из старого отопительного котла, возникла там, где не было задумчивой тишины, а лишь битый камень, грохот и зловоние.

62

Старику Андрееву, работавшему сторожем на Стальгрэсе, с оказией передали записку из Ленинска, — невестка писала, что Варвара Александровна умерла от воспаления легких.

После известия о смерти жены Андреев стал совсем угрюм, редко заходил к Спиридоновым, по вечерам сидел у входа в рабочее общежитие, смотрел на орудийные вспышки и мелькание прожекторов в облачном небе. Иногда в общежитии с ним заговаривали, и он молчал. Тогда, думая, что старик плохо слышит, говоривший повторял вопрос более громко. Андреев хмуро произносил:

— Слышу, слышу, не глухой, — и опять молчал.

Смерть жены потрясла его. Жизнь его отражалась в жизни жены, дурное и хорошее, происходившее с ним, его веселое и печальное настроение существовало, отраженное в душе Варвары Александровны.

Во время сильной бомбежки, при разрывах тонных бомб, Павел Андреевич, глядя на земляной и дымовой вал, вздымавшийся среди цехов Стальгрэса, думал: «Вот поглядела бы моя старуха... Ох, Варвара, вот это да...»

А ее уж в это время не было в живых.

Ему казалось, что развалины разбитых бомбами и снарядами зданий, перепаханный войной двор — кучи земли, искореженного железа, горький, сырой дым и желтое, ящерное, ползучее пламя горящих масляных изоляторов — есть выражение его жизни, это ему осталось для дожития.

Неужели он сидел когда-то в светлой комнате, завтракал перед работой и рядом стояла жена и глядела на него: давать ли ему добавку?

Да, осталось ему умереть одному.

И вдруг вспоминал он ее молодую, с загорелыми руками, с веселыми глазами.

Что ж, придет час, не так уж он далек.

Как-то вечером он медленно, скрипя ступенями, спустился в блиндаж к Спиридоновым. Степан Федорович посмотрел на лицо старика и сказал:

— Плохо, Павел Андреевич?

— Вы еще молодой, Степан Федорович, — ответил Андреев. — У вас силы меньше, еще успокоитесь. А мне силы хватит: я один дойду.

Вера, мывшая в это время кастрюлю, оглянулась на старика, не сразу поняв смысл его слов.

Андреев, желая перевести разговор — ему не нужно было ничье сочувствие, — сказал:

— Пора, Вера, вам отсюда, тут больницы нет, одни танки да самолеты.

Она усмехнулась и развела мокрыми руками.

Степан Федорович сердито сказал:

— Ей уже незнакомые говорят, кто ни посмотрит на нее, — пора перебираться на левый берег. Вчера приезжал член Военного совета армии, зашел к нам в блиндаж, посмотрел на Веру, ничего не сказал, а садился в машину, стал меня ругать: вы что же, не отец, что ли, хотите, мы ее на бронекатере через Волгу перевезем? Что я могу сделать: не хочет, и все.

Он говорил быстро, складно, как говорят люди, изо дня в день спорящие об одном и том же. Андреев смотрел на рукав своего пиджака с расползшейся знакомой штопкой и молчал.

— Какие же тут могут быть письма, — продолжал Степан Федорович. — Почта, что ли, тут есть. Сколько времени мы здесь, ни одной весточки ни от бабушки, ни от Жени, ни от Людмилы... Где Толя, где Сережа, разве тут узнаешь.

Вера сказала:

— Вот же получил Павел Андреевич письмо.

— Извещение о смерти получил. — Степан Федорович испугался своих слов, раздраженно стал говорить, показывая рукой на тесные стены блиндажа, на занавеску, отделявшую Верину койку: — Да и как ей тут жить, ведь девушка, женщина, а тут постоянно мужики толкутся, днем и ночью, то рабочие, то военизированная охрана, набьется полно народу, галдят, курят.

Андреев сказал:

— Ребеночка пожалейте, пропадет он здесь.

— Ты подумай только, вдруг немцы ворвутся! Что тогда будет? — сказал Степан Федорович.

Вера молчала.

Она уверила себя, что Викторов войдет в разрушенные стальгрэсовские ворота и она издали увидит его в летном комбинезоне, в унтах, с планшетом на боку.

Она выходила на шоссе, — идет ли он? Проезжавшие на грузовиках красноармейцы кричали ей:

— Эй, деваха, кого ждешь? Садись с нами.

Ей на минуту становилось весело, и она отвечала:

— Грузовик не довезет.

Когда пролетали советские самолеты, она всматривалась в низко идущие над Стальгрэсом истребители, казалось, вот-вот она различит, узнает Викторова.

Однажды истребитель, пролетавший над Стальгрэсом, помахал приветственно крыльями, и Вера закричала, словно пришедшая в отчаяние птица, побежала, спотыкаясь, упала, и после этого падения у нее несколько ночей болела поясница.

В конце октября она видела воздушный бой над электростанцией, бой ничем не кончился, советские машины ушли в облака, немецкие, развернувшись, ушли на запад. А Вера стояла и смотрела на пустое небо, и в ее расширенных глазах было такое безумное напряжение, что проходивший по двору монтер сказал:

— Товарищ Спиридонова, вы что, может, подранило вас?

Она верила в свою встречу с Викторовым именно здесь, на Стальгрэсе, но ей казалось, что, скажи она об этом отцу, судьба рассердится на нее и помешает их встрече. Иногда ее уверенность бывала так велика, что она спешно бралась печь ржаные пирожки с картошкой, торопясь, мела пол, переставляла вещи, чистила грязную обувь... Иногда, сидя с отцом за столом, она, прислушавшись, говорила:

— Постой, я на минуточку. — И, накинув на плечи пальто, поднималась из подземелья на поверхность, оглядывалась, не стоит ли во дворе летчик, не спрашивает ли, как пройти к Спиридоновым.

Ни разу, ни на минуту ей не приходило в голову, что он мог забыть ее. Она была уверена, что Викторов так же напряженно и упорно, как она о нем, день и ночь думает о ней.

Станцию почти каждый день обстреливали тяжелые немецкие орудия, — немцы наловчились, пристрелялись и лепили снаряды метко, по стенам цехов, грохот разрывов то и дело потрясал землю. Часто налетали единичные бродяги-бомбардировщики и сбрасывали бомбы. «Мессеры», низко стелясь над землей, пускали пулеметные очереди, пролетая над станцией. А иногда на отдаленных холмах появлялись немецкие танки, и тогда явственно слышалась торопливая оружейно-пулеметная трескотня.

Степан Федорович как будто привык к обстрелам и бомбежкам, так же, казалось, привыкали к ним и другие работники станции. Но и он и они, привыкая, одновременно теряли запасы душевных сил, и иногда изнеможение охватывало Спиридонова, хотелось лечь на койку, натянуть на голову ватник и лежать так, не шевелясь, не открывая глаз. Иногда он напивался. Иногда хотелось побежать на берег Волги, перебраться на Тумак и пойти по левобережной степи, ни разу не оглянувшись на Стальгрэс, принять позор дезертирства, лишь бы не слышать страшного воя немецких снарядов и бомб. Когда Степан Федорович через штаб стоявшей поблизости 64-й армии связывался с Москвой по телефону ВЧ и заместитель наркома говорил: «Товарищ Спиридонов, передайте привет из Москвы героическому коллективу, который вы возглавляете», Степану Федоровичу становилось неловко, — где уж там героизм. А тут еще все время ходили слухи о том, что немцы готовят массированный налет на Стальгрэс, обещали раздолбать его чудовищными тонными бомбами. От этих слухов холодели руки и ноги. Днем глаза все время косились на серое небо, — не летят ли. А ночью он вдруг вскакивал, мерещилось густое, тугое гудение приближающихся воздушных немецких полчищ. От страха спина, грудь становились влажными.

Видно, не один он растрепал себе нервы. Главный инженер Камышов как-то сказал ему: «Сил больше нет, все мерещится какая-то чертовщина, гляжу на шоссе и думаю: эх, драпануть бы». А парторг ЦК Николаев зашел к нему вечером и попросил: «Налей мне, Степан Федорович, стакан водки, у меня вся вышла, что-то без этого антибомбина последнее время совершенно спать не могу». Степан Федорович, наливая Николаеву водку, сказал: «Век живи, век учись. Надо бы выбрать специальность, при которой оборудование легко эвакуируется, а здесь, видишь, турбины остались, и мы при них. А с других заводов народ давно в Свердловске гуляет».

Уговаривая Веру уехать, Степан Федорович однажды сказал ей:

— Я прямо удивляюсь, ко мне наши люди ходят, просятся под любым предлогом смотаться отсюда, а тебя честью уговариваю, и ты не хочешь. Разрешили бы мне, минутки бы не задержался.

— Я ради тебя тут остаюсь, — грубо ответила она. — Без меня ты совсем сопьешься.

Но, конечно, Степан Федорович не только трепетал перед немецким огнем. Были на Стальгрэсе и смелость, и тяжелая работа, и смех, и шутки, и бесшабашное чувство суровой судьбы.

Веру постоянно мучило беспокойство о ребенке. Не родится ли он больным, не повредит ли ему, что она живет в душном, прокуренном подземелье и что каждый день земля дрожит от бомбежки. В последнее время ее часто тошнило, кружилась голова. Каким печальным, пугливым, каким грустным должен родиться ребенок, если глаза его матери все время видят развалины, огонь, искореженную землю, самолеты с черными крестами в сером небе. Может быть, он даже слышит рев разрывов, может быть, его маленькое скорченное тело замирает при вое бомб и головенка втягивается в плечи.

А мимо нее пробегали люди в замасленных, грязных пальто, подпоясанных солдатскими брезентовыми поясами, махали ей на ходу рукой, улыбались, кричали:

— Вера, как жизнь? Вера, думаешь ли ты обо мне?

Она чувствовала нежность, с которой относились к ней, будущей матери. Может быть, маленький тоже чувствует эту нежность и сердце его будет чистым и добрым.

Она иногда заходила в механический цех, где ремонтировались танки, там когда-то работал Викторов. Она гадала: у какого станка он стоял? Она старалась представить его себе в рабочей одежде либо в летной форме, но он всегда представлялся ей в госпитальном халате.

В мастерской ее знали не только стальгрэсовские рабочие, но и танкисты с армейской базы. Их нельзя было отличить: рабочие люди завода и рабочие люди войны были совершенно схожи — в замасленных ватниках, в мятых шапках, с черными руками.

Вера была поглощена мыслями о Викторове и о ребенке, чье существование она день и ночь ощущала, и тревога о бабушке, тете Жене, Сереже и Толе отступила из ее сердца, она лишь ощущала томление, когда думала о них.

Ночью она тосковала по матери, звала ее, жаловалась ей, просила ее помощи, шептала: «Мамочка, милая, помоги мне».

И в эти минуты она ощущала себя беспомощной, слабой, совсем не такой, как в те минуты, когда спокойно говорила отцу:

— Не проси меня, никуда я не поеду отсюда.

63

За обедом Надя задумчиво проговорила:

— Толя вареную картошку любил больше, чем жареную.

Людмила Николаевна сказала:

— Завтра ему исполнится ровно девятнадцать лет и семь месяцев.

Вечером она сказала:

— Как бы Маруся огорчилась, узнав о фашистских зверствах в Ясной Поляне.

А вскоре пришла после заводского собрания Александра Владимировна и сказала Штруму, помогавшему ей снять пальто:

— Замечательная погода, Витя, воздух сухой, морозный. Ваша мама говорила: как вино.

Штрум ответил ей:

— А о кислой капусте мама говорила: виноград.

Жизнь двигалась наподобие плывущей по морю ледяной глыбы, подводная часть ее, скользившая в холодном мраке, придавала устойчивость надводной части, что отражала волны, слушала шум и плеск воды, дышала...

Когда молодежь в знакомых семьях поступала в аспирантуру, защищала диссертации, влюблялась, женилась, к поздравлениям и семейным разговорам добавлялось чувство грусти.

Когда Штрум узнавал о гибели на войне знакомого человека, словно и в нем умирала живая частица, блекла краска. Но в шуме жизни продолжался голос умершего.

Но время, с которым были связаны мысль и душа Штрума, было ужасно, оно поднялось на женщин и детей. Вот и в его семье оно убило двух женщин и юношу, почти ребенка.

И Штруму часто вспоминались слышанные как-то от родственника Соколова, историка Мадьярова, строки поэта Мандельштама:

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей...

Но этот век был его временем, с ним он жил, с ним он будет связан и после смерти.

Работа Штрума шла по-прежнему плохо.

Опыты, начатые еще задолго до войны, не давали предсказанных теорией результатов.

В пестроте опытных данных, в упорстве, с которым они перечили теории, заключался обескураживающий хаос, нелепица.

Сперва Штрум был убежден, что причина его неудач — в несовершенстве опытов, в отсутствии новой аппаратуры. Он раздражался на сотрудников лаборатории, казалось, они недостаточно сил уделяют работе, отвлекаются бытовыми делами.

Но дело было не в том, что талантливый, веселый и милый Савостьянов постоянно хлопотал, раздобывая талончик на водку, и что все знавший Марков читал в рабочее время лекции либо объяснял сотрудникам, какое снабжение получает тот или другой академик и как паек этого академика делится между двумя бывшими женами и третьей, ныне действующей женой, и не в том, что Анна Наумовна невыносимо подробно рассказывала о своих отношениях с квартирной хозяйкой.

Мысль Савостьянова была живой, ясной. Марков по-прежнему восхищал Штрума обширностью знаний, артистической способностью ставить тончайшие опыты, своей спокойной логикой. Анна Наумовна, хотя и жила в холодной проходной комнате-развалюшке, работала с нечеловеческой упорностью и добросовестностью. И по-прежнему Штрум гордился тем, что Соколов работает вместе с ним.

Ни точность в соблюдении условий опытов, ни контрольные определения, ни повторная калибровка счетчиков не приносили ясности в работу. Хаос вторгся в исследование подвергшейся воздействию сверхжесткого излучения органической соли тяжелого металла. Эта пылинка соли представлялась иногда Штруму каким-то потерявшим приличия и разум карликом — карлик, в съехавшем на ухо колпачке, с красной мордой, кривлялся и совершал непристойные движения, складывая из пальчиков дули перед строгим лицом теории. В создании теории участвовали физики с мировыми именами, математический аппарат ее был безупречным, опытный материал, накопленный десятилетиями в прославленных лабораториях Германии и Англии, свободно укладывался в нее. Незадолго до войны в Кембридже был поставлен опыт, который должен был подтвердить предсказанное теорией поведение частиц в особых условиях. Успех этого опыта был высшим триумфом теории. Он казался Штруму таким же поэтичным и возвышенным, как опыт, подтвердивший предсказанное теорией относительности отклонение светового луча, идущего от звезды в поле тяготения солнца. Покушаться на теорию казалось немыслимым, словно солдату срывать золотые погоны с плеч маршала.

А карлик по-прежнему кривлялся и складывал фиги, и нельзя было его урезонить. Незадолго до того как Людмила Николаевна поехала в Саратов, Штруму пришло в голову, что возможно расширить рамки теории, для этого, правда, надо было сделать два произвольных допущения и значительно утяжелить математический аппарат.

Новые уравнения касались той ветви математики, в которой был особенно силен Соколов. Штрум попросил Соколова помочь ему — он не чувствовал себя достаточно уверенным в этой области математики. Соколову довольно быстро удалось вывести новые уравнения для расширенной теории.

Казалось, что вопрос решен, — опытные данные перестали противоречить теории. Штрум радовался успеху, поздравлял Соколова. Соколов поздравлял Штрума, а тревога и неудовлетворенность оставались.

Вскоре Штрум вновь пришел в уныние.

Он сказал Соколову:

— Я заметил, Петр Лаврентьевич, что у меня портится настроение, когда вечерами Людмила Николаевна занимается штопкой чулок. Мне это напоминает нас с вами, — подштопали мы с вами теорию, грубая работа, нитки другого цвета, муровое занятие.

Он растравлял свои сомнения, он, к счастью, не умел обманывать себя, инстинктивно чувствуя, что самоутешение приводит к поражению.

Ничего хорошего не было в расширении теории. Подштопанная, она теряла свою внутреннюю слаженность, произвольные допущения лишали ее независимой силы, самостоятельной жизни, уравнения ее стали громоздки, и оперировать ими было нелегко. Что-то талмудическое, условное, анемичное возникло в ней. Она как бы лишилась живой мускулатуры.

А новая серия опытов, поставленная блестящим Марковым, снова пришла в противоречие с выведенными уравнениями. Чтобы объяснить это новое противоречие, пришлось бы сделать еще одно произвольное допущение, опять подпирать теорию спичками и щепочками.

— Мура, — сказал себе Штрум. Он понял, что шел неправильным путем.

Он получил письмо от инженера Крымова, тот писал, что работу по литью и обточке заказанной Штрумом аппаратуры придется на некоторое время отложить, завод загружен военными заказами, — видимо, изготовление аппаратуры запоздает на полтора-два месяца против намеченного срока.

Но Штрума это письмо не огорчило, он уже не ждал с прежним нетерпением новой аппаратуры, не верил, что она сможет внести изменения в результаты опытов. А минутами его охватывала злоба, и тогда хотелось поскорей получить новую аппаратуру, окончательно убедиться, что обильный, расширенный опытный материал бесповоротно и безнадежно противоречит теории.

Неудача работы связалась в его сознании с личными горестями, все слилось в серую беспросветность.

Неделями длилась эта подавленность, он сделался раздражителен, стал проявлять интерес к домашним мелочам, вмешивался в кухонные дела, все удивлялся, как это Людмила тратит столько денег.

Его стал занимать спор Людмилы с квартирными хозяевами, потребовавшими дополнительной оплаты за пользование дровяным сараем.

— Ну, как переговоры с Ниной Матвеевной? — спрашивал он и, выслушав рассказ Людмилы, говорил: — Ах, черт, вот подлая баба.

Теперь он не думал о связи науки с жизнью людей, о том, счастье она или горе. Для таких мыслей надо было чувствовать себя хозяином, победителем. А он казался себе в эти дни неудачливым подмастерьем.

Казалось, он уже никогда не сможет работать по-прежнему, пережитое горе лишило его исследовательской силы.

Он перебирал в памяти имена физиков, математиков, писателей, чьи главные труды были совершены в молодые годы, после 35—40 лет они уже ничего значительного не создали. Им было чем гордиться, а ему предстояло доживать, не совершив в молодости дела, о котором можно было вспоминать, доживая. Галуа, определивший на столетие многие пути развития математики, погиб двадцати одного года, двадцатишестилетний Эйнштейн опубликовал работу «К электродинамике движущихся тел», Герц умер, не достигнув сорока лет. Какая бездна лежала между судьбой этих людей и Штрумом!

Штрум сказал Соколову, что хотел бы временно прекратить лабораторную работу. Но Петр Лаврентьевич считал, что работу нужно продолжать, ждал многого от новой аппаратуры. А Штрум даже забыл сразу сказать ему о письме, полученном с завода.

Виктор Павлович видел, что жена знает о его неудачах, но она не заговаривала с ним о его работе.

Она была невнимательна к самому главному в его жизни, а находила время для хозяйства, для разговоров с Марьей Ивановной, для споров с хозяйкой квартиры, для шитья Наде платья, для встреч с женой Постоева. Он озлоблялся на Людмилу Николаевну, не понимал ее состояния.

Ему казалось, что жена вернулась к своей привычной жизни, а она совершала все привычное именно потому, что оно было привычно, не требовало душевных сил, которых у нее не было.

Она варила суп с лапшой и говорила о Надиных ботинках, потому что долгие годы занималась домашним хозяйством и теперь механически повторяла то, что было ей привычно. Но он не видел, что она, продолжая свою прежнюю жизнь, совершенно не участвует в ней. Путник, поглощенный своими мыслями, идет по привычной дороге, обходя ямы, переступая через канавы и в то же время совершенно не замечая их.

Для того, чтобы говорить с мужем о его работе, нужно было новое, сегодняшнее душевное направление, новая сила. У нее не было силы.

А Штруму казалось, что у Людмилы Николаевны сохранился интерес ко всему, только не к его работе.

Его обижало, что, говоря о сыне, она обычно вспоминала случаи, когда Виктор Павлович бывал недостаточно хорош к Толе. Она словно подводила итог отношений Толи с отчимом, и итог был не в пользу Виктора Павловича.

Людмила сказала матери:

— Как он, бедняжка, мучился оттого, что у него одно время прыщи были на лице. Он даже просил, чтобы я достала у косметички ему какой-нибудь мази. А Виктор все время дразнил его.

Так оно и было действительно.

Штруму нравилось поддразнивать Толю, и когда тот, приходя домой, здоровался с отчимом, Виктор Павлович обычно оглядывал внимательно Толю, покачивал головой и говорил задумчиво:

— Эко тебя, брат, вызвездило.

Последнее время Штрум по вечерам не любил сидеть дома. Иногда он заходил к Постоеву сыграть в шахматы, послушать музыку, — жена Постоева была неплохой пианисткой. Иногда заходил он к своему новому казанскому знакомому, Каримову. Но чаще всего бывал он у Соколова.

Ему нравилась маленькая комната Соколовых, нравилась милая улыбка гостеприимной Марьи Ивановны, а особенно нравились ему разговоры, шедшие за столом.

А когда он поздно вечером, возвращаясь из гостей, подходил к дому, утихавшая на время тоска вновь охватывала его.

64

Штрум, не заходя из института домой, отправился за своим новым знакомым Каримовым, чтобы вместе с ним пойти к Соколову.

Каримов был рябой, некрасивый человек. Смуглость его кожи подчеркивала седину волос, а от седины смуглость его казалась гуще.

Говорил Каримов по-русски правильно, и, лишь внимательно прислушиваясь, можно было заметить легкую тень, отличавшую оттенки в произношении и построении фразы.

Штрум не слышал его фамилии, но, оказывается, она была известна не только в Казани. Каримов перевел на татарский язык «Божественную комедию», «Путешествие Гулливера»; а в последнее время работал над переводом «Илиады».

Выходя из университетской читальни, они часто, еще не будучи знакомы, сталкивались в курительной комнате. Библиотекарша, неряшливо одетая, словоохотливая старушка, красившая губы, сообщила Штруму много подробностей о Каримове — и о том, что он кончил Сорбонну, и о том, что у него дача в Крыму и он до войны большую часть года проводил на берегу моря. В Крыму во время войны застряла жена Каримова с дочерью — он не имеет о них сведений. Старушка намекнула Штруму, что в жизни этого человека были тяжелые, длившиеся восемь лет переживания, но Штрум встретил это известие недоумевающим взором. Видимо, и о Штруме старушка рассказывала Каримову. Зная друг друга, они испытывали неловкость оттого, что не были знакомы, но при встречах они не улыбались, а, наоборот, хмурились. Кончилось это все тем, что, столкнувшись как-то в библиотечном вестибюле, оба одновременно рассмеялись и заговорили.

Штрум не знал, интересна ли его беседа Каримову, но ему, Штруму, было интересно говорить, когда слушает его Каримов. Виктор Павлович знал на печальном опыте, как часто приходится сталкиваться с собеседником, который как будто и умен, и остроумен, и в то же время невыносимо скучен.

Были люди, в чьем присутствии Штруму даже слово произнести было трудно, его голос деревенел, разговор становился бессмысленным и бесцветным, каким-то слепоглухонемым.

Были люди, в чьем присутствии любое искреннее слово звучало фальшиво.

Были люди, давние знакомые, в присутствии которых Штрум особенно ощущал свое одиночество.

Отчего это происходило? Да оттого же, что вдруг встречался человек, короткий ли дорожный спутник, сосед по нарам, участник случайного спора, в чьем присутствии внутренний мир другого человека терял свою одинокую немоту.

Они шли рядом, разговаривали, и Штрум подумал, что теперь он часами не вспоминает о своей работе, особенно во время вечерних разговоров у Соколова. С ним это никогда не бывало раньше, ведь он всегда думал о своей работе — в трамвае, обедая, слушая музыку, вытирая после утреннего умывания лицо.

Должно быть, очень уж тяжел тупик, в который он зашел, и он подсознательно отталкивает от себя мысли о работе...

— Как сегодня трудились, Ахмет Усманович? — спросил он.

Каримов проговорил:

— Голова ничего не воспринимает. Думал все время о жене и дочери, то кажется — все хорошо будет, увижу их, то предчувствие, что погибли они.

— Я понимаю вас, — сказал Штрум.

— Я знаю, — проговорил Каримов.

Штрум подумал: странно, с человеком, знакомым всего несколько недель, он готов говорить о том, о чем не говорит с женой и дочерью.

В маленькой комнате Соколовых за столом собирались почти каждый вечер люди, которые в Москве вряд ли встречались.

Соколов, человек выдающегося таланта, говорил обо всем многословно, книжными словами. Не верилось, что он происходит из семьи волжского матроса, такой заглаженной была его речь. Был он человек добрый и возвышенный, а выражение лица имел хитрое, жестокое.

Не походил Петр Лаврентьевич на волжского матроса и тем, что совершенно не пил, боялся сквозного ветра, опасаясь инфекций, беспрерывно мыл руки и обрезал корку с хлеба в том месте, где касался ее пальцами.

Штрум, читая его работы, всегда удивлялся: человек так изящно, смело мыслил, лаконично выражал и доказывал сложнейшие и тонкие идеи и так нудно и многословно во время чаепития травил баланду.

Сам Штрум, как многие люди, выросшие в книжной, интеллигентной среде, любил козырнуть в разговоре такими словами, как «мура», «буза», обозвать в разговоре со старым академиком сварливую ученую даму «стервой» или даже «лярвой».

Соколов до войны не терпел политических разговоров. Едва Штрум касался политики, Соколов замолкал, замыкался либо с подчеркнутой нарочитостью менял тему.

В нем проявлялась какая-то странная покорность, беззлобие перед жестокими событиями времен коллективизации и 1937 года. Он словно бы воспринимал гнев государства, как гнев природы или божества. Штруму казалось, что Соколов верит в бога и что эта вера проявляется и в его работе, и в его покорном смирении перед сильными мира сего, в его личных отношениях с людьми...

65

Мадьяров рассказывал спокойно, неторопливо, он не оправдывал тех начдивов и комкоров, которых потом расстреливали как врагов народа и изменников родины, он не оправдывал Троцкого, но в его восхищении Криворучко, Дубовым, в том, как уважительно и просто называл он имена командиров и армейских комиссаров, истребленных в 1937 году, чувствовалось, он не верит, что маршалы Тухачевский, Блюхер, Егоров, командующий Московским военным округом Муралов, командарм второго ранга Левандовский, Гамарник, Дыбенко, Бубнов, что первый заместитель Троцкого Склянский и Уншлихт были врагами народа и изменниками родины.

Спокойная обыденность мадьяровского голоса казалась немыслимой. Ведь государственная мощь создала новое прошедшее, по-своему вновь

двигала конницу, наново назначала героев уже свершившихся событий, увольняла подлинных героев. Государство обладало достаточной мощью, чтобы наново переиграть то, что уже было однажды и на веки веков совершено, преобразовать и перевоплотить гранит, бронзу, отзвучавшие речи, изменить расположение фигур на документальных фотографиях.

Это была поистине новая история. Даже живые люди, сохранившиеся от тех времен, по-новому переживали свою уже прожитую жизнь, превращали самих себя из храбрецов в трусов, из революционеров в агентов заграницы.

И, слушая Мадьярова, казалось, что неминуемо придет логика еще более могучая, логика правды. Никогда такие разговоры не велись до войны.

А как-то он сказал:

— Эх, все эти люди сегодня бы дрались с фашизмом беззаветно, не жалея крови своей. Зря их угробили...

Инженер-химик Владимир Романович Артелев, казанский житель, был хозяином квартиры, которую снимали Соколовы. Жена Артелева возвращалась со службы к вечеру. Двое сыновей его были на фронте. Сам Артелев работал начальником цеха на химическом заводе. Одет он был плохо, зимнего пальто и шапки не имел, а для тепла надевал под прорезиненный плащ ватную кацавейку. На голове он носил мятую, засаленную кепку и, уходя на работу, натягивал ее поплотней на уши.

Когда он входил к Соколовым, дуя на красные, занемевшие пальцы, робко улыбаясь людям, сидевшим за столом, Штруму казалось, что это не хозяин квартиры, начальник большого цеха на большом заводе, а неимущий сосед, приживал.

Вот и в этот вечер — с небритыми, впалыми щеками, он, видимо, боясь скрипнуть половицей, стоял у двери и слушал Мадьярова.

Марья Ивановна, направляясь в кухню, подошла к нему и шепотом сказала что-то на ухо. Он испуганно затряс головой, видимо, отказывался от еды.

— Вчера, — говорил Мадьяров, — мне один полковник, он тут на излечении, рассказывал, что на него дело возбуждено в фронтовой партийной комиссии, набил морду лейтенанту. Во время гражданской войны таких случаев не было.

— Вы же сами говорили, что Щорс выпорол комиссию Реввоенсовета, — сказал Штрум.

— То подчиненный порол начальство, — сказал Мадьяров, — разница есть.

— Вот и в промышленности, — сказал Артелев, — наш директор всем итээрам говорит «ты», а скажешь ему «товарищ Шурьев» — обидится, нужно — «Леонтий Кузьмич». На днях в цеху разозлил его старик химик. Шурьев пустил его матом и крикнул: «Раз я сказал, то выполняй, а то дам коленом в ж..., полетишь у меня с завода», — а старику семьдесят второй год пошел.

— А профсоюз молчит? — спросил Соколов.

— Да какой там профсоюз, — сказал Мадьяров, — профсоюз призывает к жертвам: до войны идет подготовка к войне, во время войны все для фронта, а после войны профсоюз призывает ликвидировать последствия войны. Где уж тут стариком заниматься.

Марья Ивановна вполголоса спросила у Соколова:

— Может быть, чай пора пить?

— Конечно, конечно, — сказал Соколов, — давай нам чаю.

«Удивительно бесшумно она движется», — подумал Штрум, рассеянно глядя на худенькие плечи Марьи Ивановны, скользнувшей в полуоткрытую кухонную дверь.

— Ах, товарищи родные, — сказал вдруг Мадьяров, — вы представляете себе, что такое свобода печати? Вот вы мирным послевоенным утром открываете газету, и вместо ликующей передовой, вместо письма трудящихся великому Сталину, вместо сообщений о том, что бригада сталеваров вышла на вахту в честь выборов в Верховный Совет, и о том, что трудящиеся в Соединенных Штатах встретили Новый год в обстановке уныния, растущей безработицы и нищеты, — вы находите в газете, знаете что? Информацию! Представляете себе такую газету? Газету, которая дает информацию!

И вот вы читаете: недород в Курской области, инспекторский отчет о режиме в Бутырской тюрьме, спор, нужен ли Беломоро-Балтийский канал, вы читаете о том, что рабочий Голопузов высказался против выпуска нового займа.

В общем, вы знаете все, что происходит в стране: урожай и недороды; энтузиазм и кражи со взломом; пуск шахты и катастрофу на шахте; разногласие между Молотовым и Маленковым; вы читаете отчеты о ходе забастовки по поводу того, что директор завода оскорбил семидесятилетнего старика химика; вы читаете речи Черчилля, Блюма, а не то, что они «заявили якобы»; вы прочитываете отчет о прениях в палате общин; вы знаете, сколько человек вчера покончили самоубийством в Москве; сколько сшибленных было доставлено к вечеру к Склифосовскому. Вы знаете, почему нет гречневой крупы, а не только то, что из Ташкента в Москву была доставлена самолетом первая клубника. Вы узнаете, сколько граммов получают в колхозе на трудодень из газет, а не от домработницы, к которой приехала племянница из деревни покупать в Москве хлеб. Да, да, и при этом вы целиком и полностью остаетесь советским человеком.

Вы входите в книжный магазин и покупаете книгу, оставаясь советским человеком, читаете американских, английских, французских философов, историков, экономистов, политических обозревателей. Вы сами разбираетесь, в чем они не правы; вы сами, без няни, гуляете по улицам.

В тот момент, когда Мадьяров кончал свою речь, вошла Марья Ивановна, неся горку чайной посуды.

Соколов, вдруг ударив по столу кулаком, сказал:

— Хватит! Убедительно и настойчиво прошу прекратить подобные разговоры.

Марья Ивановна, полуоткрыв рот, смотрела на мужа. Посуда в руках у нее зазвенела, видимо, руки у нее задрожали.

— Вот и ликвидировал Петр Лаврентьевич свободу печати! Недолго она продержалась. Хорошо, что Марья Ивановна не слышала этой крамолы, — сказал Штрум.

— Наша система, — раздраженно сказал Соколов, — показала свою силу. Буржуазные демократии провалились.

— Да, уж показала, — сказал Штрум, — но изжившая себя буржуазная демократия в Финляндии столкнулась в сороковом году с нашим централизмом, и мы попали в сильную конфузию. Я не поклонник буржуазной демократии, но факты есть факты. Да и при чем тут старик химик?

Штрум оглянулся и увидел пристальные и внимательные глаза Марьи Ивановны, слушавшей его.

— Тут дело не в Финляндии, а в финской зиме, — сказал Соколов.

— Э, брось, Петя, — проговорил Мадьяров.

— Скажем так, — проговорил Штрум, — во время войны Советское государство обнаружило и свои преимущества, и свои слабости.

— Какие же такие слабости? — спросил Соколов.

— Да вот хотя бы те, что многих, кто сейчас бы воевал, пересажали, — сказал Мадьяров. — Вон, видите, на Волге воюем.

— Но при чем же здесь система? — спросил Соколов.

— Как при чем? — сказал Штрум. — По-вашему, Петр Лаврентьевич, унтер-офицерская вдова сама себя расстреляла в тридцать седьмом году?

И он снова увидел внимательные глаза Марьи Ивановны. Он подумал, что в этом споре странно ведет себя: едва Мадьяров начинает критику государства, Штрум спорит с ним; но когда Соколов набрасывается на Мадьярова, Штрум начинает критиковать Соколова.

Соколов любил иногда посмеяться над глупой статейкой либо безграмотной речью, но становился твердокаменным, едва разговор заходил о главной линии. А Мадьяров, наоборот, не скрывал своих настроений.

— Вы ищете объяснений нашего отступления в несовершенстве советской системы, — проговорил Соколов, — но удар, который немцы обрушили на нашу страну, был такой сильный, что, выдержав его, государство

как раз-то с исчерпывающей ясностью доказало свою мощь, а не слабость. Вы видите тень, которую отбрасывает гигант, и говорите: вот смотрите, какая тень. Но вы забываете о самом гиганте. Ведь наш централизм — это социальный двигатель гигантской энергетической мощи, способный совершать чудеса. И он уже совершил их. И он их совершит в будущем.

— Если вы государству не нужны, оно вас иссушит, затаскает со всеми вашими идеями, планами и сочинениями, — проговорил Каримов, — но если ваша идея совпадает с интересом государства, лететь вам на ковре-самолете!

— Вот, вот, — сказал Артелев, — я месяц был прикомандирован к одному оборонному объекту особой важности. Сталин сам следил за пуском цехов, звонил по телефону директору. Оборудование! Сырье, детали, запасные части — все по щучьему велению! А условия! Ванна, сливки по утрам на дом привозили. В жизни я так не жил. Рабочее снабжение исключительное! А главное, никакого бюрократизма. Все без писанины совершалось.

— Вернее, государство-бюрократизм, как великан из сказки, там служит людям, — сказал Каримов.

— Если на оборонных объектах государственной важности достигли такого совершенства, то принципиально ясно: можно внедрить такую систему во всей промышленности, — сказал Соколов.

— Сетельмент! — сказал Мадьяров. — Это два совершенно различных принципа, а не один принцип. Сталин строит то, что нужно государству, а не человеку. Тяжелая промышленность нужна государству, а не народу. Беломоро-Балтийский канал бесполезен людям. На одном полюсе — потребность государства, на другом — потребность человека. Их никогда не примиришь.

— Вот, вот, а шаг в сторону от этого сетельмента — и пошла петрушка, — сказал Артелев, — продукция нужна соседям-казанцам, я по плану должен отвезти ее в Читу, а потом уж из Читы ее обратно в Казань доставят. Мне нужны монтажники, а у меня не исчерпан кредит на детские ясли, провожу монтажников, как нянек в детские ясли. Централизация задушила! Изобретатель предложил директору выпускать полторы тысячи деталей вместо двухсот, директор его погнал в шею: план-то он выполняет в весовом выражении, так спокойней. И если у него остановится вся работа, а недостающий материал можно купить на базаре за тридцатку, он лучше потерпит убыток в два миллиона, но не рискнет купить материал на тридцатку.

Артелев быстро оглядел слушателей и снова быстро заговорил, точно боясь, что ему не дадут договорить:

— Рабочий получает мало, но по труду. Продавец воды с сиропом получает в пять раз больше инженера. А руководство, директора, наркоматы знают одно — давай план! Ходи опухший, голодный, а план давай! Вот был у нас директор Шматков, он кричал на совещаниях: «Завод больше, чем мать родная, ты сам с себя три шкуры содрать должен, чтобы план выполнить. А с несознательного я сам три шкуры спущу». И вдруг узнаем, что Шматков переводится в Воскресенск. Я его спросил: «Как вы оставляете завод в прорыве, Афанасий Лукич?» А он мне так просто, без демагогии, отвечает: «Да, знаете, у нас дети в Москве в институте учатся, а Воскресенск поближе к Москве. И, кроме того, квартиру хорошую дают, с садом, и жена прихварывает, ей воздух нужен». Вот я удивляюсь, почему таким людям государство доверяет, а рабочим, беспартийным ученым знаменитым не хватает девяти гривен до рубля.

— А очень просто, — сказал Мадьяров, — этим ребятам доверено нечто большее, чем заводы и институты, им доверено сердце системы, святая святых: животворная сила советского бюрократизма.

— Я и говорю, — продолжал, не обращая на шутку внимания, Артелев, — я свой цех люблю, себя не жалею. А на главное меня не хватает, не могу я с живых людей три шкуры спускать. С себя еще спущу шкуру, а с рабочего жалко как-то.

А Штрум, продолжая то, что ему самому было непонятно, ощущал потребность возражать Мадьярову, хотя все, что говорил Мадьяров, казалось ему справедливым.

— А у вас не сходятся концы с концами, — сказал он, — неужели интересы человека не совпадают, не сливаются сегодня полностью с интересами государства, создавшего оборонную промышленность? Мне кажется, что пушки, танки, самолеты, которыми вооружены наши дети и братья, нужны каждому из нас.

— Совершенно верно, — сказал Соколов.

66

Марья Ивановна стала разливать чай. Заспорили о литературе.

— Забыли у нас Достоевского, — сказал Мадьяров, — в библиотеках неохотно на дом выдают, издательства не переиздают.

— Потому что он реакционер, — сказал Штрум.

— Это верно, не надо было ему «Бесов» писать, — согласился Соколов.

Но тут Штрум спросил:

— Вы уверены, Петр Лаврентьевич, что не надо было «Бесов» писать? Скорее уж «Дневник писателя» не надо было писать.

— Гениев не причесывают, — сказал Мадьяров. — Достоевский не лезет в нашу идеологию. Вот Маяковский. Сталин не зря назвал его лучшим и талантливейшим. Он — сама государственность в своих эмоциях. А Достоевский — сама человечность, даже в своей государственности.

— Если так рассуждать, — сказал Соколов, — то вообще вся литература девятнадцатого века не лезет.

— Ну, не скажи, — проговорил Мадьяров. — Вот Толстой опоэтизировал идею народной войны, а государство сейчас возглавило народную справедливую войну. Как сказал Ахмет Усманович — идеи совпали, и появился ковер-самолет: Толстого и по радио, и на вечерах чтецы, и издают, и вожди цитируют.

— Легче всего Чехову, его признает и прошлая эпоха и наша, — сказал Соколов.

— Вот это сказанул! — воскликнул Мадьяров и хлопнул ладонями по столу. — Чехов у нас по недоразумению признан. Вот так же, как в некотором роде следующий ему Зощенко.

— Не понимаю, — сказал Соколов, — Чехов реалист, а достается у нас декадентам.

— Не понимаешь? — спросил Мадьяров. — Так я объясню.

— Вы Чехова не обижайте, — сказала Марья Ивановна, — я его люблю больше всех писателей.

— И правильно делаешь, Машенька, — сказал Мадьяров. — Ты, Петр Лаврентьевич, в декадентах человечность ищешь?

Соколов сердито отмахнулся от него.

Но Мадьяров тоже махнул на него рукой, ему важно было высказать свою мысль, а для этого надо было, чтобы Соколов искал в декадентах человечность.

— Индивидуализм не человечность! Путаете вы. Все путают. Вам кажется, декадентов бьют? Чепуха. Они не враждебны государству, просто не нужны, безразличны. Я убежден — между соцреализмом и декадентством бездны нет. Спорили, что такое соцреализм. Это зеркальце, которое на вопрос партии и правительства «Кто на свете всех милее, всех прекрасней и белее?», отвечает: «Ты, ты, партия, правительство, государство, всех прекрасней и милее!»

А декаденты на этот вопрос отвечают: «Я, я, я, декадент, всех милее и румяней». Не так уж велика разница. Соцреализм — это утверждение государственной исключительности, а декадентство — это утверждение индивидуальной исключительности. Методы разные, а суть одна — восторг перед собственной исключительностью. Гениальному государству без недостатков плевать на всех, кто с ним не схож. И декадентская кружевная личность глубочайше безразлична ко всем другим личностям, кроме двух — с одной она ведет утонченную беседу, а со второй целуется, милуется. А внешне кажется, индивидуализм, декадентство воюет за человека. Ни черта, по сути, не воюет. Декаденты безразличны к человеку — и государство безразлично. Тут бездны нет.

Соколов, прищурясь, слушал Мадьярова и, чувствуя, что тот заговорит сейчас о вовсе запретных вещах, перебил его:

— Позволь-ка, но при чем тут Чехов?
— О нем и речь. Вот между ним и современностью и лежит великая бездна. Ведь Чехов поднял на свои плечи несостоявшуюся русскую демократию. Путь Чехова — это путь русской свободы. Мы-то пошли другим путем. Вы попробуйте, охватите всех его героев. Может быть, один лишь Бальзак ввел в общественное сознание такие огромные массы людей. Да и то нет! Подумайте: врачи, инженеры, адвокаты, учителя, профессора, помещики, лавочники, фабриканты, гувернантки, лакеи, студенты, чиновники всех классов, прасолы, кондуктора, свахи, дьячки, архиереи, крестьяне, рабочие, сапожники, натурщицы, садоводы, зоологи, хозяева постоялых дворов, егеря, проститутки, рыбаки, поручики, унтера, художники, кухарки, писатели, дворники, монахини, солдаты, акушерки, сахалинские каторжники...
— Хватит, хватит, — закричал Соколов.
— Хватит? — с комической угрозой переспросил Мадьяров. — Нет, не хватит! Чехов ввел в наше сознание всю громаду России, все ее классы, сословия, возрасты... Но мало того! Он ввел эти миллионы как демократ, понимаете ли вы, русский демократ! Он сказал, как никто до него, даже Толстой не сказал: все мы прежде всего люди, понимаете ли вы, люди, люди, люди! Сказал в России, как никто до него не говорил. Он сказал: самое главное то, что люди — это люди, а потом уж они архиереи, русские, лавочники, татары, рабочие. Понимаете — люди хороши и плохи не оттого, что они архиереи или рабочие, татары или украинцы, — люди равны, потому что они люди. Полвека назад ослепленные партийной узостью люди считали, что Чехов выразитель безвременья. А Чехов знаменосец самого великого знамени, что было поднято в России за тысячу лет ее истории, — истинной, русской, доброй демократии, понимаете, русского человеческого достоинства, русской свободы. Ведь наша человечность всегда по-сектантски непримирима и жестока. Даже Толстой с проповедью непротивления злу насилием нетерпим, а главное, исходит не от человека, а от бога. Ему важно, чтобы восторжествовала идея, утверждающая доброту, а ведь богоносцы всегда стремятся насильственно вселить бога в человека, а в России для этого не постоят ни перед чем, подколют, убьют — не посмотрят.
Чехов сказал: пусть бог посторонится, пусть посторонятся так называемые великие прогрессивные идеи, начнем с человека, будем добры, внимательны к человеку, кто бы он ни был, — архиерей, мужик, фабрикант-миллионщик, сахалинский каторжник, лакей из ресторана; начнем с того, что будем уважать, жалеть, любить человека, без этого ничего у нас не пойдет. Вот это и называется демократия, пока несостоявшаяся демократия русского народа.
Русский человек за тысячу лет всего насмотрелся — и величия, и сверхвеличия, но одного он не увидел — демократии. Вот, кстати, и разница между декадентством и Чеховым. Декаденту государство может дать по затылку в раздражении, коленкой в зад пихнуть. А сути Чехова государство не понимает, потому и терпит его. Демократия в нашем хозяйстве негожа, истинная, конечно, человечная.
Видно было, что острота мадьяровских слов очень не нравится Соколову.
А Штрум, заметив это, с каким-то непонятным ему самому удовольствием сказал:
— Прекрасно сказано, верно, умно. Прошу только снисхождения для Скрябина, он, кажется, ходит в декадентах, а я его люблю.
Он сделал рукой отталкивающий жест в сторону жены Соколова, поставившей перед ним блюдечко с вареньем, и проговорил:
— Нет, нет, спасибо, не хочу.
— Черная смородина, — сказала она.
Он посмотрел на ее карие, желтоватые глаза и спросил:
— Разве я говорил вам о своей слабости?
Она молча кивнула, улыбнулась. Зубы у нее были неровные, губы тонкие, неяркие. И от улыбки бледное, немного серое лицо ее стало милым, привлекательным.
«А она славная, хорошая, если б только носик не краснел все время», — подумал Штрум.

Каримов сказал Мадьярову:
— Леонид Сергеевич, как увязать страстную речь о чеховской человечности с вашим гимном Достоевскому? Для Достоевского не все люди в России одинаковы. Гитлер назвал Толстого ублюдком, а портрет Достоевского, говорят, висит у Гитлера в кабинете. Я нацмен, я татарин, я родился в России, я не прощаю русскому писателю его ненависти к полячишкам, жидишкам. Не могу, если он и великий гений. Слишком досталось нам в царской России крови, плевков в глаза, погромов. В России у великого писателя нет права травить инородцев, презирать поляков и татар, евреев, армян, чувашей.
Седой темноглазый татарин сказал Мадьярову со злой, надменной монгольской усмешкой:
— Вы, может быть, читали произведение Толстого «Хаджи Мурат»? Может быть, читали «Казаков»? Может быть, читали рассказ «Кавказский пленник»? Это все русский граф писал, более русский, чем литвин Достоевский. Пока будут живы татары, они за Толстого молиться будут аллаху.
Штрум посмотрел на Каримова.
«Вот ты какой, — подумал он, — вот ты какой».
— Ахмет Усманович, — сказал Соколов, — я глубочайше уважаю вашу любовь к своему народу. Но разрешите мне тоже гордиться тем, что я русский, разрешите мне любить Толстого не только за то, что он хорошо написал о татарах. Нам, русским, почему-то нельзя гордиться своим народом, сразу же попадаем в черносотенцы.
Каримов встал, лицо его покрылось жемчужным потом, и он проговорил:
— Скажу вам правду, действительно, почему мне говорить неправду, если есть правда. Если вспомнить, как еще в двадцатых годах выжигали тех, кем гордится татарский народ, всех наших больших культурных людей, нужно подумать, для чего запрещать «Дневник писателя».
— Не только ваших, били и наших, — сказал Артелев.
Каримов сказал:
— У нас уничтожили не только людей, национальную культуру уничтожили. Теперешняя интеллигенция татарская — дикари по сравнению с теми людьми.
— Да, да, — насмешливо сказал Мадьяров, — те могли создать не только культуру, но и свою татарскую внешнюю и внутреннюю политику.
— У вас есть сейчас свое государство, — сказал Соколов, — есть институты, школы, оперы, книги, татарские газеты, все вам дала революция.
— Правильно, есть и государственная опера, и государство. А сажает нас...
— Ну, знаете ли, если бы вас сажал татарин, от этого бы вам легче не было, — проговорил Мадьяров.
— А если бы вообще не сажали? — спросила Марья Ивановна.
— Ну, Машенька, чего захотела, — сказал Мадьяров.
Он посмотрел на часы и сказал:
— Ого, времечко.
Марья Ивановна поспешно проговорила:
— Ленечка, оставайтесь ночевать. Я вас устрою на складной кровати.
Он однажды жаловался Марье Ивановне, что особенно ощущает свое одиночество, когда вечером возвращается домой, где никто не ждет его, входит в пустую темную комнату.
— Что ж, — сказал Мадьяров, — я не против. Петр Лаврентьевич, ты не возражаешь?
— Нет, что ты, — сказал Соколов, и Мадьяров шутливо добавил:
— Сказал хозяин без всякого энтузиазма.
Все поднялись из-за стола, стали прощаться.
Соколов вышел провожать гостей, и Марья Ивановна, понизив голос, сказала Мадьярову:
— Как хорошо, что Петр Лаврентьевич не бежит от этих разговоров. В Москве, лишь только намек при нем возникал, он замолчит, замкнется.

Она произнесла с особой ласковой и почтительной интонацией имя и отчество мужа «Петр Лаврентьевич». Она ночами переписывала от руки его работы, хранила черновики, наклеивала на картон его случайные записи. Она считала его великим человеком, и в то же время он казался ей беспомощным дитятей.

— Нравится мне этот Штрум,— сказал Мадьяров.— Не понимаю, почему его считают неприятным человеком.

Он шутливо добавил:

— Я заметил, все свои речи он произносил при вас, Машенька, а когда вы хлопотали в кухне, он берег свое красноречие.

Она стояла лицом к двери, молчала, точно не слыша Мадьярова, потом сказала:

— Что вы, Леня, он ко мне относится, как к козявке. Петя его считает недобрым, насмешливым, надменным, за это его не любят физики, а некоторые его боятся. Но я не согласна, мне кажется, он очень добрый.

— Ну уж добрый меньше всего,— сказал Мадьяров.— Язвит всех, ни с кем не согласен. Но ум свободный, не замагничен.

— Нет, он добрый, незащищенный.

— Но надо признать,— проговорил Мадьяров,— Петенька и сейчас лишнего слова не скажет.

В это время Соколов вошел в комнату. Он услышал слова Мадьярова.

— Я вот о чем попрошу тебя, Леонид Сергеевич,— сказал он,— не учи ты меня, а во-вторых, я попрошу тебя в моем присутствии подобных разговоров не вести.

Мадьяров сказал:

— Знаешь, Петр Лаврентьевич, и ты не учи меня. Я сам отвечаю за свои разговоры, как ты за свои.

Соколов хотел, видимо, ответить резкостью, но сдержался и вновь вышел из комнаты.

— Что ж, я, пожалуй, домой пойду,— сказал Мадьяров.

Марья Ивановна сказала:

— Вы меня очень огорчите. Ведь вы знаете его доброту. Он всю ночь будет мучиться.

Она стала объяснять, что у Петра Лаврентьевича ранимая душа, что он много пережил, его в тридцать седьмом году вызывали на жестокие допросы, после этого он провел четыре месяца в нервной клинике.

Мадьяров слушал, кивая головой, сказал:

— Ладно, ладно, Машенька, уговорили.— И, вдруг озлившись, добавил:— Все это верно, конечно, но не одного Петрушу вашего вызывали. Помните, когда меня продержали на Лубянке одиннадцать месяцев? Петр за это время позвонил Клаве один только раз по телефону. Это родной сестре, а? А если помните, он и вам запретил ей звонить. Клаве это было очень больно... может быть, он у вас великий физик, но душа у него с лакеинкой.

Марья Ивановна закрыла лицо руками и сидела молча.

— Никто, никто не поймет, как мне это все больно,— сказала она тихо.

Она одна знала, как тридцать седьмой год и жестокости сплошной коллективизации были отвратительны ему, как он душевно чист. Но одна она знала, как велика его скованность, его рабская покорность перед властью.

Поэтому он и был дома таким капризным, бонзой, привык, чтобы Машенька чистила ему ботинки, обвевала его платочком в жару, во время дачных прогулок отгоняла от его лица веточкой комаров.

Когда-то студентом последнего курса Штрум вдруг сказал своему товарищу по семинару:

— Невозможно совершенно читать, патока и дикая скука,— и бросил на пол номер «Правды».

И, едва он это сказал, его охватил страх. Он поднял газету, отряхнул ее, усмехнулся удивительно подлой улыбкой, его спустя долгие годы бросало в жар, когда он вспоминал эту собачью улыбку.

Через несколько дней он протянул тому же товарищу «Правду» и оживленно проговорил:

— Гришка, прочти-ка передовую, здорово написано.

Товарищ, беря газету, сказал ему жалостливо:

— Трусоват был Витя бедный. Думаешь, донесу?

Тогда же, еще студентом, Штрум дал себе слово либо молчать, не высказывать опасных мыслей, либо, высказывая их, не дрейфить. Но он не сдержал слова. Он часто терял осторожность, вспыхивая, «ляпал», а ляпнув, случалось, терял мужество и начинал тушить им же зажженный огонек.

В 1938 году, после бухаринского процесса, он сказал Крымову:

— Как хотите, а Бухарина я знаю лично, с ним говорил два раза— большая башка, милая умная улыбка, в общем, чистейший и обаятельнейший человек.

И тут же Штрум, смущенный угрюмым взглядом Крымова, пробормотал:

— Впрочем, черт его знает, шпионаж, агент охранки, где уж тут чистота и обаяние,— гнусность!

И снова ему пришлось смешаться — Крымов с тем же угрюмым видом, с каким слушал его, сказал:

— Пользуясь тем, что мы родственники, сообщу вам: Бухарин и охранка у меня не умещаются в голове и не уместятся.

И Штрум с внезапным бешенством против самого себя, против силы, мешающей людям быть людьми, крикнул:

— Да боже мой, не верю я в этот ужас! Эти процессы— кошмар моей жизни. Почему они сознаются, зачем они сознаются?

Но Крымов не стал продолжать разговор, видимо, он и так много сказал...

О, чудная, ясная сила откровенного разговора, сила правды! Какую страшную цену платили люди за несколько смелых, без оглядки высказанных слов.

Сколько раз ночью Штрум лежал в постели и прислушивался к шуму автомобилей на улице. Вот Людмила Николаевна босыми ногами подошла к окну, сдвинула занавеску. Она смотрит, ждет, потом бесшумно— ей кажется, что Виктор Павлович спит,— идет к постели, ложится. Утром она спрашивает:

— Как ты спал?

— Спасибо, ничего. А ты?

— Душно немного было. Я подходила к форточке.

— А-а.

Как передать это ночное чувство невиновности и чувство обреченности.

«Помни, Витя, каждое слово туда доходит, ты губишь себя, меня и детей».

Вот другой разговор:

«Я не могу тебе сказать всего, но ради бога, слышишь, ни слова ни с кем. Виктор, мы живем в страшное время, ты не представляешь себе ничего. Помни, Виктор, ни слова, ни с кем...»

И перед Виктором Павловичем встают непрозрачные, томящиеся глаза человека, которого он знает с детства, и появляется страх не от слов его, а от того, что старый друг недоговаривает, от того, что Виктор Павлович не решается задать прямой вопрос: «Ты агент, тебя вызывают?»

Он вспоминает лицо своего ассистента, при котором он необдуманно пошутил, что Сталин сформулировал законы всемирного тяготения задолго до Ньютона.

— Вы ничего не говорили, я ничего не слышал,— весело сказал молодой физик.

Зачем, зачем, зачем эти шутки. Уж шутить, во всяком случае, глупо, все равно что пощелкивать по сосуду с нитроглицерином.

О, ясная сила свободного, веселого слова! Она в том и проявляется, что вопреки страху его вдруг произносят.

Понимал ли Штрум трагичность нынешних свободных бесед,— все они, участники этих разговоров, ненавидели немецкий фашизм, страшились его... Почему же свобода мелькнула в дни дошедшей до Волги вой-

ны, когда все они переживали горе военных неудач, суливших ненавистное немецкое рабство?

Штрум молча шел рядом с Каримовым.

— Удивительная штука, — вдруг сказал он, — читаешь иностранные романы об интеллигенции, вот я читал Хемингуэя, у него интеллигенты во время бесед беспрерывно пьют. Коктейли, виски, ром, коньяк, опять коктейли, опять коньяк, опять виски всех систем. А русская интеллигенция свой главный разговор вела за стаканом чая. Вот за знаменитым стаканом жидкого чая договорились народовольцы, и народники и социал-демократы, и Ленин великую революцию обсудил с друзьями за стаканом чая. Правда, говорят, Сталин предпочитает коньяк.

Каримов сказал:

— Да, да, да. Сегодняшний разговор тоже шел за чаем. Вы правы.

— Вот, вот. Умный Мадьяров! Смелый! Уж очень захватывают эти до сумасшествия непривычные его разговоры.

Каримов взял Штрума под руку.

— Виктор Павлович, вы заметили, самая невинная вещь у Мадьярова выглядит как обобщение? Тревожит меня это. Его ведь в тридцать седьмом году арестовали на несколько месяцев и выпустили. А тогда никого не выпускали. Даром не выпускали. Понимаете?

— Понимаю, понимаю, как не понять, — медленно сказал Штрум. — Не стучит ли?

Они расстались на углу, и Штрум зашагал в сторону своего дома.

«Черт с ним, пусть, пусть, — думал он, — хоть поговорили по-людски, без страха, обо всем, на всю железку, без условностей, лицемерия. Париж стоит мессы...»

Хорошо, что есть, не вывелись такие люди, как Мадьяров, с внутренней независимостью. И слова Каримова, сказанные ему при расставании, не заставляли привычно холодеть сердце.

Он подумал, что снова забыл рассказать Соколову о письме, полученном с Урала.

Он шел по темной пустынной улице.

Внезапная мысль возникла вдруг. И он сразу, не сомневаясь, понял, почувствовал, что мысль эта верна. Он увидел новое, невероятно новое объяснение тех ядерных явлений, которые, казалось, не имели объяснения, вдруг пропасти стали мостами. Какая простота, какой свет! Эта мысль была изумительно мила, хороша, казалось, не он породил ее, она поднялась просто, легко, как белый водяной цветок из спокойной тьмы озера, и он ахнул, осчастливленный ее красотой...

И странная случайность, вдруг подумал он, пришла она к нему, когда ум его был далек от мыслей о науке, когда захватившие его споры о жизни были спорами свободного человека, когда одна лишь горькая свобода определяла его слова и слова его собеседников.

67

Калмыцкая ковыльная степь кажется нищей и тоскливой, когда видишь ее впервые, когда человек в машине полон тревог и забот, а глаза его рассеянно следят за нарастанием и таянием невысоких холмов, медлительно выплывающих из-за горизонта и медлительно уплывающих за горизонт... Даренскому казалось, что все один и тот же сточенный ветрами холм плывет да плывет перед ним, все один и тот же завиток дороги разворачивается да разворачивается, уходит да уходит под каучуковые автомобильные покрышки. И всадники в степи все казались одними и теми же, одинаковыми, хотя были они то безбороды и молоды, то в серой седине, то на буланых, то на вороных летучих коньках...

Машина проезжала через поселки и хотоны, мимо домиков с крошечными окошечками, на которых густела, точно в аквариумах, герань, казалось, разбейся оконное стекло, и вытечет в окружающую пустыню живой воздух, высохнет, погибнет зелень; машина проезжала мимо круглых, обмазанных глиной юрт, шла да шла среди тусклого ковыля, среди колючей верблюжьей травы, среди пятен солончаков, мимо пылящих маленькими ножками овец, мимо колеблемых ветром бездымных костров...

Для взгляда путешественника, катящего на надутых городским дым-

ным воздухом шинах, все сливалось здесь в бедное, серое однообразие, все становилось монотонно и одинаково... Курай, будяки, ковыль, цигрик, полынь... холмы растекались по равнине, распрямленные катком огромных времен. Удивительным свойством обладает эта калмыцкая юго-восточная степь, переходящая постепенно в песчаную пустыню, раскинувшуюся на восток от Элисты к Яшкулю до самого устья Волги, до берега Каспийского моря... В этой степи земля и небо так долго гляделись друг в друга, что стали похожи, как похожи муж и жена, прожившие вместе жизнь. И нельзя уже различить, что это — пыльная ли алюминиевая седина ковыля проросла на скучной, несмелой голубизне степного неба или стала отсвечивать голубизной степь, и уж не отделишь неба от земли, смешались они в молодой пыли. И когда глядишь на густую тяжелую воду озер Даца и Барманцак, кажется, что это соль выступила на поверхность земли, а поглядишь на плешины соли, и кажется, не земля, а озерная вода...

Удивительна в бесснежные дни ноября и декабря дорога в калмыцкой степи — та же сухая серо-зеленая растительность, та же пыль вьется над дорогой, не поймешь, прокалена, иссушена ли степь солнцем или морозами.

Может быть, поэтому возникают здесь миражи — стерта грань между воздухом и землей, водой и солончаком. Этот мир по толчку, который дает мозг жаждущего человека, по рывку мысли вдруг начинает перекристаллизовываться, и жаркий воздух становится голубоватым, стройным камнем, и нищая земля плещется тихой водой, и тянутся до горизонта пальмовые сады, и лучи ужасного, сокрушающего солнца, смешиваясь с клубами пыли, обращаются в золотые купола храмов и дворцов... Человек сам в миг изнеможения творит из земли и из неба мир своего желания.

Машина все бежит и бежит по дороге, по скучной степи.

И вот неожиданно этот мир степной пустыни совсем по-новому, совсем по-другому открывается человеку...

Калмыцкая степь! Древнее, благородное создание природы, где нет ни одной кричащей краски, где нет ни одной резкой, острой черты в рельефе, где скупая печаль оттенков серого и голубого может поспорить с титанической цветовой лавиной осеннего русского леса, где мягкие, чуть волнистые линии холмов очаровывают душу глубже, чем хребты Кавказа, где скупые озерца, наполненные темной и спокойной древней водой, кажется, выражают суть воды больше, чем все моря и океаны...

Все прохо́дит, а вот это огромное, чугунное, тяжелое солнце в вечернем дыму, этот горький ветер, полный до краев полынью, не забудется. А потом, не в бедности, а в богатстве встает степь...

Вот она весной, молодая, тюльпанная, океан, в котором ревут не волны, а краски. И злая верблюжья колючка окрашена зеленью, и молодые острые шипы ее еще нежны и мягки, не успели окостенеть...

А летней ночью в степи видишь, как галактический небоскреб высится весь — от голубых и белых звездных глыб фундамента до уходящих под мировую крышу дымных туманностей и легких куполов шарообразных звездных скоплений...

Есть у степи одно особо замечательное свойство. Это свойство живет в ней неизменно — и на рассвете, зимой и летом, и в темные ненастные ночи, и в светлые ночи. Всегда и прежде всего степь говорит человеку о свободе... Степь напоминает о ней тем, кто потерял ее.

Даренский, выйдя из машины, глядел на всадника, выехавшего на холм. В халате, подпоясанный веревкой, сидел он на мохнатой лошаденке и оглядывал с холма степь. Он был стар, лицо его казалось каменно-жестким.

Даренский окликнул старика и, подойдя к нему, протянул портсигар. Старик, быстро повернувшись всем телом в седле, совмещая в себе подвижность юноши и рассуждающую медлительность старости, оглядел руку с протянутым портсигаром, затем лицо Даренского, затем его пистолет на боку, его три подполковничьих шпалы, его франтовские сапоги. Затем тонкими коричневыми пальцами, такими маленькими и тоненькими, что их можно было назвать пальчиками, он взял папиросу, повертел ее в воздухе.

Скуластое, каменно-жесткое лицо старого калмыка все изменилось, и из морщин глянули два добрых и умных глаза. И взгляд этих старых карих глаз, одновременно испытующий и доверчивый, видно, таил в себе

что-то очень славное. Даренскому беспричинно стало весело и приятно. Лошадь старика, недоброжелательно запрядавшая при приближении Даренского ушами, вдруг успокоилась, наставила с любопытством сперва одно, потом другое ухо, а затем улыбнулась всей своей большезубой мордой и прекрасными очами.

— Спасиба,— тоненьким голосом сказал старик.

Он провел ладонью по плечу Даренского и сказал:

— У меня было два сына и в кавалерийской дивизии, один убнтый, старший,—и он показал рукой повыше лошадиной головы,—а второй, младший,—и он показал пониже лошадиной головы,—пулеметчик, три орден есть.— Потом он спросил:— Бачку имеешь?

— Мать жива, а отец мой умер.

— Ай, плохо,—покачал головой старик, и Даренский подумал, что он не из вежливости сокрушался, а от души, узнав, что у русского подполковника, угостившего его папиросой, умер отец.

А потом старик вдруг гикнул, беспечно взмахнул рукой, и лошадь ринулась с холма с непередаваемой быстротой и непередаваемой легкостью.

О чем думал, мчась по степи, всадник: о сыновьях, о том, что у оставшегося возле испорченного автомобиля русского подполковника умер отец?

Даренский следил за стремительной скачкой старика, и в висках не кровь стучала, а одно лишь слово:

— Воля... воля... воля...

И зависть к старому калмыку охватила его.

68

Даренский выехал из штаба фронта в длительную командировку в армию, стоявшую на крайнем левом фланге. Поездки в эту армию считались среди работников штаба особо неприятными,—пугали отсутствие воды, жилья, плохое снабжение, большие расстояния и скверные дороги. Командование не имело точных сведений о положении в войсках, затерявшихся в песке между каспийским побережьем и калмыцкой степью, и начальство, посылая Даренского в этот район, надавало ему множество поручений.

Проехав сотни километров по степи, Даренский почувствовал, как тоска осилила его. Здесь никто не помышлял о наступлении, безысходным казалось положение войск, загнанных немцами на край света...

Не во сне ли было недавнее, день и ночь не ослабевавшее штабное напряжение, догадки о близости наступления, движение резервов, телеграммы, шифровки, круглосуточная работа фронтового узла связи, гул идущих с севера автомобильных и танковых колонн?

Слушая унылые разговоры артиллерийских и общевойсковых командиров, собирая и проверяя данные о состоянии материальной части, инспектируя артиллерийские дивизионы и батареи, глядя на угрюмые лица красноармейцев и командиров, глядя, как медленно, лениво двигались люди по степной пыли, Даренский постепенно подчинился монотонной тоске этих мест. Вот, думал он, дошла Россия до верблюжьих степей, до барханных песчаных холмов и легла, обессиленная, на недобрую землю, и уже не встать, не подняться ей.

Даренский приехал в штаб армии и отправился к высокому начальству.

В просторной полутемной комнате лысеющий, с сытым лицом молодец в гимнастерке без знаков различия играл в карты с двумя женщинами в военной форме. Молодец и женщины с лейтенантскими кубиками не прервали игры при входе подполковника, а лишь, рассеянно оглядев его, продолжали ожесточенно произносить:

— А козыря не хочешь? А вальта не хочешь?

Даренский выждал, пока окончится сдача, и спросил:

— Здесь размещен командующий армией?

Одна из молодых женщин ответила:

— Он уехал на правый фланг, будет только к вечеру.— Она оглядела Даренского опытным взором военнослужащей и спросила:— Вы, наверное, из штаба фронта, товарищ подполковник?

— Так точно,—ответил Даренский и, едва заметно подмигнув, спросил:—А, извините, члена Военного совета я могу видеть?

— Он уехал с командующим, будет только вечером,—ответила вторая женщина и спросила:— Вы не из штаба артиллерии?

— Так точно,—ответил Даренский.

Первая, отвечавшая о командующем, показалась Даренскому особенно интересной, хотя она, видимо, была значительно старше, чем та, что ответила о члене Военного совета. Иногда такие женщины кажутся очень красивыми, иногда же при случайном повороте головы вдруг становятся увядшими, пожилыми, неинтересными. И эта, нынешняя, была из такой породы, с прямым красивым носом, с синими недобрыми глазами, говорившими о том, что эта женщина знает точную цену и людям и себе.

Лицо ее казалось совсем молодым, ну не дашь ей больше двадцати пяти лет, а чуть нахмурилась, задумалась, стали видны морщинки в уголках губ и отвисающая кожа под подбородком,—не дашь ей меньше сорока пяти. Но вот уж ноги в хромовых по мерке сапожках, действительно, были хороши.

Все эти обстоятельства, о которых довольно долго рассказывать, сразу же стали ясны для опытного глаза Даренского.

А вторая была молодой, но располневшей, большетелой,—все в ней по отдельности было не так уж красиво,—и жидковатые волосы, и широкие скулы, и неопределенного цвета глаза, но она была молода и женственна, уж до того женственна, что, кажется, и слепой, находясь возле нее, не мог бы не почувствовать ее женственности.

И это Даренский заметил тотчас, в течение секунды.

И больше того, в течение этой же секунды он каким-то образом сразу взвесил достоинства первой, отвечавшей о командующем, женщины и достоинства второй, отвечавшей о члене Военного совета, и сделал тот, не имеющий практического последствия выбор, который почти всегда делают мужчины, глядя на женщин. Даренский, которого беспокоили мысли, как бы найти командующего и даст ли тот нужные данные, где бы пообедать, где бы устроиться на ночлег, далекая ли и тяжелая ли дорога в дивизию на крайнем правом фланге,— успел как-то само собой и между прочим и в то же время не так уж между прочим подумать: «Вот эта!»

И случилось так, что он не сразу пошел к начальнику штаба армии получать нужные сведения, а остался играть в подкидного.

Во время игры (он оказался партнером синеглазой женщины) выяснилось множество вещей,—партнершу его звали Алла Сергеевна, вторая, та, что помоложе, работала в штабном медпункте, полнолицый молодец без воинского звания именуется Володей, видимо, состоит в родстве с кем-то из командования и работает поваром в столовой Военного совета.

Даренский сразу почувствовал силу Аллы Сергеевны,—это видно было по тому, как обращались к ней заходившие в комнату люди. Видимо, командующий армией был ее законным мужем, а вовсе не возлюбленным, как вначале показалось Даренскому.

Неясным было ему, почему так фамильярен с ней Володя. Но потом Даренский, охваченный озарением, догадался: вероятно, Володя был братом первой жены командующего. Конечно, оставалось не совсем ясным, жива ли первая жена, находится ли командующий в оформленном разводе с ней.

Молодая женщина, Клавдия, очевидно, не находилась в законном браке с членом Военного совета. В обращении к ней Аллы Сергеевны проскальзывали нотки надменности и снисходительности: «Конечно, мы играем с тобой в подкидного, мы говорим друг другу ты, но ведь того требуют интересы войны, в которой мы с тобой участвуем».

Но и в Клавдии было некое чувство превосходства над Аллой Сергеевной. Даренскому показалось примерно такое: хоть я и не венчана, а боевая подруга, но я верна своему члену Военного совета, а ты-то хоть и законная, но кое-что нам про тебя известно. Попробуй, скажи только это словцо «пэпэжэ»...

Володя не скрывал, как сильно нравилась ему Клавдия. Его отношение к ней выражалось примерно так: любовь моя безнадежна, куда мне, повару, тягаться с членом Военного совета... Но хоть я и повар, я люблю

тебя чистой любовью, ты сама чувствуешь: только бы в глазки твои смотреть, а то, ради чего любит тебя член Военного совета, мне безразлично.

Даренский плохо играл в подкидного, и Алла Сергеевна взяла его под свою опеку. Алле Сергеевне понравился сухощавый подполковник: он говорил «благодарю вас», промямливал «простите, ради бога», когда руки их сталкивались во время раздачи карт, он с грустью посматривал на Володю, если тот вытирал нос пальцами, а затем уж пальцы вытирал платочком, он вежливо улыбался чужим остротам и сам отлично острил.

Выслушав одну из шуток Даренского, она сказала:

— Тонко, я не сразу поняла. Поглупела от этой степной жизни.

Сказала она это негромко, как бы давая ему понять, верней, почувствовать, что у них может завязаться свой разговор, в котором только они оба и могут участвовать, разговор, от которого холодеет в груди, тот особый, единственно важный разговор мужчины и женщины.

Даренский продолжал делать ошибки, она поправляла его, а в это время возникала между ними другая игра, и в этой игре уже Даренский не ошибался, эту игру он знал тонко... И хоть ничего не было между ними сказано, кроме как: «Да не держите маленькую пику», «Подкидывайте, подкидывайте, не бойтесь, не жалейте козыря...» — она уже знала и оценила все привлекательное, что было в нем: и мягкость, и силу, и сдержанность, и дерзость, и робость... Все это Алла Сергеевна ощутила и потому, что подсмотрела в Даренском эти черты, и потому, что он сумел показать ей их. И она сумела показать ему, что понимает его взгляды, обращенные к ее улыбке, движениям рук, пожиманию плеч, к ее груди под нарядной габардиновой гимнастеркой, к ее ногам, к маникюру на ее ногтях. Он чувствовал, что ее голос чуть-чуть излишне, неестественно протяжен и улыбка продолжительней обычной улыбки, чтобы он сумел оценить и милый голос, и белизну ее зубов, и ямочки на щеках...

Даренский был взволнован и потрясен внезапно посетившим его чувством. Он никогда не привыкал к этому чувству, каждый раз, казалось, оно посещало его впервые. Большой опыт его отношений с женщинами не обращался в привычку, опыт был сам по себе, а счастливое увлечение само по себе. Именно в этом сказывались истинные, а не ложные женолюбцы.

Как-то получилось, что в эту ночь он остался на командном пункте армии.

Утром он зашел к начальнику штаба, молчаливому полковнику, не задавшему ему ни одного вопроса о Сталинграде, о фронтовых новостях, о положении северо-западнее Сталинграда. После разговора Даренский понял, что штабной полковник мало чем может удовлетворить его инспекторскую любознательность, попросил поставить ему визу на своем предписании и выехал в войска.

Он сел в машину со странной пустотой и легкостью в руках и ногах, без единой мысли, без желаний, соединяя в себе полное насыщение с полным опустошением... Казалось, и все кругом стало пресным, пустым — небо, ковыль и степные холмы, еще вчера так нравившиеся ему. Не хотелось шутить и разговаривать с водителем. Мысли о близких, даже мысли о матери, которую Даренский любил и почитал, были скучны и холодны... Размышления о боях в пустыне, на краю русской земли, не волновали, шли вяло.

Даренский то и дело сплевывал, покачивал головой и с каким-то тупым удивлением бормотал: «Ну и баба...»

В эти минуты в голове шевелились покаянные мысли о том, что до добра такие увлечения не доводят, вспоминались когда-то прочитанные не то у Куприна, не в то в каком-то переводном романе слова, что любовь подобна углю, раскаленная, она жжет, а когда холодна, пачкает... Хотелось даже поплакать, собственно, не плакать, а так, похныкать, пожаловаться кому-то, ведь не по своей воле дошел, а судьба довела беднягу подполковника до такого отношения к любви... Потом он уснул, а когда проснулся, вдруг подумал: «Если не убьют, обязательно на обратном пути к Аллочке заеду».

69

Майор Ершов, вернувшись с работы, остановился у нар Мостовского, сказал:

— Слышал американец радио, наше сопротивление под Сталинградом ломает расчеты немцев.

Он наморщил лоб и добавил:

— Да еще сообщение из Москвы — о ликвидации Коминтерна, что ли.

— Да вы что, спятили? — спросил Мостовской, глядя в умные глаза Ершова, похожие на холодную, мутноватую весеннюю воду.

— Может быть, американка спутал, — сказал Ершов и стал драть ногтями грудь. — Может быть, наоборот, Коминтерн расширяется.

Мостовской знал в своей жизни немало людей, которые как бы становились мембраной, выразителями идеалов, страстей, мыслей всего общества. Мимо этих людей, казалось, никогда не проходило ни одно серьезное событие в России. Таким выразителем мыслей и идеалов лагерного общества был Ершов. Но слух о ликвидации Коминтерна совершенно не был интересен лагерному властителю дум.

Бригадный комиссар Осипов, ведавший политическим воспитанием большого воинского соединения, был тоже равнодушен к этой новости.

Осипов сказал:

— Генерал Гудзь мне сообщил: вот через ваше интернациональное воспитание, товарищ комиссар, драп начался, надо было в патриотическом духе воспитывать народ, в русском духе.

— Это как же — за бога, царя, отечество? — усмехнулся Мостовской.

— Да все ерунда, — нервно зевая, сказал Осипов. — Тут дело не в ортодоксии, дело в том, что немцы шкуру с нас живьем сдерут, товарищ Мостовской, дорогой отец.

Испанский солдат, которого русские звали Андрюшкой, спавший на нарах третьего этажа, написал «Stalingrad» на деревянной планочке и ночью смотрел на эту надпись, а утром переворачивал планку, чтобы рыскавшие по бараку капо не увидели знаменитое слово.

Майор Кириллов сказал Мостовскому:

— Когда меня не гоняли на работу, я валялся сутками на нарах. А сейчас я себе рубаху постирал и сосновые щепки жую против цинги.

А штрафные эсэсовцы, прозванные «веселые ребята» (они на работу ходили всегда с пением), с еще большей жестокостью придирались к русским.

Невидимые связи соединяли жителей лагерных бараков с городом на Волге. А вот Коминтерн оказался всем безразличен.

В эту пору к Мостовскому впервые подошел эмигрант Чернецов.

Прикрывая ладонью пустую глазницу, он заговорил о радиопередаче, подслушанной американцем.

Так велика была потребность в этом разговоре, что Мостовской обрадовался.

— Вообще-то источники неавторитетные, — сказал Мостовской, — чушь, чушь.

Чернецов поднял брови, это очень нехорошо выглядело, недоуменно и неврастенично поднятая над пустым глазом бровь.

— Чем же? — спросил одноглазый меньшевик. — В чем невероятное? Господа большевики создали Третий интернационал, и господа большевики создали теорию так называемого социализма в одной стране. Сие соединение суть нонсенс. Жареный лед... Георгий Валентинович в одной из своих последних статей писал: «Социализм может существовать как система мировая, международная, либо не существовать вовсе».

— Так называемый социализм? — спросил Михаил Сидорович.

— Да, да, так называемый. Советский социализм.

Чернецов улыбнулся и увидел улыбку Мостовского. Они улыбнулись друг другу потому, что узнали свое прошлое в злых словах, в насмешливых, ненавидящих интонациях.

Словно вспоров толщу десятилетий, блеснуло острие их молодой вражды, и эта встреча в гитлеровском концлагере напомнила не только о многолетней ненависти, а и о молодости.

Этот лагерный человек, враждебный и чужой, любил и знал то, что знал и любил в молодости Мостовской. Он, а не Осипов, не Ершов, помнил рассказы о временах Первого съезда, имена людей, которые лишь им обоим остались небезразличны. Их обоих волновали отношения Маркса и Бакунина, и то, что говорил Ленин и что говорил Плеханов о мягких и твердых искровцах. Как сердечно относился слепой, старенький Энгельс к молодым русским социал-демократам, приезжавшим к нему, какой язвой была в Цюрихе Любочка Аксельрод!

Чувствуя, видимо, то, что чувствовал Мостовской, одноглазый меньшевик сказал с усмешкой:

— Писатели трогательно описывали встречу друзей молодости, а что ж встреча врагов молодости, вот таких седых, замученных старых псов, как вы и я?

Мостовской увидел слезу на щеке Чернецова. Оба понимали: лагерная смерть скоро заровняет, занесет песком все, что было в долгой жизни, — и правоту, и ошибки, и вражду.

— Да, — сказал Мостовской. — Тот, кто враждует с тобой на протяжении всей жизни, становится поневоле и участником твоей жизни.

— Странно, — сказал Чернецов, — вот так встретиться в этой волчьей яме. — Он неожиданно добавил: — Какие чудные слова: пшеница, жито, грибной дождь...

— Ох, и страшен этот лагерь, — смеясь, сказал Мостовской, — по сравнению с ним все кажется хорошим, даже встреча с меньшевиком.

Чернецов грустно кивнул.

— Да, уж действительно, нелегко вам.

— Гитлеризм, — проговорил Мостовской, — гитлеризм! Я не представлял себе подобного ада!

— Вам-то чего удивляться, — сказал Чернецов, — вас террором не удивишь.

И точно ветром сдуло то грустное и хорошее, что возникло между ними. Они заспорили с беспощадной злобой.

Клевета Чернецова была ужасна тем, что питалась не одной лишь ложью. Жестокости, сопутствующие советскому строительству, отдельные промашки Чернецов возводил в генеральную закономерность. Он так и сказал Мостовскому:

— Вас, конечно, устраивает мысль, что в тридцать седьмом году были перегибы, а в коллективизации головокружения от успеха и что ваш дорогой и великий несколько жесток и властолюбив. А суть в обратном: как у вас любят писать, Сталин — это Ленин сегодня. Вам все кажется, что нищета деревни и бесправие рабочих — все это временное, трудности роста. Пшеница, которую вы, истинное кулачье, монополисты, покупаете у мужика по пятаку за кило и продаете тому же мужику по рублю за кило, это и есть первооснова вашего строительства.

— Вот и вы, меньшевик, эмигрант, говорите: Сталин — это Ленин сегодня, — сказал Мостовской, — мы — наследники всех поколений русских революционеров от Пугачева и Разина. Не ренегаты-меньшевики, бежавшие за границу, а Сталин — наследник Разина, Добролюбова, Герцена.

— Да, да, наследники! — сказал Чернецов. — Знаете, что значили для России свободные выборы в Учредительное собрание? В стране тысячелетнего рабства! За тысячу лет Россия была свободна немногим больше полугода. Когда я думаю о процессах тридцать седьмого года, мне вспоминается совсем другое наследство, помните полковника Судейкина, начальника Третьего отделения, он совместно с Дегаевым хотел инсценировать заговоры, запугать царя и таким путем захватить власть. А вы считаете Сталина наследником Герцена?

— Да вы что, впрямь дурак? — спросил Мостовской. — Вы что, всерьез о Судейкине? А величайшая социальная революция, экспроприация экспроприаторов, фабрики, заводы, отнятые от капиталистов, а земля, забранная у помещиков? Проглядели? Это чье наследство, Судейкина, что ли? А всеобщая грамотность, а тяжелая промышленность? А вторжение четвертого сословия, рабочих и крестьян, во все области человеческой деятельности? Это что ж, судейкинское наследство? Жалко вас делается.

— Знаю, знаю, — сказал Чернецов, — с фактами не спорят. Их объясняют. Ваши маршалы, и писатели, и доктора наук, художники и наркомы не слуги пролетариата. Они слуги государства. А уж тех, кто работает в поле и цехах, я думаю, и вы не решитесь назвать хозяевами. Какие уж они хозяева!

Он вдруг наклонился к Мостовскому и сказал:

— Между прочим, из всех вас я уважаю лишь одного Сталина. Он ваш каменщик, а вы чистоплюи! Сталин-то знает: железный террор, лагеря, средневековые процессы ведьм — вот на чем стоит социализм в одной отдельно взятой стране.

Михаил Сидорович сказал Чернецову:

— Любезный, всю эту гнусь мы слышали. Но вы об этом, я должен вам сказать откровенно, говорите как-то особенно подло. Так паскудить, гадить может человек, который с детства жил в вашем доме, а потом был выгнан из него. Знаете, кто он, этот выгнанный человек?.. Лакей!

Он пристально посмотрел на Чернецова и сказал:

— Не скрою, сперва мне хотелось вспомнить то, что связывало нас в девяносто восьмом году, а не то, что развело в девятьсот третьем.

— Покалякать о том времени, когда лакея еще не выгнали из дома?

Но Михаил Сидорович всерьез рассердился.

— Да, да, вот именно! Выгнанный, бежавший лакей! В нитяных перчатках! А мы не скрываем: мы без перчаток. Руки в крови, в грязи! Что ж! Мы пришли в рабочее движение без плехановских перчаток. Что вам дали лакейские перчатки? Иудины сребреники за статейки в вашем «Социалистическом вестнике»? Здесь лагерные англичане, французы, поляки, норвежцы, голландцы в нас верят! Спасение мира в наших руках! В силе Красной Армии! Она армия свободы!

— Так ли, — перебил Чернецов, — всегда ли?

Мостовской поднес руки к лицу Чернецова и сказал:

— Вот они, без лакейских перчаток!

Чернецов кивнул ему:

— Помните жандармского полковника Стрельникова? Тоже работал без перчаток: писал фальшивые признания вместо забитых им до полусмерти революционеров. Для чего вам понадобился тридцать седьмой год? Готовились бороться с Гитлером, этому вас Стрельников или Маркс учил?

— Ваши зловонные слова меня не удивляют, — сказал Мостовской, — вы ничего другого не скажете. Знаете, что меня действительно удивляет? К чему вас гитлеровцы держат в лагере? Зачем? Нас они ненавидят до исступления. Тут все ясно. Но зачем вас и подобных вам держать Гитлеру в лагере?!

Чернецов усмехнулся, лицо его стало таким, каким было в начале разговора.

— Да вот видите, держат, — сказал он. — Не пускают. Вы походатайствуйте, может быть, меня и отпустят.

Но Мостовской не хотел шутить.

— Вы с вашей ненавистью к нам не должны сидеть в гитлеровском лагере. И не только вы, вот и этот субъект. — И он указал на подходившего к ним Иконникова-Моржа.

Лицо и руки Иконникова были запачканы глиной.

Он сунул Мостовскому несколько грязных, исписанных листков бумаги и сказал:

— Прочтите, может быть, придется завтра погибнуть.

Мостовской, пряча листки под тюфяк, раздраженно проговорил:

— Прочту, почему это вы собрались покинуть сей мир?

— Знаете, что я слышал? Котлованы, которые мы выкопали, назначены для газовни. Сегодня уже начали бетонировать фундаменты.

— Об этом ходил слух, — сказал Чернецов, — еще когда прокладывали широкую колею.

Он оглянулся, и Мостовской подумал, что Чернецова занимает, видят ли пришедшие с работы, как запросто он разговаривает со старым большевиком. Он, вероятно, гордится этим перед итальянцами, норвежцами, ис-

панцами, англичанами. Но больше всего он, вероятно, гордился этим перед русскими военнопленными.

— А мы продолжали работать? — спросил Иконников-Морж. — Участвовали в подготовке ужаса?

Чернецов пожал плечами:

— Вы что думаете, мы в Англии? Восемь тысяч откажутся от работы — и всех убьют в течение часа.

— Нет, не могу, — сказал Иконников-Морж. — Не пойду, не пойду.

— Если откажетесь работать, вас кокнут через две минуты, — сказал Мостовской.

— Да, — сказал Чернецов, — можете поверить этим словам, товарищ знает, что значит призывать к забастовке в стране, где нет демократии.

Его расстроил спор с Мостовским. Здесь, в гитлеровском лагере, фальшиво, бессмысленно прозвучали в его собственных ушах слова, которые он столько раз произносил в своей парижской квартире. Прислушиваясь к разговорам лагерников, он часто ловил слово «Сталинград», с ним, хотел он этого или нет, связывалась судьба мира.

Молодой англичанин показал ему знак виктории и сказал:

— Молюсь за вас, Сталинград остановил лавину. — И Чернецов ощутил счастливое волнение, услышав эти слова.

Он сказал Мостовскому:

— Знаете, Гейне говорил, что только дурак показывает свою слабость врагу. Но ладно, я дурак, вы совершенно правы, мне ясно великое значение борьбы, которую ведет ваша армия. Горько русскому социалисту понимать это и, понимая, радоваться, гордиться, и страдать, и ненавидеть вас.

Он смотрел на Мостовского, и тому казалось, будто и второй, зрячий глаз Чернецова налился кровью.

— Но неужели и здесь вы не осознали своей шкурой, что человек не может жить без демократии и свободы? Там, дома, вы забыли об этом? — спросил Чернецов.

Мостовской наморщил лоб.

— Послушайте, хватит истерики.

Он оглянулся, и Чернецов подумал, что Мостовской встревожен, видят ли пришедшие с работы, как запросто разговаривает с ним эмигрант-меньшевик. Он, вероятно, стыдился этого перед иностранцами. Но больше всего он стыдился пред русскими военнопленными.

Кровавая слепая яма в упор смотрела на Мостовского.

Иконников дернул за разутую ногу сидевшего на втором этаже священника, на ломаном французском, немецком и итальянском языках стал спрашивать: Que dois-je faire, mio padre? Nous travaillons dans una Vernichtungslager [1].

Антрацитовые глаза Гарди оглядывали лица людей.

— Tout le monde travaille là-bas. Et moi je travaille là-bas. Nous sommes des esclaves, — медленно сказал он. — Dieu nous pardonnera [2].

— C'est son métier [3], — добавил Мостовской.

— Mais ce n'est pas votre métier [4], — с укоризной произнес Гарди.

Иконников-Морж быстро заговорил:

— Вот, вот, Михаил Сидорович, с вашей точки зрения тоже ведь так, а я не хочу отпущения грехов. Не говорите — виноваты те, кто заставляет тебя, ты раб, ты не виновен, ибо ты не свободен. Я свободен! Я строю фернихтунгслагерь, я отвечаю перед людьми, которых будут душить газом. Я могу сказать «нет»! Какая сила может запретить мне это, если я найду в себе силу не бояться уничтожения? Я скажу «нет»! Je dirai non, mio padre, je dirai non!

Руки Гарди коснулись седой головы Иконникова.

---

[1] Что я должен, падре? Мы работаем в фернихтунгслагере *(фр.)*.
[2] Все там работают. И я работаю там. Мы рабы. Бог нас простит *(фр.)*.
[3] Это его профессия *(фр.)*.
[4] Но это не ваша профессия *(фр.)*.

— Donnez moi votre main [1], — сказал он.

— Ну, сейчас будет увещевание пастырем заблудшей в гордыне овцы, — сказал Чернецов, и Мостовской с невольным сочувствием кивнул его словам.

Но Гарди не увещевал Иконникова, он поднес грязную руку Иконникова к губам и поцеловал ее.

70

На следующий день Чернецов разговаривал с одним из своих немногочисленных советских знакомых, красноармейцем Павлюковым, работавшим санитаром в ревире.

Павлюков стал жаловаться Чернецову, что скоро его выгонят из ревира и погонят рыть котлованы.

— Это все партийные строят, — сказал он, — им невыносимо, что я на хорошее место устроился: сунул кому надо. Они в подметалы, на кухне, в вашрауме всюду своих поустраивали. Вы, папаша, помните, как в мирное время было? Райком своя. Местком своя. Верно ведь? А здесь у них тоже шарашкина контора, свои на кухне, своим порции дают. Старого большевика они содержат, как в санатории, а вы вот, как собака, пропадаете, никто из них в вашу сторону не посмотрит. А разве это справедливо? Тоже весь век на Советскую власть ишачили.

Чернецов, смущаясь, сказал ему, что он двадцать лет не жил в России. Он уже заметил, что слова «эмигрант», «заграница» сразу же отталкивают от него советских людей. Но Павлюков не стал насторожен после слов Чернецова.

Они присели на груде досок, и Павлюков, широконосый, широколобый, настоящий сын народа, как подумал Чернецов, глядя в сторону часового, ходившего в бетонированной башенке, сказал:

— Некуда мне податься, только в добровольческое формирование. Или в доходяги и накрыться.

— Для спасения жизни, значит? — спросил Чернецов.

— Я вообще не кулак, — сказал Павлюков, — не вкалывал на лесозаготовках, а на коммунистов все равно обижен. Нет вольного хода. Этого не сей, на этой не женись, эта работа не твоя. Человек становится как попка. Мне хотелось с детских лет магазин свой открыть, чтобы всякий в нем все мог купить. При магазине закусочная, купил, чего тебе надо, и пожалуйста: хочешь — пей рюмку, хочешь — жаркое, хочешь — пивка. Я бы, знаете, как обслуживал? Дешево! У меня бы в ресторане и деревенскую еду бы давали. Пожалуйста! Печеная картошка! Сало с чесноком! Капуста квашеная! Я бы, знаете, какую закуску людям давал — мозговые кости! Кипят в котле, пожалуйста, сто грамм выпей — и на тебе косточку, хлеб черный, ну, ясно, соль. И всюду кожаные кресла, чтобы вши не заводились. Сидишь, отдыхаешь, а тебя обслужат. Скажи я такое дело, меня бы сразу в Сибирь. А я вот думаю, в чем особый вред для народа в таком деле? Я цены назначу вдвое ниже против государства.

Павлюков покосился на слушателя:

— В нашем бараке сорок ребят записались в добровольческое формирование.

— А по какой причине?

— За суп, за шинельку, чтобы не работать до перелома черепа.

— И еще по какой?

— А кое-кто из идейности.

— Какой?

— Да разной. Некоторые за погубленных в лагерях. Другим нищета деревенская надоела. Коммунизма не выносят.

Чернецов сказал:

— А ведь подло!

Советский человек с любопытством поглядел на эмигранта, и тот увидел это насмешливо-недоуменное любопытство.

— Бесчестно, неблагородно, нехорошо, — сказал Чернецов. — Не вре-

---

[1] Дайте вашу руку *(фр.)*.

мя счеты сводить, не так их сводят. Нехорошо перед самим собой, перед своей землей.

Он встал с досок и провел рукой по заду.

— Меня не заподозрить в любви к большевикам. Правда, не время, не время счеты сводить. А к Власову не ходите.— Он вдруг запнулся и добавил: — Слышите, товарищ, не ходите. — И от того, что произнес, как в старое, молодое время слово «товарищ», он уже не мог скрыть своего волнения и не скрыл его, пробормотал: — Боже мой, боже мой, мог ли я...

Поезд отошел от перрона. Воздух был туманный от пыли, от запаха сирени и весенних городских помоек, от паровозного дыма, от чада, идущего из кухни привокзального ресторана.

Фонарь все уплывал, удалялся, а потом стал казаться неподвижным среди других зеленых и красных огней.

Студент постоял на перроне, пошел через боковую калитку. Женщина, прощаясь, обхватила руками его шею и целовала в лоб, волосы, растерянная, как и он, внезапной силой чувства... Он шел с вокзала, и счастье росло в нем, кружило голову, казалось, что это начало — завязка того, чем наполнится вся его жизнь...

Он вспоминал этот вечер, покидая Россию, по дороге на Славуту. Он вспоминал его в парижской больнице, где лежал после операции — удаления заболевшего глаукомой глаза, вспоминал, входя в полутемный прохладный подъезд банка, в котором служил.

Об этом написал поэт Ходасевич, бежавший, как и он, из России в Париж:

Странник идет, опираясь на посох,—
Мне почему-то припомнилась ты,
Едет коляска на красных колесах —
Мне почему-то припомнилась ты.
Вечером лампу зажгли в коридоре —
Мне почему-то припомнилась ты.
Что б ни случилось: на суше, на море
Или на небе — мне вспомнишься ты...

Ему хотелось вновь подойти к Мостовскому, спросить:

«А вы не знали такой Наташи Задонской, жива ли она? И неужели вы все эти десятилетия ходили с ней по одной земле?»

71

На вечернем аппеле штубенэльтерсте гамбургский вор-взломщик Кейзе, носивший желтые краги и клетчатый кремовый пиджак с накладными карманами, был хорошо расположен. Коверкая русские слова, он негромко напевал: «Kali zavtra voina, esli zavtra v pochod...»

Его мятое, шафранового цвета лицо с карими, пластмассовыми глазами выражало в этот вечер благодушие. Пухлая, белоснежная, без единого волоска рука, с пальцами, способными удавить лошадь, похлопывала по плечам и спинам заключенных. Для него убить было так же просто, как шутки ради подставить ножку. После убийства он ненадолго возбуждался, как молодой кот, поигравший с майским жуком.

Убивал он чаще всего по поручению штурмфюрера Дроттенхара, ведавшего санитарной частью в блоке восточного района.

Самым трудным в этом деле было оттащить тела убитых на кремацию, но этим Кейзе не занимался, никто бы не посмел предложить ему такую работу. Дроттенхар был опытен и не допускал, чтобы люди слабели настолько, чтобы их приходилось тащить к месту казни на носилках.

Кейзе не торопил назначенных к операции, не делал им злых замечаний, ни разу никого из них не толкнул и не ударил. Больше четырехсот раз подымался Кейзе по двум бетонированным ступенькам спецкамеры и всегда испытывал живой интерес к человеку, над которым проделывали операцию: к взгляду ужаса и нетерпения, покорности, муки, робости и страстного любопытства, которым обреченный встречал пришедшего его умертвить.

Кейзе не мог понять, почему ему так нравилась именно обыденность, с которой он производил свое дело. Спецкамера выглядела скучно: табурет, серый каменный пол, сливная труба, кран, шланг, конторка с книгой записей.

Операцию низводили до полной обыденности, о ней всегда говорили полушутя. Если операция совершалась с помощью пистолета, Кейзе называл ее «впустить в голову зерно кофе»; если она производилась с помощью вливания фенола, Кейзе называл ее «маленькая порция эликсира».

Удивительно и просто, казалось Кейзе, раскрывался секрет человеческой жизни в кофейном зерне и эликсире.

Его карие, литые из пластмассы очи, казалось, не принадлежали живому существу. То была затвердевшая желто-коричневая смола... И когда в бетонных глазах Кейзе появлялось веселое выражение, людям становилось страшно, так, вероятно, страшно делается рыбке, вплотную подплывавшей к полузасыпанной песком коряге и вдруг обнаружившей, что темная осклизлая масса имеет глазки, зубки, щупальца.

Здесь, в лагере, Кейзе переживал чувство превосходства над жившими в бараках художниками, революционерами, учеными, генералами, религиозными проповедниками. Тут дело было не в зерне кофе и порции эликсира. Это было чувство естественного превосходства, оно приносило много радости.

Он радовался не своей громадной физической силе, не своему умению идти напролом, сшибить с ног, взломать кассовую сталь. Он любовался своей душой и умом, он был загадочен и сложен. Его гнев, расположение возникали не по-обычному,— казалось, без логики. Когда весной с транспорта в особый барак были пригнаны отобранные гестапо русские военнопленные, Кейзе попросил их спеть любимые им песни.

Четыре с могильным взглядом, с опухшими руками русских человека выводили:

Где же ты, моя Сулико?

Кейзе, пригорюнившись, слушал, поглядывал на стоявшего с краю скуластого человека. Кейзе из уважения к артистам не прерывал пения, но, когда певцы замолчали, он сказал скуластому, что тот в хоре не пел, пусть теперь поет соло. Глядя на грязный ворот гимнастерки этого человека со следами споротых шпал, Кейзе спросил:

— Verstehen Sie, Herr Major,— ты понял, блияд?

Человек кивнул, он понял.

Кейзе взял его за ворот и легонько встряхнул, так встряхивают неисправный будильник. Прибывший с транспорта военнопленный пихнул Кейзе в скулу кулаком и ругнулся.

Казалось, русскому пришел конец. Но гаулейтер особого барака не убил майора Ершова, а подвел его к нарам, в углу у окна. Онн пустовали, ожидая приятного для Кейзе человека. В тот же день Кейзе принес Ершову крутое гусиное яйцо и хохоча дал ему: «Jhre Stimme wird schön!»

С тех пор Кейзе хорошо относился к Ершову. И в бараке с уважением отнеслись к Ершову, его несгибаемая жесткость была соединена с характером мягким и веселым.

Сердился на Ершова после случая с Кейзе один из исполнителей «Сулико», бригадный комиссар Осипов.

— Тяжелый человек,— говорил он.

Вскоре после этого происшествия и окрестил Мостовской Ершова властителем дум.

Кроме Осипова, испытывал недоброжелательность к Ершову всегда замкнутый, всегда молчаливый военнопленный Котиков, знавший все обо всех. Был Котиков какой-то бесцветный — и голос бесцветный, и глаза, и губы. Но был он настолько бесцветен, что эта бесцветность запоминалась, казалась яркой.

В этот вечер веселость Кейзе при аппеле вызвала в людях повышенное чувство напряжения и страха. Жители бараков всегда ждали чего-то плохого, и страх, предчувствие, томление и днем и ночью, то усиливаясь, то слабея, жили в них.

Перед концом вечерней поверки в особый барак вошли восемь лагерных полицейских — капо в дурацких, клоунских фуражках, с ярко-желтой перевязью на рукавах. По их лицам видно было, что свои котелки они наполняют не из общего лагерного котла.

Командовал ими высокий белокурый красавец, одетый в стального цвета шинель со споротыми нашивками. Из-под шинели видны были кажущиеся от алмазного блеска белыми, светлыми лакированные сапоги.

Это был начальник внутрилагерной полиции Кениг — эсэсовец, лишенный за уголовные преступления звания и заключенный в лагерь.

— Mütze ab! — крикнул Кейзе.

Начался обыск. Капо привычно, как фабричные рабочие, выстукивали столы, выявляя выдолбленные пустоты, встряхивали тряпье, быстрыми, умными пальцами проверяли швы на одежде, просматривали котелки.

Иногда они, шутя, поддав кого-нибудь коленом под зад, говорили: «Будь здоров».

Изредка капо обращались к Кенигу, протягивая найденную записку, блокнот, лезвие безопасной бритвы. Кениг взмахом перчатки давал понять — интересен ли найденный предмет.

Во время обыска заключенные стояли, построившись в шеренгу.

Мостовской и Ершов стояли рядом, поглядывали на Кенига и Кейзе. Фигуры обоих немцев казались литыми.

Мостовского пошатывало, кружилась голова. Ткнув пальцем в сторону Кейзе, он сказал Ершову:

— Ах и субъект!

— Ариец классный, — сказал Ершов. Не желая, чтобы его услышал стоящий вблизи Чернецов, он сказал на ухо Мостовскому: — Но и наши ребятки бывают дай боже!

Чернецов, участвуя в разговоре, которого он не слышал, сказал:

— Священное право всякого народа иметь своих героев, святых и подлецов.

Мостовской, обращаясь к Ершову, но отвечая не только ему, сказал:

— Конечно, и у нас найдешь мерзавцев, но что-то есть в немецком убийце такое, неповторимое, что только в немце и может быть.

Обыск кончился. Была подана команда отбоя. Заключенные стали взбираться на нары.

Мостовской лег, вытянул ноги. Ему подумалось, что он не проверил, все ли цело в его вещах после обыска, — кряхтя, приподнялся, стал перебирать барахло.

Казалось, не то исчез шарф, не то холстинка — портянка. Но он нашел и шарф, и портянку, а тревожное чувство осталось.

Вскоре к нему подошел Ершов и негромко сказал:

— Капо Недзельский треплет, что наш блок растрясут, часть оставят для обработки, большинство — в общие лагеря.

— Ну что ж, — сказал Мостовской, — наплевать.

Ершов присел на нары, сказал тихо и внятно:

— Михаил Сидорович!

Мостовской приподнялся на локте, посмотрел на него.

— Михаил Сидорович, задумал я большое дело, буду с вами о нем говорить. Пропадать, так с музыкой!

Он говорил шепотом, и Мостовской, слушая Ершова, стал волноваться — чудный ветер коснулся его.

— Время дорого, — говорил Ершов. — Если этот чертов Сталинград немцы захватят, опять заплесневеют люди. По таким, как Кириллов, видно.

Ершов предполагал создать боевой союз военнопленных. Он произносил пункты программы на память, точно читая по-писаному.

...Установление дисциплины и единства всех советских людей в лагере, изгнание предателей из своей среды, нанесение ущерба врагу, создание комитетов борьбы среди польских, французских, югославских и чешских заключенных...

Глядя поверх нар в мутный полусвет барака, он сказал:

— Есть ребята с военного завода, они мне верят, будем накапливать оружие. Размахнемся. Связь с десятками лагерей, боевые тройки, единство с немецкими подпольщиками, террор против изменников. Конечная цель: всеобщее восстание, единая свободная Европа...

Мостовской повторил:

— Единая свободная Европа... ах, Ершов, Ершов.

— Я не треплюсь. Наш разговор — начало дела.

— Становлюсь в строй, — сказал Мостовской и, покачивая головой, повторил: — Свободная Европа... Вот и в нашем лагере секция Коммунистического Интернационала, а в ней два человека, один из них беспартийный.

— Вы и немецкий, и английский, и французский знаете, тысячи связей вяжутся, — сказал Ершов. — Какой вам еще Коминтерн — лагерники всех стран, соединяйтесь!

Глядя на Ершова, Михаил Сидорович произнес давно забытые им слова:

— Народная воля! — и удивился, почему именно эти слова вдруг вспомнились ему.

А Ершов сказал:

— Надо переговорить с Осиповым и полковником Златокрыльцем. Осипов — большая сила! Но он меня не любит, поговорите с ним вы. А я с полковником сегодня поговорю. Составим четверку.

72

Мозг майора Ершова днем и ночью работал с неослабевающим напряжением.

Ершов обдумывал план подполья, охватывающего лагерную Германию, технику связи подпольных организаций, запоминал названия трудовых и концентрационных лагерей, железнодорожных станций. Он думал о создании шифра, думал, как с помощью лагерных канцеляристов включать в транспортные списки организаторов, перебирающихся из лагеря в лагерь.

А в душе его жила мечта! Работа тысяч подпольных агитаторов, героев-вредителей подготавливала захват лагерей вооруженной силой восставших! Восставшие лагерники должны завладеть зенитной артиллерией, обороняющей лагерные объекты, и превратить ее в противотанковое и противопехотное оружие. Надо выявить зенитчиков и подготовить расчеты для орудий, захваченных штурмовыми группами.

Майор Ершов знал лагерную жизнь, видел силу подкупа, страха, жажду набить желудок, видел, как многие люди меняли честные гимнастерки на власовские голубые шинели с погонами.

Он видел подавленность, угодливость, вероломство и покорность; он видел ужас перед ужасом, видел, как столбенели люди перед страшными чинами зихерхайтсдинст.

И все же в мыслях оборванного пленного майора не было фантазерства. В мрачное время стремительного немецкого продвижения на Восточном фронте он поддерживал своих товарищей веселыми, дерзкими словами, уговаривал опухавших бороться за свое здоровье. И в нем жило неугасимое, задорное, неистребимое презрение к насилию.

Люди чувствовали веселый жар, шедший от Ершова, — такое простое, всем нужное тепло исходит от русской печи, в которой горят березовые дрова.

Должно быть, это доброе тепло, а не только сила ума и сила бесстрашия поспособствовало майору Ершову стать главарем советских военнопленных командиров.

Ершов давно понял, что Михаил Сидорович первый человек, которому он откроет свои мысли. Он лежал на нарах с открытыми глазами, смотрел на шершавый дощатый потолок, словно изнутри гроба на крышку, а сердце билось.

Здесь, в лагере, он, как никогда за тридцать три года своей жизни, переживал ощущение собственной силы.

Жизнь его до войны была нехороша. Отца его, крестьянина Воронежской губернии, раскулачили в тридцатом году. Ершов служил в эту пору в армии.

Ершов не порвал связи с отцом. Его не приняли в Академию, хотя он сдал приемные экзамены на «отлично». С трудом удалось Ершову закончить военное училище. Назначение он получил в райвоенкомат. Отец его, спецпереселенец, жил в это время с семьей на Северном Урале. Ер-

шов взял отпуск и поехал к отцу. От Свердловска он ехал двести километров по узкоколейке. По обе стороны дороги тянулись леса и болота, штабели заготовленной древесины, лагерная проволока, бараки и землянки, словно поганые грибы на высоких ножках, стояли сторожевые вышки. Дважды поезд задерживали — конвойная стража искала заключенного, совершившего побег. Ночью поезд стоял на разъезде, ждал встречного, и Ершов не спал, слушал лай наркомвнуделовских овчарок, свистки часовых, — возле станции находился большой лагерь.

Ершов доехал до конечного пункта узкоколейки лишь на третий день, и хотя на воротнике его были лейтенантские кубари, а документы и литеры были выправлены по правилам, он при проверках документов все ждал, что ему скажут: «А ну, бери мешок» — и отведут в лагерь. Видно, даже воздух в этих местах был какой-то запроволочный.

Потом он ехал семьдесят километров в кузове попутной полуторки, дорога шла среди болот. Машина принадлежала совхозу имени ОГПУ, где работал отец Ершова. В кузове было тесно: ехали на лагпункт спецпереселенцы-рабочие, которых перебрасывали на лесоповал. Ершов пробовал расспрашивать их, но они отвечали односложно, видимо, боялись его военной формы.

К вечеру грузовик пришел в деревушку, лепившуюся между опушкой леса и краем болота. Он запомнил закат, такой тихий и кроткий среди лагерного северного болота. Избы при вечернем свете казались совершенно черными, вываренными в смоле.

Он вошел в землянку, вместе с ним вошел вечерний свет, а навстречу ему встали сырость, духота, запах нищей пищи, одежды и постели, дымное тепло...

Из этой темноты возник отец, худое лицо, прекрасные глаза, поразившие Ершова своим непередаваемым выражением.

Старые, худые, грубые руки обняли шею сына, и в этом судорожном движении измученных старческих рук, обхвативших шею молодого командира, была выражена робкая жалоба и такая боль, такая доверчивая просьба о защите, что только одним мог ответить на все это Ершов — заплакал.

Потом они постояли над тремя могилами — мать умерла в первую зиму, старшая сестра Анюта на вторую, Маруся на третью.

Кладбище в лагерном крае слилось с деревней, и тот же мох рос под стенами изб и на скатах землянок, на могильных холмах и на болотных кочках. Так и останутся мать и сестры под этим небом — и зимой, когда холод вымораживает влагу, и осенью, когда кладбищенская земля набухает от подступающей к ней темной болотной жижи.

Отец стоял рядом с молчащим сыном, тоже молчал, потом поднял глаза, посмотрел на сына и развел руками: «Простите меня, и мертвые и живые, не смог я сберечь тех, кого любил».

Ночью отец рассказывал. Он говорил спокойно, негромко. О том, о чем рассказывал он, лишь спокойно и можно было говорить, воплем, слезами этого не выскажешь.

На ящике, прикрытом газетой, лежали привезенные сыном угощения, стояла поллитровка. Старик говорил, а сын сидел рядом, слушал.

Отец рассказывал о голоде, о смерти деревенских знакомых, о сошедших с ума старухах, о детях — тела их стали легче балалайки, легче куренка. Рассказывал, как голодный вой день и ночь стоял над деревней, рассказывал о заколоченных хатах с ослепшими окнами.

Он рассказывал сыну о пятидесятидневной зимней дороге в теплушке с дырявой крышей, об умерших, ехавших в эшелоне долгие сутки вместе с живыми. Рассказывал, как спецпереселенцы шли пешком и женщины несли детей на руках. Прошла эту пешую дорогу больная мать Ершова, тащилась в жару, с потемневшим разумом. Он рассказал, как привели их в зимний лес, где ни землянки, ни шалаша, и как начали они там новую жизнь, разводя костры, устраивая постели из еловых веток, растапливая в котелках снег, как хоронили умерших...

— Все воля Сталинова, — сказал отец, и в словах его не было гнева, обиды — так говорят простые люди о могучей, не знающей колебаний судьбе.

Ершов вернулся из отпуска и написал заявление Калинину, просил

о высшей немыслимой милости — простить невинного, просил, чтобы разрешили старику приехать к сыну. Но письмо его не успело дойти до Москвы, а Ершова уже вызвали к начальству, имелось заявление — донос о его поездке на Урал.

Ершова уволили из армии. Он поступил на стройку, решил подработать денег и поехать к отцу. Но вскоре пришло письмецо с Урала — извещение о смерти отца.

На второй день после начала войны лейтенант запаса Ершов был призван.

В бою под Рославлем он заменил убитого командира полка, собрал бегущих, ударил по противнику, отбил речную переправу, обеспечил отход тяжелых орудий резерва Главного Командования.

Чем больше становилась тяжесть, ложившаяся на его плечи, тем сильнее были его плечи. Он и сам не знал своей силы. Покорность, оказалось, не была свойственна его натуре. Чем огромней было насилие, тем злей, задорней становилось желание драться.

Иногда он спрашивал себя: почему ему так ненавистны власовцы? Власовские воззвания писали о том, что рассказывал его отец. Он-то знал, что это правда. Но он знал, что эта правда в устах у немцев и власовцев — ложь.

Он чувствовал, ему было ясно, что, борясь с немцами, он борется за свободную русскую жизнь, победа над Гитлером станет победой и над теми лагерями смерти, где погибли его мать, сестры, отец.

Ершов переживал горькое и хорошее чувство — здесь, где анкетные обстоятельства пали, он оказался силой, за ним шли. Здесь не значили ни высокие звания, ни ордена, ни спецчасть, ни первый отдел, ни управление кадров, ни аттестационные комиссии, ни звонок из райкома, ни мнение зама по политической части.

Мостовской как-то сказал ему:

— Это уже давно Генрих Гейне заметил: «Все мы ходим голые под своим платьем»... но один, скинув мундир, показывает анемическое, жалкое тело, других же узкая одежда уродует, они ее скинут, и видно — вот где настоящая сила!

То, о чем Ершов мечтал, стало сегодня делом, и он думал об этом деле по-новому: кого посвятить, кого привлечь, перебирал в уме, взвешивал хорошее, взвешивал плохое, что знал о людях.

Кто войдет в подпольный штаб? Пять имен возникли в его голове. Мелкие житейские слабости, чудачества — все по-новому представилось ему, незначительное приобретало вес.

У Гудзя генеральский авторитет, но он безволен, трусоват, видимо, необразован, он хорош, когда при нем умный зам, штаб, он ждет, чтобы командиры оказывали ему услуги, подкармливали его, и принимает их услуги как должное, без благодарности. Кажется, повара своего вспоминает чаще, чем жену и дочерей. Много говорит об охоте — утки, гуси, службу на Кавказе вспоминает по охоте — кабаны и козы. Видно, сильно выпивал. Хвастун. Часто говорит о боях 1941 года; кругом все были не правы, и сосед слева, и сосед справа, генерал Гудзь был всегда прав. Никогда не винит в неудачах высшее военное начальство. В житейских делах и отношениях опытен, тонок, как тертый писарь. А в общем, была бы воля Ершова, он генералу Гудзю полком не доверил бы командовать, не то что корпусом.

Бригадный комиссар Осипов умен. То вдруг скажет с усмешечкой словцо о том, как собирались воевать малой кровью на чужой территории, глянет карим глазом. А через час он же каменно-жестко отчитает усомнившегося, прочтет проповедь. А назавтра опять пошевелит ноздрями и скажет шепеляво:

— Да, товарищи, мы летаем выше всех, дальше всех, быстрее всех — вот и залетели.

О военном поражении первых месяцев войны говорил умно, но в нем нет горя, говорит с какой-то безжалостностью шахматиста.

Говорит с людьми свободно, легко, но с наигранной, не настоящей товарищеской простотой. По-настоящему его интересуют разговоры с Котиковым.

Чем этот Котиков интересен бригадному комиссару?

Опыт у Осипова огромный. Знание людей. Опыт этот очень нужен, в подпольном штабе без Осипова не обойтись. Но опыт его не только может помочь, может и помешать.

Иногда Осипов рассказывал смешные истории о знаменитых военных людях, называл их: Семен Буденный, Андрюша Еременко.

Однажды он сказал Ершову:

— Тухачевский, Егоров, Блюхер виноваты так, как я да ты.

А Кириллов рассказывал Ершову, что в тридцать седьмом году Осипов был заместителем начальника Академии — беспощадно разоблачал десятки людей, объявлял их врагами народа.

Он очень боится болезней: щупает себя, высовывает язык и, скосив глаза, смотрит, не обложен ли. А смерти, видно было, не боялся.

Полковник Златокрылец — угрюмый, простой, командир боевого полка. Считает, что высшее начальство виновато в отступлении 1941 года. Его боевую командирскую и солдатскую силу чувствуют все. Физически крепок. И голос у него сильный, таким голосом только и останавливать бегущих, поднимать в атаку. Матерщинник.

Он объяснять не любит — приказывает. Товарищ. Готов из котелка отлить солдату баланды. Но уж очень груб.

Люди всегда чувствуют его волю. На работе он старший, крикнет — никто не ослушается.

Его не проведешь, уж он не упустит. С ним можно сварить кашу. Но уж очень груб!

Кириллов — этот умный, но какая-то в нем разболтанность. Подмечает всякую мелочь, а смотрит на все усталыми, полузакрытыми глазами... Равнодушный, людей не любит, но прощает им слабости и подлость. Смерти не боится, а временами тянется к ней.

Про отступление он говорил, пожалуй, умней всех командиров. Он, беспартийный, сказал как-то:

— Я не верю, что коммунисты могут людей сделать лучше. Такого случая в истории не было.

Как будто безразличен ко всему, а ночью плакал на нарах, на вопрос Ершова долго молчал, потом сказал негромко: «Россию жалко». Но вохкий он какой-то, мягкий. Как-то сказал: «Ох, по музыке я соскучился». А вчера с какой-то сумасшедшей улыбочкой он сказал: «Ершов, послушайте, я вам стишки прочту». Ершову стихи не понравились, но он их запомнил, и они назойливо лезли в голову.

> Мой товарищ, в смертельной агонии
> Не зови ты на помощь людей.
> Дай-ка лучше согрею ладони я
> Над дымящейся кровью твоей.
> И не плачь ты от страха, как маленький,
> Ты не ранен, ты только убит.
> Дай-ка лучше сниму с тебя валенки,
> Мне еще воевать предстоит.

Сам он их, что ли, написал?

Нет, нет, не годится Кириллов в штаб. Куда ему людей тянуть, он сам еле тянется.

Вот Мостовской! В нем и образованность — ахнешь, и воля железная. Говорили, что на допросах кремнем держался. Но удивительно — нет людей, к которым не было бы у Ершова придирки. На днях он упрекнул Мостовского:

— Зачем вы, Михаил Сидорович, со всей этой шпаной разговоры чешете, вот с этим Иконниковым-Моржом малахольным и с этим эмигрантом, подлецом одноглазым?

Мостовской насмешливо сказал:

— Вы думаете, я поколеблюсь в своих взглядах, стану евангелистом или даже меньшевиком?

— А черт их знает, — сказал Ершов. — Не тронь дерьма, чтоб не воняло. Сидел этот Морж в наших лагерях. Теперь его немцы таскают на допросы. Себя продаст, и вас, и тех, кто к вам льнет...

А вывод получился такой — для работы в подполье идеальных людей нет. Нужно мерить силу и слабость каждого. Это нетрудно. Но только по основе человека можно решить, годен он или не годен. А основу измерить нельзя. Основу можно угадать, почувствовать. Вот он и начал с Мостовского.

73

Тяжело дыша, генерал-майор Гудзь подошел к Мостовскому. Он шаркал ногами, кряхтел, выпячивая нижнюю губу, коричневые складки кожи шевелились на его щеках и шее, — все эти движения, жесты, звуки сохранил он от своей былой могучей толщины, и странным все это казалось при его нынешней немощи.

— Дорогой отец, — сказал он Мостовскому, — мне, молокососу, делать вам замечания все равно, что майору учить генерал-полковника. Прямо говорю: зря вы с этим Ершовым установили братство народов — неясный он до конца человек. Без военных знаний. По уму лейтенант, а метит в командующие, лезет в учителя полковникам. Следует с ним поосторожней.

— Чепуху порете, ваше превосходительство, — сказал Мостовской.

— Конечно, чепуху, — кряхтя, произнес Гудзь. — Конечно, чепуха. Мне доложили — в общем бараке вчера двенадцать человек записались в эту б....ю освободительную русскую армию. А посчитать, сколько из них кулачья? Я вам не только свое личное мнение говорю, уполномочен еще кое-кем, имеющим политический опыт.

— Это не Осиповым, часом? — спросил Мостовской.

— А хоть и он. Вы человек теоретический, вы и не понимаете всего навоза здешнего.

— Странную беседу вы затеяли, — сказал Мостовской. — Мне начинает казаться, что от людей ничего здесь не остается, одна бдительность. Кто бы мог предугадать!

Гудзь прислушался, как бронхит скрипит и булькает в его груди, и со страшной тоской произнес:

— Не видать мне воли, нет, не видать.

Мостовской, глядя ему вслед, с размаху ударил себя ладонью по коленке, — он вдруг понял, почему возникло тревожное и томительное ощущение при обыске, — пропали бумаги, данные ему Иконниковым.

Что он там, черт, написал? Может быть, прав Ершов, жалкий Иконников стал участником провокации, подкинул, подсунул эти странички. Что он там насочинял?

Он подошел к нарам Иконникова. Но Иконникова не оказалось, и соседи не знали, куда он делся. И от этого всего: от исчезновения бумаг, от пустых нар Иконникова — ему вдруг стало ясно, что вел он себя неверно, пускаясь в разговоры с юродивым богоискателем.

С Чернецовым он спорил, но, конечно, не стоило и спорить, какие уж тут споры. Ведь при Чернецове юродивый передал Мостовскому бумаги — есть и доносчик, есть и свидетель.

Жизнь его оказалась нужна для дела, для борьбы, а он может бессмысленно потерять ее.

«Старый дурень, якшался с отбросами и провалил себя в день, когда делом, революционным делом должен заниматься», — думал он, и горькая тревога все росла.

В вашрауме он столкнулся с Осиповым: бригадный комиссар при тусклом свете худосочного электричества стирал портянки над жестяным желобом.

— Хорошо, что я вас встретил, — сказал Мостовской. — Мне надо поговорить с вами.

Осипов кивнул, оглянулся, обтер мокрые руки о бока. Они присели на цементированный выступ стены.

— Так я и думал, наш пострел везде поспел, — сказал Осипов, когда Мостовской заговорил с ним о Ершове.

Он погладил руку Мостовского своей влажной ладонью.

— Товарищ Мостовской, — сказал он, — меня восхищает ваша решимость. Вы большевик ленинской когорты, для вас не существует возраста. Ваш пример будет поддерживать всех нас.

Он заговорил негромко:

— Товарищ Мостовской, наша боевая организация уже создана, мы решили до поры не говорить вам об этом, хотели сберечь вашу жизнь, но, видно, для соратников Ленина нет старости. Я скажу вам прямо: Ершову мы не можем доверять. Как говорится, объективка на него совсем плохонькая: кулачок, озлоблен репрессиями. Но мы реалисты. Пока без него не обойтись. Нажил себе дешевую популярность. Приходится считаться с этим. Вы лучше меня знаете, как партия умела использовать на известных этапах подобных людей. Но вы должны знать наш взгляд на него: постольку поскольку до поры до времени.

— Товарищ Осипов, Ершов пойдет до конца, я не сомневаюсь в нем.

Слышно было, как стучат капли, падая на цементный пол.

— Вот что, товарищ Мостовской, — медленно сказал Осипов. — От вас секретов у нас нет. Здесь находится заброшенный из Москвы товарищ. Могу назвать его — Котиков. Это и его точка зрения на Ершова, не только моя. Его установки для всех нас, коммунистов, закон — приказ партии, приказ Сталина в чрезвычайных условиях. Но мы с этим вашим крестником, властителем дум, будем работать, решили и будем. Важно лишь одно: быть реалистами, диалектиками. Да не вас нам учить.

Мостовской молчал. Осипов обнял его и трижды поцеловал в губы. На глазах его заблестели слезы.

— Я вас целую, как отца родного, — сказал он. — А хочется мне вас перекрестить, как в детстве меня мать крестила.

И Михаил Сидорович почувствовал, что невыносимое, мучительное ощущение сложности жизни уходит. Вновь, как в молодое время, мир показался ему ясным и простым, разделился на своих и чужих.

Ночью в особый барак пришли эсэсовцы и увели шесть человек. Среди них был Михаил Сидорович Мостовской.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Когда люди в тылу видят движение к фронту воинских эшелонов, их охватывает чувство радостного томления, — кажется, что именно эти пушки, эти свежеокрашенные танки предназначены для главного, заветного, что сразу приблизит счастливый исход войны.

У тех, кто, выходя из резерва, грузится в эшелоны, возникает в душе особое напряжение. Молодым командирам взводов мерещатся приказы Сталина в засургученных конвертах... Конечно, люди поопытней ни о чем таком не помышляют, пьют кипяток, бьют об столик или об подметку сапога вяленую воблу, обсуждают частную жизнь майора, перспективы товарообмена на ближайшей узловой станции. Опытные люди уже видели, как бывает: часть сгружается в прифронтовой полосе, на глухой, известной только немецким пикировщикам станции, и под первую бомбежку новички маленько теряют праздничное настроение... Людям, опухавшим в дороге от сна, не дают поспать ни часу, марш длится сутками, некогда попить, поесть, в висках ломит от беспрерывного рева перегретых моторов, руки не в силах держать рычаги управления. А командир уже начитался шифровок, наслушался крику и матюков по радиопередатчику, — командованию надо поскорей затыкать дыру, и нет здесь никому никакого дела до того, какие показатели у новой части в учебных стрельбах. «Давай, давай, давай». Одно это слово стоит в ушах командира части, и он дает, не задерживает — гонит вовсю. И бывает, прямо с ходу, не разведав местности, часть вступает в бой, чей-то усталый и нервный голос скажет: «Немедленно контратакуйте, вот вдоль этих высоток, у нас тут ни хрена нет, а он прет вовсю, все к черту повалится».

В головах механиков-водителей, радистов, наводчиков стук и грохот многосуточной дороги смешался с воем германских воздушных пищух, с треском рвущихся мин.

Тут и становится особенно понятно безумие войны, — час прошел, и вот он, огромный труд, дымятся обгоревшие, развалившиеся машины с развороченными орудиями, сорванными гусеницами.

Где месяцы бессонной учебы, где прилежание, терпеливый труд сталеваров, электриков?

И старший начальник, чтобы скрыть необдуманную торопливость, с которой была брошена в бой прибывшая из резерва часть, скрыть ее почти бесполезную гибель, — посылает наверх стандартное донесение: «Действия брошенной с хода резервной части приостановили на некоторое время продвижение противника и позволили произвести перегруппировку вверенных мне войск».

А если б не кричал — давай-давай, если б дал возможность разведать местность, не переть на минированное поле, то танки, хоть и ничего решающего не совершив, подрались бы, причинили немцам неприятность и большое неудобство.

Танковый корпус Новикова шел к фронту.

Необстрелянным, наивным ребятам-танкистам казалось, что именно им предстоит участвовать в решающем деле. Фронтовики, знавшие почем фунт лиха, посмеивались над ними — командир первой бригады Макаров и лучший в корпусе командир танкового батальона Фатов хорошо знали, как все это бывает, видели не раз.

Скептики и пессимисты — люди реальные, люди горького опыта, кровью, страданием обогатившиеся пониманием войны. В этом их превосходство над безусыми губошлепами. Но люди горького опыта ошиблись. Танкам полковника Новикова предстояло участвовать в деле, которое определило и судьбу войны, и послевоенную жизнь многих сотен миллионов людей.

2

Новикову было приказано, прибыв в Куйбышев, связаться с представителем Генерального штаба, генерал-лейтенантом Рютиным, осветить ряд вопросов, интересующих Ставку.

Новиков думал, что его встретят на вокзале, но комендант вокзала, майор с каким-то диким, блуждающим и одновременно совершенно сонным взором, сказал, что о Новикове никто не справлялся. Позвонить по телефону генералу с вокзала не удалось, генеральский телефон был до того засекречен, что пользоваться им было невозможно.

Новиков отправился пешком в штаб округа.

На вокзальной площади он ощутил ту робость, которую переживают командиры строевых частей, вдруг оказавшиеся в непривычной городской обстановке. Ощущение своего центрального положения в жизни обрушилось — тут не было ни телефониста, протягивающего трубку, ни водителя, стремительно кидавшегося заводить машину.

По мощенной лобастым булыжником улице бежали люди к вновь образующейся у распределителя очереди: «Кто крайний?.. Я за вами...»

Казалось, что нет ничего важней для этих позванивающих бидонами людей, чем очередь у зашарпанной двери продмага. Особенно сердили Новикова встречные военные, почти у каждого в руках был чемоданчик, сверточек. «Собрать их всех, сукиных сынов, да эшелоном на фронт», — подумал он.

Неужели он сегодня увидит ее? Он шел по улице и думал о ней. Женя, алло!

Встреча с генералом Рютиным в кабинете командующего округом была недолгой. Едва начался разговор, генерала вызвали по телефону из Генштаба — предложили срочно вылететь в Москву.

Рютин извинился перед Новиковым и позвонил по городскому телефону.

— Маша, все изменилось. «Дуглас» уходит на рассвете, передай Анне Аристарховне. Картошку не успеем взять, мешки в совхозе... — Бледное лицо его брезгливо и страдальчески наморщилось, и, видимо, перебивая поток слов, шедший к нему по проводу, он сказал: — Что ж, прикажешь доложить Ставке, что из-за недошитого дамского пальто я не смогу лететь?

Генерал положил трубку и сказал Новикову:

— Товарищ полковник, вы считаете, что ходовая часть машины удовлетворяет требованиям, которые мы выдвинули перед конструкторами?

Новикова тяготил этот разговор. За месяцы, проведенные в корпусе, он научился точно определять людей, вернее, их деловой вес. Мгновенно и безошибочно взвешивал он силу тех уполномоченных, руководителей комиссий, представителей, инспекторов и инструкторов, которые являлись к нему в корпус.

Он знал значение негромких слов: «Товарищ Маленков велел передать вам...» — и знал, что есть люди в орденах и генеральских погонах, красноречивые и шумные, бессильные получить тонну солярки, назначить кладовщика и снять с работы писаря.

Рютин действовал не на главном этаже государственной громады. Он работал на статистику, представительство, на общее освещение, и Новиков, разговаривая с ним, стал поглядывать на часы.

Генерал закрыл большой блокнот.

— К сожалению, товарищ полковник, время, вылетаю на рассвете в Генштаб. Беда прямо, хоть в Москву вас вызывай.

— Да, товарищ генерал-лейтенант, действительно, хоть в Москву вместе с танками, которыми я командую, — холодно сказал Новиков.

Они простились. Рютин просил передать привет генералу Неудобнову, с которым они вместе служили когда-то. Новиков шел по зеленой дорожке в обширном кабинете и слышал, как Рютин сказал в телефон:

— Соедините меня с начальником совхоза номер один.

«Картошку свою выручает», — подумал Новиков.

Он пошел к Евгении Николаевне. Душной летней ночью он подошел к ее сталинградскому дому, пришел из степи, охваченной дымом и пылью отступления. И вот он снова шел к ее дому, и, казалось, бездна лежала между тем и этим человеком, а шел он такой же, он же, один и тот же человек.

«Будешь моею, — подумал он. — Будешь моею».

3

Это был старинной постройки двухэтажный дом, из тех, не поспевающих за временами года толстостенных, упрямых домов, которые летом хранят прохладную сырость, а в осенние холода не расстаются с душным и пыльным теплом.

Он позвонил, и на него из открывшейся двери пахнуло духотой, и в коридоре, заставленном продавленными корзинами и сундуками, он увидел Евгению Николаевну. Он видел ее, не видя ни белого платочка на ее волосах, ни черного платья, ни ее глаз и лица, ни ее рук и плеч... Он словно не глазами увидел ее, а незрячим сердцем. А она ахнула и подалась немного назад, как обычно делают пораженные неожиданностью люди.

Он поздоровался, и что-то она ему ответила.

Он шагнул к ней, закрыв глаза, чувствовал и счастье жизни, и готовность вот тут же, сейчас умереть, и тепло ее касалось его.

И для того, чтобы переживать чувство, которого он раньше не знал, — счастье, оказалось, не нужно было ни зрения, ни мыслей, ни слов.

Она спросила его о чем-то, и он ответил, идя следом за ней по темному коридору и держа ее за руку, словно мальчик, боящийся остаться один в толпе.

«Очень широкий коридор, — подумал он. — Тут КВ пройти может».

Они вошли в комнату с окном, выходящим на глухую стену соседнего дома.

У стен стояли две кровати — одна с мятой, плоской подушкой, застеленная серым одеялом, вторая под белым кружевным покрывалом, взбитыми подушечками. Над беленькой кроватью висели открытки с новогодними и пасхальными красавцами в смокингах, цыплятами, выходящими из яичных скорлуп.

На углу стола, заваленного свернутыми в трубку листами ватманской бумаги, лежал кусок хлеба, вялая половина луковицы, стояла бутылка с постным маслом.

— Женя... — сказал он.

Взгляд ее, обычно насмешливый, наблюдающий, был особый, странный. Она сказала:

— Вы голодны, вы с дороги?

Она, видимо, хотела разрушить, разбить то новое, что уже возникло и что уже нельзя было разбить. Какой-то стал он иной, не такой, каким был, человек, получивший власть над сотнями людей, над угрюмыми машинами войны, с жалобными глазами несчастного парнишки. И от этого несоответствия она терялась, хотелось испытывать к нему снисходительное чувство, даже жалость и не думать о его силе. Ее счастьем была свобода. Но свобода уходила от нее, и она была счастлива.

Вдруг он сказал:

— Да что же, неужели непонятно! — И снова он перестал слышать свои и ее слова. И снова возникло в его душе ощущение счастья и связанное с ним чувство, — хоть сейчас умереть. Она его обняла за шею, и ее волосы, точно теплая вода, коснулись его лба, щек, и в полумраке этих темных, рассыпавшихся волос он увидел ее глаза.

Ее шепот заглушил войну, скрежет танков...

Вечером они пили кипяток, ели хлеб, и Женя сказала:

— Отвык начальник от черного хлеба.

Она принесла выставленную за окно кастрюлю гречневой каши, — крупные, заледеневшие зерна гречи стали фиолетовыми и синими. На них выступил холодный пот.

— Как персидская сирень, — сказала Женя.

Новиков попробовал персидской сирени, подумал: «Жуткое дело!»

— Отвык начальник, — снова сказала она, и он подумал: «Хорошо, что не послушался Гетманова, не привез продукты».

Он сказал:

— Когда началась война, я был под Брестом в одном авиаполку. Летчики кинулись на аэродром, и я слышал, какая-то полька крикнула: «Кто это?», а мальчишка полячонок ответил ей: «Это русский жолнеж», — и я особенно почувствовал: русский, русский я... Ведь, понимаешь, всю жизнь знаю, что не турок, а здесь душа загудела: русский я, я русский. По правде говоря, нас в другом духе воспитывали перед войной... Сегодня, именно сейчас, лучший мой день — вот смотрю на тебя и снова, как тогда, — русское горе, русское счастье... Вот такое, хотел тебе сказать... — Он спросил: — Чему ты?

Мелькнула перед ней взлохмаченная голова Крымова. Боже, неужели она навеки рассталась с ним? Именно в эти счастливые минуты ей показалась невыносимой вечная разлука с ним.

На мгновение показалось, вот-вот она соединит этот сегодняшний день, слова сегодняшнего человека, целовавшего ее, с тем ушедшим временем, вдруг поймет тайный ход своей жизни и увидит то, что не дано увидеть, — глубину своего собственного сердца, ту, где решается судьба.

— Эта комната, — сказала Женя, — принадлежит немке, она меня приютила. Это ее ангельская белая кроватка. Более безобидного, беспомощного человека я не видела в жизни... Странно ведь вот так, во время войны с немцами, я уверена, — она самый добрый человек в этом городе. Странно, да?

— Она скоро придет? — спросил он.

— Нет, с ней война кончена, ее выслали.

— Ну и слава богу, — сказал Новиков.

Ей хотелось сказать ему о своей жалости к Крымову, брошенному ею, ему некому писать письма, не к кому стремиться, ему осталась тоска, безнадежная тоска, одиночество.

И к этому примешивалось желание рассказать о Лимонове, о Шаргородском, о новом, любопытном, непонятном, что связывалось с этими людьми. И хотелось рассказать о том, как в детстве Женни Генриховна записывала смешные слова, которые произносили маленькие Шапошниковы, и что тетрадки с этими записями лежат на столе, их можно почитать. Хотелось рассказать об истории с пропиской и о начальнике паспортного стола. Но в ней не было еще доверия к нему, она стеснялась его. Нужно ли ему то, что она скажет?

И удивительно... Словно наново она переживала свой разрыв с Крымовым. Ей всегда в глубине души казалось, что можно будет исправить, вернуть прошлое. Это успокаивало ее. И сейчас, когда она ощутила под-

хватившую ее силу, пришла мучительная тревога, — неужели это навеки, неужели это непоправимо? Бедный, бедный Николай Григорьевич. За что ему столько страданий?

— Что ж это будет? — сказала она.

— Евгения Николаевна Новикова, — проговорил он.

Она стала смеяться, всматриваться в его лицо.

— Чужой, ведь совершенно чужой. Собственно, кто ты?

— Этого я не знаю. А вот ты — Новикова Евгения Николаевна.

Она уже не была над жизнью. Она наливала ему в чашку кипятку, она спросила:

— Еще хлеба?

Вдруг она сказала:

— Если с Крымовым что-нибудь случится, его искалечат или посадят, я вернусь к нему. Имей это в виду.

— А за что его сажать? — хмуро спросил он.

— Ну, мало ли что, старый коминтерновец, его ведь Троцкий знал, сказал, прочтя одну его статью: «Мраморно!».

— Попробуй, вернись, он тебя погонит.

— Не беспокойся. Это уж мое дело.

Он сказал ей, что после войны она станет хозяйкой в большом доме, и дом будет красивый, и при доме будет сад.

Неужели это навсегда, на всю жизнь?

Ей почему-то хотелось, чтобы Новиков ясно понимал, что Крымов умный, талантливый, что она привязана к Крымову, да чего там — любит его. Она не хотела, чтобы он ревновал ее к Крымову, но она, сама того не понимая, все делала, чтобы вызвать его ревность. Но она рассказала именно ему, единственному, то, что ей, единственной, рассказал когда-то Крымов, — о словах Троцкого. «Знай об этом случае в свое время еще кто-либо, вряд ли Крымов уцелел бы в 1937 году». Ее чувство к Новикову требовало высшего доверия, и она доверила ему судьбу человека, обиженного ею.

Голова ее была полна мыслей, она думала о будущем, о сегодняшнем дне, о прошедшем, она млела, радовалась, стыдилась, тревожилась, тосковала, ужасалась. Мать, сестры, племянники, Вера, десятки людей связывались с изменением, происшедшим в ее жизни. Как бы Новиков говорил с Лимоновым, слушал разговоры о поэзии и живописи. Ему не стыдно, хотя и не знает Шагала и Матисса... Сильный, сильный, сильный. Она и подчинилась. Вот кончится война. Неужели, неужели она никогда больше не увидит Николая? Боже, боже, что она наделала. Не надо думать об этом сейчас. Ведь неизвестно, что еще будет, как все сложится.

— Я именно сейчас поняла: ведь совершенно не знаю тебя. Я не шучу: чужой. Дом, сад — зачем все это? Ты всерьез?

— Хочешь, я после войны демобилизуюсь и поеду десятником на стройку, куда-нибудь в Восточную Сибирь. Будем жить в семейном бараке.

Слова эти были правдой, он не шутил.

— Необязательно в семейном.

— Совершенно обязательно.

— Да ты с ума сошел. Зачем это? — И она подумала: «Коленька».

— Как зачем? — испуганно спросил он.

А он не думал ни о будущем, ни о прошлом. Он был счастлив. Его даже не пугала мысль о том, что через несколько минут они расстанутся. Он сидел рядом с ней, он смотрел на нее... Евгения Николаевна Новикова... Он был счастлив. Ему не нужно было, чтобы она была умна, красива, молода. Он действительно любил ее. Сперва он не смел мечтать, чтобы она стала его женой. Потом он долгие годы мечтал об этом. Но и сегодня по-прежнему он со смирением и робостью ловил ее улыбку и насмешливое слово. Но он видел — появилось новое.

Она следила, как он собирался в дорогу, и сказала:

— Пришло время отправиться к ропщущей дружине, а меня бросить в набежавшую волну.

Когда Новиков стал прощаться, он понял, что не так уж сильна она и что женщина всегда женщина, даже если она и наделена от бога ясным и насмешливым умом.

— Столько хотела сказать и ничего не сказала, — проговорила она.

Но это не было так — то важное, что решает жизнь людей, стало определяться во время их встречи. Он действительно любил ее.

4

Новиков шел к вокзалу.

...Женя, ее растерянный шепот, ее босые ноги, ее ласковый шепот, слезы в минуты расставания, ее власть над ним, ее бедность и чистота, запах ее волос, ее милая стыдливость, тепло ее тела, его робость от сознания своей рабоче-солдатской простоты и его гордость от принадлежности к рабоче-солдатской простоте.

Новиков пошел по железнодорожным путям, и в жаркое, смутное облако его мыслей вошла пронзительная игла — страх солдата в пути, — не ушел ли эшелон.

Он издали увидел платформы, угловатые танки с металлическими мышцами, выпиравшими из-под брезентовых полотнищ, часовых в черных шлемах, штабной вагон с окнами, завешенными белыми занавесками.

Он вошел в вагон мимо приосанившегося часового.

Адъютант Вершков, обиженный на то, что Новиков не взял его с собой в Куйбышев, молча положил на столик шифровку Ставки — следовать на Саратов, далее астраханской веткой...

В купе вошел генерал Неудобнов и, глядя не на лицо Новикова, а на телеграмму в его руках, сказал:

— Подтвердили маршрут.

— Да, Михаил Петрович, — сказал Новиков, — не маршрут, подтвердили судьбу: Сталинград, — и добавил: — Привет вам от генерал-лейтенанта Рютина.

— А-а-а, — сказал Неудобнов, и нельзя было понять, к чему относится это безразличное «а-а-а», — к генеральскому привету или к сталинградской судьбе.

Странный он был человек, страшновато становилось от него Новикову: что бы ни случилось в пути — задержка из-за встречного поезда, неисправность буксы в одном из вагонов, неполучение повестки к движению эшелона от путевого диспетчера — Неудобнов оживлялся, говорил:

— Фамилию, фамилию запишите, сознательный вредитель, посадить его надо, мерзавца.

Новиков в глубине души равнодушно, без ненависти относился к тем, кого называли врагами народа, подкулачниками, кулаками. У него никогда не возникало желания засадить кого-нибудь в тюрьму, подвести под трибунал, разоблачить на собрании. Но это добродушное равнодушие, считал он, происходило от малой политической сознательности.

А Неудобнов, казалось Новикову, глядя на человека, сразу же и прежде всего проявлял бдительность, подозрительно думал: «Ох, а не враг ли ты, товарищ дорогой?». Накануне он рассказывал Новикову и Гетманову о вредителях-архитекторах, пытавшихся главные московские улицы-магистрали превратить в посадочные площадки для вражеской авиации.

— По-моему, это ерунда, — сказал Новиков, — военно безграмотно.

Сейчас Неудобнов заговорил с Новиковым на свою вторую любимую тему — о домашней жизни. Пощупав вагонные отопительные трубы, он стал рассказывать про паровое отопление, устроенное им на даче незадолго до войны.

Разговор этот неожиданно показался Новикову интересным и важным, он попросил Неудобнова начертить схему дачного парового отопления, сложив чертежик, вложил его во внутренний карман гимнастерки.

— Пригодится, — сказал он.

Вскоре в купе вошел Гетманов и весело, шумно приветствовал Новикова:

— Вот мы снова с командиром, а то уж хотели нового атамана себе выбирать, думали, бросил Стенька Разин свою дружину.

Он щурился, добродушно глядя на Новикова, и тот смеялся шуткам комиссара, а в душе у него возникло ставшее уже привычным напряженное ощущение.

В шутках Гетманова была странная особенность, он словно знал многое о Новикове и именно в своих шутках об этом намекал. Вот и теперь он повторил слова Жени при расставании, но уж это, конечно, было случайностью.

Гетманов посмотрел на часы и сказал:

— Ну, панове, моя очередь в город съездить, возражений нет?

— Пожалуйста, мы тут скучать без вас не будем,— сказал Новиков.

— Это точно,—сказал Гетманов,—вы, товарищ комкор, в Куйбышеве вообще не скучаете.

И уже в этой шутке случайности не было.

Стоя в дверях купе, Гетманов спросил:

— Как себя чувствует Евгения Николаевна, Петр Павлович?

Лицо Гетманова было серьезно, глаза не смеялись.

— Спасибо, хорошо, работает много,—сказал Новиков и, желая перевести разговор, спросил Неудобнова: — Михаил Петрович, вам бы почему в Куйбышев на часок не съездить?

— Чего я там не видел?—ответил Неудобнов.

Они сидели рядом, и Новиков, слушая Неудобнова, просматривал бумаги и откладывал их в сторону, время от времени произносил:

— Так, так, так, продолжайте...

Всю жизнь Новиков докладывал начальству, и начальство во время доклада просматривало бумаги, рассеянно произносило:

— Так, так, продолжайте...— И всегда это оскорбляло Новикова, и Новикову казалось, что он никогда не стал бы так делать.

— Вот какое дело,—сказал Новиков,—нам надо заранее составлять для ремонтного управления заявку на инженеров-ремонтников, колесники у нас есть, а гусеничников почти не оказалось.

— Я уже составил, думаю, ее лучше адресовать непосредственно генерал-полковнику, ведь все равно пойдет к нему на утверждение.

— Так, так, так,—сказал Новиков. Он подписал заявку и проговорил:—Надо проверить противовоздушные средства в бригадах, после Саратова возможны налеты.

— Я уже отдал распоряжение по штабу.

— Это не годится, надо под личную ответственность начальников эшелонов, пусть донесут не позже шестнадцати часов. Лично, лично.

Неудобнов сказал:

— Получено утверждение Сазонова на должность начальника штаба в бригаду.

— Быстро, телеграфно,—сказал Новиков.

На этот раз Неудобнов не смотрел в сторону, он улыбнулся, понимая досаду и неловкость Новикова.

Обычно Новиков не находил в себе смелости упорно отстаивать людей особо годных, по его мнению, для командных должностей. Едва дело касалось политической благонадежности командиров, он скисал, а деловые качества людей вдруг переставали казаться важными.

Но сейчас он озлился. Сегодня он не хотел смирения. Глядя на Неудобнова, он проговорил:

— Моя ошибка, принес в жертву воинское умение анкетным данным. На фронте выправим,— там по анкетным данным не повоюешь. В случае чего—в первый же день к черту смещу!

Неудобнов пожал плечами, сказал:

— Я лично против этого калмыка Басангова ничего не имею, но предпочтение нужно отдать русскому человеку. Дружба народов—святое дело, но, понимаете, большой процент среди националов—враждебно настроенных, шатких, неясных людей.

— Надо бы об этом думать в тридцать седьмом году,—сказал Новиков.—У меня такой знакомый был, Митька Евсеев. Он всегда кричал: «Я русский, это прежде всего». Ну вот ему и дали русского человека, посадили.

— Каждому овощу свое время,— сказал Неудобнов.— А сажают мерзавцев, врагов. Зря у нас не сажают. Когда-то мы заключали с немцами Брестский мир, и в этом был большевизм, а теперь товарищ Сталин призвал уничтожить всех немцев-оккупантов до последнего, пробравшихся на нашу советскую Родину,—и в этом большевизм.

И поучающим голосом добавил:

— В наше время большевик прежде всего—русский патриот.

Новикова раздражало: он, Новиков, выстрадал свое русское чувство в тяжелые дни войны, а Неудобнов, казалось, заимствовал его из какой-то канцелярии, в которую Новиков не был вхож.

Он говорил с Неудобновым, раздражался, думал о многих делах, волновался. А щеки горели как от ветра и солнца, а сердце билось гулко, сильно, не хотело успокаиваться.

Казалось, полк шел по его сердцу, гулко, дружно выбивали сапоги: «Женя, Женя, Женя».

В купе заглянул уже простивший Новикова Вершков и произнес вкрадчивым голосом:

— Товарищ полковник, разрешите доложить, повар замучил: третий час кушанье под парами.

— Ладно, ладно, побыстрей только.

И тут же в купе вбежал потный повар и с выражением страдания, счастья и обиды стал устанавливать блюдца с уральскими соленьями.

— А мне дай бутылочку пива,—томно сказал Неудобнов.

— Есть, товарищ генерал-майор,—проговорил счастливый повар.

Новиков почувствовал, что от желания есть после долгого поста слезы выступили у него на глазах. «Привык, товарищ начальник»,—подумал он, вспоминая недавнюю холодную персидскую сирень.

Новиков и Неудобнов одновременно поглядели в окно: по путям, пронзительно выкрикивая, шарахаясь и спотыкаясь, шел пьяный танкист, поддерживаемый милиционером с винтовкой на брезентовом ремне. Танкист пытался вырваться и ударить милиционера, но тот обхватил его за плечи, и, видимо, в пьяной голове танкиста царила полная путаница,— забыв о желании драться, он с внезапным умилением стал целовать милицейскую щеку.

Новиков сказал адъютанту:

— Немедленно расследуйте и доложите мне об этом безобразии.

— Расстрелять надо мерзавца, дезорганизатора,—сказал Неудобнов, задергивая занавеску.

На незамысловатом лице Вершкова отразилось сложное чувство. Прежде всего он горевал, что командир корпуса портит себе аппетит. Но одновременно он испытывал и сочувствие к танкисту, оно содержало в себе самые различные оттенки—усмешки, поощрения, товарищеского восхищения, отцовской нежности, печали и сердечной тревоги. Отрапортовав:

— Слушаюсь, расследовать и доложить,—он, тут же сочиняя, добавил:—Мать у него тут живет, а русский человек, он разве знает меру, расстроился, стремился со старушкой потеплей проститься и не соразмерил дозы.

Новиков почесал затылок, придвинул к себе тарелку: «Черта с два, никуда не уйду больше с эшелона»,—подумал он, обращаясь к женщине, ждавшей его.

Гетманов вернулся перед отправкой эшелона раскрасневшийся, веселый, отказался от ужина, велел лишь порученцу откупорить бутылку мандариновой, любимой им воды.

Кряхтя, он снял с себя сапоги и прилег на диван, ногой в носке поплотней прикрыл дверь в купе.

Он стал рассказывать Новикову слышанные от старого товарища, секретаря обкома, новости,—тот накануне вернулся из Москвы, где был принят одним из тех людей, что в дни праздников поднимаются на мавзолей, но не стоят на мавзолее возле микрофона, рядом со Сталиным. Человек, рассказывавший новости, знал, конечно, не все и уж, конечно, не все, что знал, рассказал секретарю обкома, знакомому ему по той поре, когда секретарь работал инструктором райкома в небольшом приволжском городе. И из того, что услышал секретарь обкома, он, взвесив на невидимых химических весах собеседника, рассказал немногое комиссару танкового корпуса. И уж, конечно, немногое из услышанного от секретаря обкома комиссар корпуса Гетманов рассказал полковнику Новикову...

Но он говорил в этот вечер тем особо доверительным тоном, каким раньше не говорил с Новиковым. Казалось, он предполагал, что Новикову досконально известна огромная исполнительная власть Маленкова, и то, что, кроме Молотова, один лишь Лаврентий Павлович говорит «ты» товарищу Сталину, и что товарищ Сталин больше всего не любит самочинных действий, и что товарищ Сталин любит сыр сулугуни, и что товарищ Сталин из-за плохого состояния зубов макает хлеб в вино, и что он, между прочим, рябоват от перенесенной в детстве натуральной оспы, и что Вячеслав Михайлович давно уже не второе лицо в партии, и что Иосиф Виссарионович не очень жалует в последнее время Никиту Сергеевича и даже недавно в разговоре по ВЧ покрыл его матом.

Этот доверительный тон в разговоре о людях главной государственной высоты, веселое словцо Сталина, смеясь, осенившего себя крестным знамением в разговоре с Черчиллем, недовольство Сталина самонадеянностью одного из маршалов казались важней, чем в полунамеке произнесенные слова, шедшие от человека, стоявшего на мавзолее,—слова, прихода которых жаждала и угадывала душа Новикова, — подходило время прорывать! С какой-то глупой самодовольной внутренней ухмылкой, которой Новиков сам же застыдился, он подумал: «Вот это да, попал и я в номенклатуру».

Вскоре тронулся без звонков, без объявлений эшелон.

Новиков вышел в тамбур, открыл дверь, вгляделся в тьму, стоявшую над городом. И снова гулко забила пехота: «Женя, Женя, Женя». Со стороны паровоза сквозь стук и грохот послышались протяжные слова «Ермака».

Грохот стальных колес по стальным рельсам, и железный лязг вагонов, мчащих к фронту стальные массы танков, и молодые голоса, и холодный ветер с Волги, и огромное, в звездах небо как-то по-новому коснулись его, не так, как секунду назад, не так, как весь этот год с первого дня войны, — в душе сверкнула надменная радость и жестокое, веселое счастье от ощущения боевой грубой силы, словно лицо войны изменилось, стало иным, не искаженным одной лишь мукой и ненавистью... Печально и угрюмо тянущаяся из тьмы песня зазвучала грозно, надменно.

Но странно, его сегодняшнее счастье не вызывало в нем доброты, желания прощать. Это счастье поднимало ненависть, гнев, стремление проявить свою силу, уничтожить все, что стоит на пути этой силы.

Он вернулся в купе, и так же, как недавно охватило его очарование осенней ночи, охватила его духота вагона, табачный дым, запах горелого коровьего масла и разомлевшей ваксы, дух потных, полнокровных штабных людей. Гетманов в пижаме, раскрытой на белой груди, полулежал на диване.

— Ну как, забьем козла? Генералитет дал согласие.

— Что ж, это можно, — ответил Новиков.

Гетманов, тихонько отрыгнув, озабоченно проговорил:

— Наверное, где-то язва у меня кроется, как поем, изжога жутко мучит.

— Не надо было доктора со вторым эшелоном отправлять, — сказал Новиков.

Зля самого себя, он думал: «Хотел когда-то Даренского устроить, поморщился Федоренко — и я на попятный. Сказал Гетманову и Неудобнову, они поморщились, зачем нам бывший репрессированный, и я испугался. Предложил Басангова, — зачем нам нерусский, я опять на попятный... То ли я согласен, то ли нет». Глядя на Гетманова, он думал, нарочно доводя мысль до нелепости: «Сегодня он моим коньяком меня же угощает, а завтра ко мне моя баба приедет, он с моей бабой спать захочет».

Но почему он, не сомневавшийся в том, что ему-то и ломать хребет немецкой военной механике, неизменно чувствовал свою слабость и робость в разговоре с Гетмановым и Неудобновым?

В этот счастливый день грузно поднялось в нем зло на долгие годы прошедшей жизни, на ставшее для него законным положение, когда военно безграмотные ребята, привычные до власти, еды, орденов, слушали его доклады, милостиво хлопотали о предоставлении ему комнатушки в доме начальствующего состава, выносили ему поощрения. Люди, не знавшие калибров артиллерии, не умевшие грамотно вслух прочесть чужой рукой для них написанную речь, путавшиеся в карте, говорившие вместо «процéнт» «прóцент», «выдающий полководец», «Бéрлин», всегда руководили им. Он им докладывал. Их малограмотность не зависела от рабочего происхождения, ведь и его отец был шахтером, дед был шахтером, брат был шахтером. Малограмотность, иногда казалось ему, является силой этих людей, она им заменяла образованность; его знания, правильная речь, интерес к книгам были его слабостью. Перед войной ему казалось, что у этих людей больше воли, веры, чем у него. Но война показала, что и это не так.

Война выдвинула его на высокую командную должность. Но, оказалось, хозяином он не сделался. По-прежнему он подчинялся силе, которую постоянно чувствовал, но не мог понять. Два человека, оказавшиеся в его подчинении, не имевшие права командовать, были выразителями этой силы. И вот он млел от удовольствия, когда Гетманов делился с ним рассказами о том мире, где, очевидно, и дышала сила, которой нельзя не подчиняться.

Война покажет, кому Россия обязана, — таким, как он, или таким, как Гетманов.

То, о чем мечтал он, свершилось: женщина, любимая им долгие годы, станет его женой... В этот день его танки получили приказ идти к Сталинграду.

— Петр Павлович, — внезапно сказал Гетманов, — знаете, тут, пока вы в город ездили, у меня с Михаилом Петровичем спор вышел.

Он отвалился от спинки дивана, отхлебнул пива, сказал:

— Я — человек простодушный, и я вам прямо хочу сказать: зашел разговор о товарище Шапошниковой. Брат у нее в тридцать седьмом году нырнул, — и Гетманов ткнул пальцем в сторону пола. — Оказывается, Неудобнов знал его в ту пору, ну, а я ее первого мужа знаю, Крымова, этот, как говорится, чудом уцелел. Был он в лекторской группе ЦК. Вот Неудобнов и говорит, напрасно товарищ Новиков, которому советский народ и товарищ Сталин оказали высокое доверие, связывает свою личную жизнь с человеком неясной социально-политической среды.

— А ему какое дело до моей личной жизни? — сказал Новиков.

— Вот именно, — проговорил Гетманов. — Это все пережитки тридцать седьмого года, надо шире смотреть на такие вещи. Нет, нет, вы меня правильно поймите. Неудобнов замечательный человек, кристально честный, несгибаемый коммунист сталинской кладки. Но есть у него маленький грех — не видит он иногда ростки нового, не ощущает. Для него главное — цитаты из классиков. А чему жизнь учит, он не всегда видит. Иногда кажется, что он не знает, не понимает, в каком государстве живет, до того он цитат начитался. А война нас во многом новому учит. Генерал-лейтенант Рокоссовский, генерал Горбатов, генерал Пултус, генерал Белов — все ведь сидели. А товарищ Сталин нашел возможным доверить им командование. Мне сегодня Митрич, у которого я гостевал, рассказывал, как Рокоссовского прямо из лагеря в командармы произвели: стоял в барачной умывалке и портянки стирал, а за ним бегут: скорей! Ну, думает, портянок достирать не дали, а его накануне допрашивал один начальник и малость помял. А тут его на «Дуглас» — и прямо в Кремль. Какие-то выводы все же из этого делать нам надо. А наш Неудобнов, он ведь энтузиаст тридцать седьмого года, его, начетчика, с этих позиций не собьешь. Неизвестно, в чем этот брат Евгении Николаевны был виноват, может быть, товарищ Берия тоже сейчас его выпустил бы и он бы армией командовал. А Крымов в войсках. Человек в порядке, при партбилете. В чем дело?

Но эти слова именно и взорвали Новикова.

— Да плевать мне! — зычно сказал он и сам удивился, впервые услышав такие раскаты в своем голосе. — А мне что: был ли Шапошников враг или не был? Я его знать не знаю! Этому самому Крымову Троцкий о его статье говорил, что она мраморно написана. А мне-то что? Мраморно, так мраморно. Да пусть его любили без памяти и Троцкий, и Рыков, и Бухарин, и Пушкин, — моя-то жизнь тут при чем? Я его мраморных статей не читал. А Евгения Николаевна тут при чем, она, что ли, в Коминтерне работала до тридцать седьмого года? Руководить — это можно, а попробуйте, товарищи, повоюйте, поработайте! Хватит, ребята! Надоело!

Щеки его горели, сердце билось гулко, мысли были ясные, злые, четкие, а в голове стоял туман: «Женя, Женя, Женя».

Он слушал самого себя и удивлялся,— неужели это он, впервые в жизни без опасений, свободно, рубит так, обращаясь к большому партийному работнику? Он посмотрел на Гетманова, чувствуя радость, подавляя раскаяние и опасения.

Гетманов вдруг вскочил с дивана, взмахнул толстыми руками, проговорил:

— Петр Павлович, дай я тебя обниму, ты настоящий мужик.

Новиков, растерявшись, обнял его, они поцеловались, и Гетманов крикнул в коридор:

— Вершков, дай нам коньяку, командир корпуса с комиссаром брудершафт сейчас пить будут!

5

Окончив уборку комнаты, Евгения Николаевна с удовольствием подумала: «Ну, вот и все», словно одновременно порядок установился и в комнате, где застелена кровать, а подушка уже не смята, и в душе Евгении Николаевны. Но когда не стало пепла возле изголовья кровати и последний окурок был убран с краешка этажерки, Женя поняла, что пыталась обмануть себя и что ей ничего не надо на свете, только Новикова. Захотелось рассказать о произошедшем в ее жизни Софье Осиповне— именно ей, не матери, не сестре. И она смутно понимала, почему ей хотелось говорить об этом с Софьей Осиповной.

— Ах, Сонечка, Сонечка, Левинтониха,—вслух проговорила Женя.

Потом она подумала, что Маруси нет. Она понимала, что жить без него не может, ударила с отчаянием рукой по столу. Потом она сказала: «Плевать, мне никто не нужен»,—после чего она стала на колени перед местом, где недавно висела шинель Новикова, и произнесла: «Будь жив».

После этого она подумала: «Комедиантство, непристойная я баба».

Она начала себя нарочно мучить, произнесла молча речь, обращенную к самой себе от имени какого-то низменного и ехидного существа, не то женского, не то мужского пола:

— Соскучилась дама, ясно, без мужика, привыкла к баловству, а тут самые такие годы... Одного бросила, конечно, куда Крымову, его вообще хотели из партии исключить. А тут в командирши корпуса. Мужик-то какой! Тут всякая заскучает, еще бы... Чем его теперь удержишь, дала ведь, а? Ясно, теперь ночи без сна, то ли его убили, то ли он себе нашел лет девятнадцати телефонистку.—И, подсмотрев, казалось, неизвестную самой Жене мысль, ехидное и циничное существо прибавило:— Ничего, ничего, скоро помчишься к нему.

Вот она не понимала, почему разлюбила Крымова. А тут не надо было понимать,—она стала счастлива.

Вдруг ей подумалось, что Крымов мешает ее счастью. Он все время стоит между Новиковым и ей, он отравляет ее радость. Он продолжает губить ее жизнь. Почему она должна постоянно мучиться, для чего эти угрызения совести? Что ж делать, разлюбила! Что ж он хочет от нее, почему он ее неотступно преследует? Она имеет право быть счастливой, она имеет право любить того, кого любит. Почему Николай Григорьевич представляется ей таким слабым, беспомощным, растерянным, одиноким? Не такой уж он слабый! Не такой уж он добрый!

Раздражение против Крымова охватило ее. Нет, нет, не принесет она ему в жертву свое счастье... Жестокий, узкий, непоколебимо фанатичный. Она никогда не могла примириться с его равнодушием к человеческим страданиям. Как это все чуждо ей, ее матери, отцу... «Кулаков не жалеют»,— говорил он, когда гибли в ужасных голодных муках десятки тысяч женщин, детей в деревнях России и Украины. «Невинных не сажают»,—говорил он во время Ягоды и Ежова. Когда Александра Владимировна рассказала, как в 1918 году в Камышине на барже вывезли и утопили в Волге купцов и домовладельцев с детьми, среди них были подруги и товарищи Маруси по гимназии — Минаевы, Горбуновы, Касаткины, Сапожниковы,— Николай Григорьевич раздраженно сказал: «А что прикажете делать с ненавистниками нашей революции, пирожками их кормить?» Почему же она не имеет права на счастье? Почему она должна мучиться, жалеть человека, который никогда не жалел слабых?

Но в глубине души, злясь и ожесточаясь, она знала, что не права, не так уж жесток Николай Григорьевич.

Она сняла теплую юбку, которую выменяла на куйбышевском базаре, и надела свое летнее платье, единственное уцелевшее после сталинградского пожара, то, в котором она вечером стояла с Новиковым на Сталинградской набережной у памятника Хользунову.

Незадолго до высылки она спросила у Женни Генриховны, была ли та когда-нибудь влюблена.

Женни Генриховна смутилась и сказала: «Да, в мальчика с золотыми кудрями, с голубыми глазами. Он носил бархатную курточку и белый воротничок. Мне было одиннадцать лет, и я не была с ним знакома». Где теперь этот кудрявый, бархатный мальчик, где теперь Женни Генриховна?

Евгения Николаевна села на кровать, посмотрела на часы. Обычно в это время к ней заходил Шаргородский. Ох, не хочет она сегодня умных разговоров.

Она быстро надела пальто, платок. Ведь бессмысленно—эшелон давно ушел.

Возле вокзальных стен шевелилась громада сидящих на мешках и узлах людей. Евгения Николаевна бродила по вокзальным закоулкам, женщина спросила ее о талонах на рейсовый хлеб, другая—о талончиках на посадку... Некоторые люди сонно и подозрительно оглядывали ее. Тяжело прошел по первому пути товарный состав, вздрогнули вокзальные стены, задребезжали стекла в вокзальных окнах. Показалось, что и ее сердце дрожит. Мимо вокзальной ограды плыли открытые товарные платформы, на них стояли танки.

Счастливое чувство внезапно охватило ее. А танки все плыли, плыли, и точно лепные сидели на них красноармейцы в шлемах, с автоматами на груди.

Она шла к дому, размахивая по-мальчишески руками, распахнув пальто, поглядывая на свое летнее платье. Вечернее солнце вдруг осветило улицы, и пыльный, холодный, ждущий зимы, злой, обшарпанный город показался торжественным, розовым, светлым. Она вошла в дом, и старшая по квартире, Галина Дмитриевна, видевшая днем в коридоре полковника, приехавшего к Жене, льстиво улыбаясь, сказала:

— А вам письмо есть.

«Да, все повернулось к счастью»,—подумала Женя и раскрыла конверт, письмо было из Казани, от матери.

Она прочла первые строки и негромко вскрикнула, растерянно позвала:

— Толя, Толя!

6

Мысль, внезапно поразившая ночью на улице Штрума, легла в основу новой теории. Уравнения, выведенные им за несколько недель работы, совершенно не служили расширению принятой физиками классической теории, не стали дополнением к ней. Наоборот, классическая теория сама стала лишь частным случаем в разработанном Штрумом новом, широком решении, его уравнения включали казавшуюся всеобъемлющей теорию в себя.

Штрум на время перестал ходить в институт, работой лаборатории руководил Соколов. Штрум почти не выходил из дому, шагал по комнате, часами просиживал за столом. Иногда, вечером, он шел гулять, выбирал глухие привокзальные улицы, чтобы не встретить знакомых. Дома он жил по-обычному: шутил за столом, читал газеты, слушал сводку Совинформбюро, придирался к Наде, спрашивал Александру Владимировну о заводе, говорил с женой.

Людмила Николаевна чувствовала, что муж в эти дни стал походить на нее,—и он делал все, что привычно, заведено, внутренне не участвуя в жизни, которой легко жил лишь потому, что она была привычна ему. Но эта общность не сближала Людмилу Николаевну с мужем, она была кажущейся. Прямо противоположные причины определяли их внутреннюю отчужденность от дома—и жизнь, и смерть.

Штрум не сомневался в своих результатах. Подобная уверенность никогда не была присуща ему. Но именно теперь, когда он формулировал самое важное научное решение, найденное им в жизни, он ни разу не усомнился в его истинности. В те минуты, когда мысль о системе уравнений, позволивших по-новому толковать широкую группу физических явлений, пришла к нему, он почему-то, без свойственных ему сомнений и колебаний, ощутил, что мысль эта верна.

И теперь, подводя к концу свою многосложную математическую работу, вновь и вновь проверяя ход своих рассуждений, он не испытывал большей уверенности, чем в те минуты, когда на пустынной улице внезапная догадка поразила его.

Иногда он пытался понять путь, которым шел. Внешне все казалось довольно просто.

Поставленные в лаборатории опыты должны были подтвердить предсказания теории. Однако этого не случилось. Противоречие между результатом опыта и теорией естественно вызвало сомнение в точности опытов. Теория, выведенная на основе десятилетних работ многих исследователей и, в свою очередь, объяснившая много в новых опытных работах, казалась незыблемой. Повторные опыты вновь и вновь показали, что отклонения, претерпеваемые заряженными частицами, участвующими в ядерном взаимодействии, по-прежнему совершенно не соответствуют предсказаниям теории. Любые, самые щедрые поправки на неточность опытов, на несовершенство измерительной аппаратуры и фотоэмульсий, применяемых при фотографировании ядерных взрывов, не могли объяснить таких больших несоответствий.

Тогда стало очевидно, что результаты опытов не подлежат сомнению, и Штрум постарался подштопать теорию, ввести в нее произвольные допущения, позволяющие подчинить теории полученный в лаборатории новый опытный материал. Все, что он делал, исходило из признания основного и главного: теория выведена из опыта, и потому опыт не может противоречить теории. Огромный труд был затрачен на то, чтобы добиться увязки теории с новыми опытами. Но подштопанная теория, от которой казалось немыслимым отойти и отказаться, по-прежнему не помогала объяснению все новых и новых противоречивых опытных данных. Подштопанная, она оставалась беспомощной, как и неподштопанная.

И вот тогда-то пришло новое.

Старая теория перестала быть основой, фундаментом, всеобъемлющим целым. Она не оказалась ошибочной, она не оказалась нелепым заблуждением, но она вошла как частное решение в новую теорию... Порфироносная вдова склонилась главой перед новой царицей. Все это произошло мгновенно.

Когда Штрум стал думать о том, как возникла в его мозгу новая теория, его поразила неожиданность.

Тут, оказывается, полностью отсутствовала простая логика, связывавшая теорию с опытом. Здесь как бы кончались следы на земле, он не мог понять дороги, которой шел.

Раньше ему всегда казалось, что теория возникает из опыта; опыт рождает ее. Противоречия между теорией и новыми опытными данными, казалось Штруму, естественно приводят к новой, более широкой теории.

Но удивительное дело,— он убедился, что все происходило совершенно не так. Он достиг успеха именно тогда, когда не пытался связать ни опыт с теорией, ни теорию с опытом.

Новое, казалось, возникло не из опыта, а из головы Штрума. Он с удивительной ясностью понимал это. Новое возникло свободно. Башка породила теорию. Логика ее, ее причинные связи не были связаны с опытами, которые Марков проводил в лаборатории. Теория, казалось, возникла сама по себе из свободной игры мысли, и эта словно бы оторвавшаяся от опыта игра мысли и позволила объяснить все богатство старого и нового опытного материала.

Опыт был внешним толчком, заставившим работать мысль. Но он не определял содержание мысли.

Это было поразительно...

Голова его была полна математических связей, дифференциальных уравнений, правил вероятности, законов высшей алгебры и теории чисел. Эти математические связи существовали сами по себе в пустом ничто, вне мира атомных ядер и звезд, вне электромагнитных полей и полей тяготения, вне пространства и времени, вне человеческой истории и геологической истории земли. Но они были в его голове.

И в то же время голова его была полна иных связей и законов— квантовых взаимодействий, силовых полей, констант, определявших живую суть ядерных процессов, движения света, сплющивания и растяжения времени и пространства. И удивительное дело—в башке физика-теоретика процессы материального мира были лишь отражением законов, порожденных в математической пустыне. В голове Штрума не математика отражала мир, а мир был проекцией от дифференциальных уравнений, мир был отражением математики.

И в то же время голова его была полна показаний счетчиков и приборов, пунктирных линий, запечатлевших движение частиц и ядерных взрывов в эмульсии и на фотографической бумаге.

И в то же время в голове его жил шум листьев, и свет луны, и пшенная каша с молоком, и гудение огня в печке, и отрывки мелодий, и собачий лай, и римский сенат, и сводки Совинформбюро, и ненависть к рабству, и любовь к тыквенным семечкам.

И вот из этой каши вышла теория, всплыла, вынырнула из той глубины, где не было ни математики, ни физики, ни опытов в физической лаборатории, ни жизненного опыта, где не было сознания, а горючий торф подсознания...

И логика математики, не связанная с миром, отразилась и выразилась, воплотилась в реальной физической теории, а теория вдруг с божественной точностью наложилась на сложный, пунктирный узор, отпечатанный на фотографической бумаге.

И человек, в чьей голове произошло все это дело, глядя на дифференциальные уравнения и на куски фотографической бумаги, подтверждавшие порожденную им истину, всхлипывал и вытирал плачущие счастливые глаза.

И все же,—не будь этих неудачных опытов, не возникни хаос, нелепица, они бы с Соколовым кое-как подлатали и подштопали старую теорию и ошиблись бы.

Какое счастье, что нелепица не уступила их настойчивости!

И все же, хотя новое объяснение родилось из головы, оно было связано с опытами Маркова. И ведь верно,—не будь в мире атомных ядер и атомов, не было бы их и в мозгу человека. Да, да, и не будь великих стеклодувов Петушковых, не будь МОГЭСа, не будь металлургических печей и производства чистых реактивов, не было бы предугадывающей реальность математики в башке физика-теоретика.

Штрума удивляло, что он достиг своего высшего научного успеха в пору, когда был подавлен горем, когда постоянная тоска давила на его мозг. Как же оно могло случиться?

И почему именно после взбудораживших его опасных, смелых, острых разговоров, не имевших никакого отношения к его работе, все неразрешимое вдруг нашло решение в течение коротких мгновений? Но, конечно, это—пустое совпадение.

Разобраться во всем этом было трудно...

Работа была закончена, и Штруму захотелось говорить о ней,—до этого он не думал о людях, с которыми поделится своими мыслями.

Ему захотелось видеть Соколова, написать Чепыжину, он стал представлять себе, как встретят его новые уравнения Мандельштам, Иоффе, Ландау, Тамм, Курчатов, как воспримут их сотрудники отдела, сектора, лаборатории, какое впечатление они произведут на ленинградцев. Он стал думать, под каким названием опубликует работу. Он стал думать, как отнесется к ней великий датчанин, что скажет Ферми. А может быть, сам Эйнштейн прочтет ее, напишет ему несколько слов. Кто станет противником ее, какие вопросы поможет она решить?

Ему не хотелось говорить о своей работе с женой. Обычно, прежде чем отправить деловое письмо, он прочитывал его Людмиле вслух. Когда он неожиданно встречал на улице знакомого, то первой его мыслью было: вот удивится Людмила. Споря с директором института и произнося резкую фразу, он думал: «Вот расскажу Людмиле, как я ему врезал». Он

не представлял себе, как смотреть кинофильм, сидеть в театре и не знать, что Людмила рядом, что можно шепнуть ей: «Господи, какая мура». И всем, что сокровенно тревожило его, он делился с ней; еще студентом он говорил: «Знаешь, мне сдается, что я идиот».

Почему же он молчал сейчас? Может быть, потребность делиться с ней своей жизнью вызывалась верой, что она живет его жизнью больше, чем своей, что его жизнь и есть ее жизнь? А теперь этой уверенности не стало. Она разлюбила его? Может быть, он перестал любить ее?

Но все же рассказал жене о своей работе, хотя ему не хотелось говорить с ней.

— Ты понимаешь,— сказал он,— какое-то удивительное чувство: что бы ни случилось со мной теперь, в сердце вот это — недаром прожил жизнь. Понимаешь, именно теперь впервые не страшно умереть, вот сию минуту, ведь оно, это, есть, родилось!

И он показал ей на исписанную страничку на столе.

— Я не преувеличиваю: это новый взгляд на природу ядерных сил, новый принцип, верно, верно, это ключ ко многим запертым дверям... И понимаешь, в детстве, нет, не то, но знаешь, такое чувство, словно из темной тихой воды вдруг всплыла кувшинка, ах, боже мой.

— Я очень рада, я очень рада, Витенька,— говорила она и улыбалась.

Он видел, что она думает о своем, не переживает его радости и волнения.

И она не поделилась ни с матерью, ни с Надей тем, что он рассказал ей, видимо, забыла.

Вечером Штрум пошел к Соколову.

Ему хотелось говорить с Соколовым не только о своей работе. Он хотел поделиться с ним своими чувствами.

Петр Лаврентьевич поймет его, он ведь не только умен, у него добрая и чистая душа.

И в то же время он опасался, что Соколов начнет корить его, вспоминать, как Штрум малодушничал. Соколов любит объяснять чужие поступки и многословно поучать.

Он давно уже не был у Соколова. Вероятно, раза три собирались за это время гости у Петра Лаврентьевича. На миг он представил выпуклые глаза Мадьярова. «Смелый, черт»,— подумал он. Странно, что за все это время он почти не вспоминал о вечерних ассамблеях. Да и сейчас не хотелось думать о них. Какая-то тревога, страх, ожидание неминуемой беды связывались с этими вечерними разговорами. Правда, уж очень распоясались. Каркали, каркали, а вот Сталинград держится, немцы остановлены, эвакуированные возвращаются в Москву.

Он накануне сказал Людмиле, что теперь не боится умереть, вот хоть сию минуту. А вспоминать свои критиканские речи было страшно. А Мадьяров, тот уж совершенно распустился. Жутко вспоминать. А подозрения Каримова совсем страшные. А вдруг действительно Мадьяров провокатор?

«Да, да, умереть не страшно,— подумал Штрум,— но я сейчас тот пролетарий, которому есть что терять, не только цепи».

Соколов сидел в домашней куртке за столом и читал книгу.

— А где же Марья Ивановна? — удивленно спросил Штрум и сам удивился своему удивлению. Не застав ее дома, он растерялся, словно не с Петром Лаврентьевичем, а с ней собрался говорить о теоретической физике.

Соколов, вкладывая очки в футляр, улыбаясь, сказал:

— Разве Марья Ивановна всегда обязана сидеть дома?

И вот, путаясь в словах, экая, кашляя, волнуясь, Штрум стал выкладывать Соколову свои мысли, выводить уравнения.

Соколов был первым человеком, узнавшим его мысли, и Штрум по-новому, совершенно по-особому ощутил происшедшее.

— Но вот и все,— сказал Штрум, и голос его дрогнул, он ощутил волнение Соколова.

Они молчали, и эта тишина казалась Штруму прекрасной. Он сидел, опустив голову, нахмурясь, и грустно покачивал головой. Наконец он быстро, робко посмотрел на Соколова,— ему показалось, что на глазах у Петра Лаврентьевича слезы.

В этой бедной комнатке во время страшной, охватившей весь мир войны сидели два человека, и чудная связь была между ними и теми, живущими в других странах, и теми, жившими сотни лет назад людьми, чья чистая мысль стремилась к самому возвышенному и прекрасному, что суждено совершить человеку.

Штруму хотелось, чтобы Соколов молчал и дальше. В этой тишине было что-то божественное...

И они долго молчали. Потом Соколов подошел к Штруму, положил ему руку на плечо, и Виктор Павлович почувствовал, что сейчас заплачет.

Петр Лаврентьевич сказал:

— Прелесть, чудо, какая изящная прелесть. Я от всего сердца поздравляю вас. Какая удивительная сила, логика, изящество! Ваши выводы даже эстетически совершенны.

И тут же, охваченный волнением, Штрум подумал:

«Ах, боже мой, боже, ведь это хлеб, не в изяществе тут дело».

— Ну, вот видите, Виктор Павлович,— сказал Соколов,— как вы были не правы, падая духом, хотели отложить все до возвращения в Москву.— И тоном учителя закона божьего, которого Штрум не выносил, он стал говорить: — Веры в вас мало, терпения мало. Это часто мешает вам...

— Да, да,— торопливо сказал Штрум.— Я знаю. Меня этот тупик очень угнетал, мне все стало тошно.

А Соколов стал рассуждать, и все, что он сейчас говорил, не нравилось Штруму, хотя Петр Лаврентьевич сразу понял значение штрумовской работы и в превосходных степенях оценивал ее. Но Виктору Павловичу любые оценки казались неприятны, ремесленно плоски.

«Ваша работа сулит замечательные результаты». Что за глупое слово «сулит». Штрум и без Петра Лаврентьевича знает, что она «сулит». И почему сулит результаты? Она сама результат, чего уж там сулить. «Применили оригинальный метод решения». Да не в оригинальности тут дело... Хлеб, хлеб, черный хлеб.

Штрум нарочно заговорил о текущей работе лаборатории.

— Кстати, забыл вам сказать, Петр Лаврентьевич, я получил письмецо с Урала,— выполнение нашего заказа задерживается.

— Вот-вот,— сказал Соколов,— аппаратура придет, а мы уже будем в Москве. В этом есть положительный элемент. А то в Казани мы бы ее все равно не стали монтировать, и нас бы обвинили, что мы тормозим выполнение нашего тематического плана.

Он многословно заговорил о лабораторных делах, о выполнении тематического плана. И хотя Штрум сам перевел разговор на текущие институтские дела, он же огорчился, что Соколов так легко оставил главную, большую тему.

По-особенному сильно ощутил Штрум в эти минуты свое одиночество.

Неужели Соколов не понимает, что речь идет о чем-то большем, чем обычная институтская тематика?

Это было, вероятно, самое важное научное решение из сделанных Штрумом; оно влияло на теоретические взгляды физиков. Соколов по лицу Штрума, видимо, понял, что слишком уж охотно и легко перешел к разговорам о текущих делах.

— Любопытно,— сказал он,— вы совсем по-новому подтвердили эту штуковину с нейтронами и тяжелым ядром,— и он сделал движение ладонью, напоминавшее стремительный и плавный спуск саней с крутого откоса.— Вот тут-то нам и пригодится новая аппаратура.

— Да, пожалуй,— сказал Штрум.— Но мне это кажется частностью.

— Ну, не скажите,— проговорил Соколов,— частность эта достаточно велика, ведь гигантская энергия, согласитесь.

— Ах, ну и бог с ней,— сказал Штрум.— Тут интересно, мне кажется, изменение взгляда на природу микросил. Это может порадовать кое-кого и избавит от слепого топтания.

— Ну уж и обрадуются,— сказал Соколов.— Так же, как спортсмены радуются, когда не они, а кто-нибудь другой устанавливает рекорд.

Штрум не ответил Соколов коснулся предмета недавнего спора, шедшего в лаборатории.

Во время этого спора Савостьянов уверял, что работа ученого напоминает собой тренировку спортсмена,— ученые готовятся, тренируются, напряжение при решении научных вопросов не отличается от спортивного. Те же рекорды.

Штрум и особенно Соколов рассердились на Савостьянова за это высказывание.

Соколов произнес даже речь, обозвал Савостьянова молодым циником и говорил так, словно наука сродни религии, словно бы в научной работе выражено стремление человека к божеству.

Штрум понимал, что сердится в этом споре на Савостьянова не только за его неправоту. Он ведь и сам иногда ощущал спортивную радость, спортивное волнение и зависть.

Но он знал, что суета, и зависть, и азарт, и чувство рекорда, и спортивное волнение были не сутью, а лишь поверхностью его отношений с наукой. Он сердился на Савостьянова не только за правоту его, но и за неправоту.

О подлинном своем чувстве к науке, зародившемся когда-то в его еще молодой душе, он не говорил ни с кем, даже с женой. И ему было приятно, что Соколов так правильно, возвышенно говорил о науке в споре с Савостьяновым.

Для чего теперь Петр Лаврентьевич вдруг заговорил о том, что ученые подобны спортсменам? Почему сказал он это? Для чего сказал, и именно в особый, чрезвычайный момент для Штрума?

И, чувствуя растерянность, обиду, он резко спросил Соколова:

— А вы, Петр Лаврентьевич, неужели не радуетесь вот тому, о чем мы говорили, раз не вы поставили рекорд?

Соколов в эту минуту думал о том, насколько решение, найденное Штрумом, просто, само собой разумелось, уже существовало в голове Соколова, вот-вот неминуемо должно было быть и им высказано.

Соколов сказал:

— Да, именно вот так же, как Лоренц не был в восторге, что Эйнштейн, а не он сам преобразовал его, лоренцевы, уравнения.

Удивительна была простота этого признания, Штрум раскаялся в своем дурном чувстве.

Но Соколов тут же добавил:

— Шутки, конечно, шутки. Лоренц тут ни при чем. Не так я думаю. И все же я прав, а не вы, хотя я не так думаю.

— Конечно, не так, не так,— сказал Штрум, но все же раздражение не проходило, и он решительно понял, что именно так и думал Соколов.

«Нет в нем искренности сегодня,— думал Штрум,— а он чистый, как дитя, в нем сразу видна неискренность».

— Петр Лаврентьевич,— сказал он,— в субботу соберутся у вас по-обычному?

Соколов пошевелил толстым разбойничьим носом, готовясь сказать что-то, но ничего не сказал.

Штрум вопросительно смотрел на него.

Соколов проговорил:

— Виктор Павлович, между нами говоря, мне что-то перестали эти чаепития нравиться.

Теперь уже он вопросительно посмотрел на Штрума и, хотя Штрум молчал, сказал:

— Вы спрашиваете, почему? Сами понимаете... Это ведь не шутки. Распустили языки.

— Вы-то ведь не распустили,— сказал Штрум.— Вы больше молчали.

— Ну, знаете, в том-то и дело.

— Пожалуйста, давайте у меня, я буду очень рад,— сказал Штрум. Непонятно! Но и он был неискренен! Зачем он врал? Зачем он спорил с Соколовым, а внутренне был согласен с ним? Ведь и он убоялся этих встреч, не хотел их сейчас.

— Почему у вас?— спросил Соколов.— Разговор не о том. Да и скажу вам откровенно,— поссорился я со своим родичем, с главным оратором— Мадьяровым.

Штруму очень хотелось спросить: «Петр Лаврентьевич, вы уверены, что Мадьяров честный человек? Вы можете за него ручаться?»

Но он сказал:

— Да что тут такого? Сами себе внушили, что от каждого смелого слова государство рухнет. Жаль, что вы поссорились с Мадьяровым, он мне нравится. Очень!

— Неблагородно в тяжелые для России времена заниматься русским людям критиканством,— проговорил Соколов.

Штруму снова хотелось спросить: «Петр Лаврентьевич, дело ведь серьезное, вы уверены в том, что Мадьяров не доносчик?»

Но он не задал этого вопроса и сказал:

— Позвольте, именно теперь полегчало. Сталинград— поворот на весну. Вот мы с вами списки составили на реэвакуацию. А вспомните, месяца два назад? Урал, тайга, Казахстан— вот что было в голове.

— Тем более,— сказал Соколов.— Не вижу оснований для того, чтобы каркать.

— Каркать? — переспросил Штрум.

— Именно каркать.

— Да что вы, ей-богу, Петр Лаврентьевич,— сказал Штрум.

Он прощался с Соколовым, а в душе его стояло недоуменное, тоскливое чувство.

Невыносимое одиночество охватило его. С утра он стал томиться, думать о встрече с Соколовым. Он чувствовал: это будет особая встреча. А почти все, что говорил Соколов, казалось ему неискренним, мелким.

И он не был искренен. Ощущение одиночества не оставляло его, стало еще сильней.

Он вышел на улицу, и его у наружной двери окликнул негромкий женский голос. Штрум узнал этот голос.

Освещенное уличным фонарем лицо Марьи Ивановны, ее щеки и лоб блестели от дождевой влаги. В стареньком пальто, с головой, повязанной шерстяным платком, она, жена доктора наук и профессора, казалась воплощением военной эвакуационной бедности.

«Кондукторша»,— подумал он.

— Как Людмила Николаевна? — спросила она, и пристальный взгляд ее темных глаз всматривался в лицо Штрума.

Он махнул рукой и сказал:

— Все так же.

— Я завтра пораньше приду к вам,— сказала она.

— Да вы и так ее лекарь-хранитель,— сказал Штрум.— Хорошо, Петр Лаврентьевич терпит, он дитя, без вас и часа прожить не может, а вы так часто бываете у Людмилы Николаевны.

Она продолжала задумчиво смотреть на него, точно слыша и не слыша его слова, и сказала:

— Сегодня у вас совсем особое лицо, Виктор Павлович. У вас случилось хорошее?

— Почему вы решили так?

— Глаза у вас не так, как всегда.— И неожиданно сказала:— С вашей работой хорошо, да? Ну, вот видите, а вы считали, что из-за своего великого горя уже не работник.

— Вы откуда это знаете?— спросил он и подумал: «Ох и болтливы бабы, неужели наболтала ей Людмила?»— А что же там видно в моих очах?— спросил он, скрывая в насмешливости свое раздражение.

Она помолчала, обдумывая его слова, и сказала, серьезно не принимая предложенного им насмешливого тона:

— В ваших глазах всегда страдание, а сегодня его нет.

И он вдруг стал говорить ей:

— Марья Ивановна, как странно все. Ведь я чувствую,— я совершил сейчас главное дело своей жизни. Ведь наука— хлеб, хлеб для души. И ведь случилось это в такое горькое, трудное время. Как странно, как все запутано в жизни. Ах, как бы мне хотелось... Да ладно, чего уж там...

Она слушала, все глядя ему в глаза, тихо сказала:

— Если б я могла отогнать горе от порога вашего дома.

— Спасибо, милая Марья Ивановна,— сказал Штрум, прощаясь. Он вдруг успокоился, словно к ней он и шел и ей высказал то, что хотел сказать.

А через минуту, забыв о Соколовых, он шагал по темной улице, холодом веяло из-под черных подворотен, ветер на перекрестках дергал полу пальто. Штрум пожимал плечами, морщил лоб,— неужели мама никогда, никогда не узнает о нынешних делах своего сына?

7

Штрум собрал сотрудников лаборатории — ученых-физиков Маркова, Савостьянова, Анну Наумовну Вайспапир, механика Ноздрина, электрика Перепелицына и сказал им, что сомнения в несовершенстве аппаратуры неосновательны. Именно особая точность измерений приводила к однородным результатам, как ни варьировались условия опытов.

Штрум и Соколов были теоретиками, экспериментальные работы в лаборатории вел Марков. Он обладал удивительным талантом решать запутанные экспериментальные проблемы, безошибочно точно определяя принципы новой сложной аппаратуры.

Штрума восхищала уверенность, с которой Марков, подойдя к незнакомому для него прибору, не пользуясь никакими объяснениями, сам, в течение нескольких минут, ухватывал и главные принципы, и малозаметные детали. Он, видимо, воспринимал физические приборы как живые тела, ему казалось естественным, взглянув на кошку, увидеть ее глаза, хвост, уши, когти, прощупать биение сердца, сказать, что к чему в кошачьем теле.

Когда в лаборатории конструировалась новая аппаратура и нужно было подковать блоху, козырным королем становился надменный механик Ноздрин.

Светловолосый веселый Савостьянов, смеясь, говорил о Ноздрине: «Когда Степан Степанович умрет, его руки возьмут на исследование в Институт мозга».

Но Ноздрин не любил шуток, свысока относился к научным сотрудникам, понимал, что без его сильных рабочих рук дело в лаборатории не пойдет.

Любимцем лаборатории был Савостьянов. Ему легко давались и теоретические вопросы и экспериментальные.

Он все делал шутя, быстро, без труда.

Его светлые, пшеничные волосы казались освещенными солнцем даже в самые хмурые осенние дни. Штрум, любуясь Савостьяновым, думал, что волосы его светлые оттого, что и ум у него ясный, светлый. И Соколов ценил Савостьянова.

— Да, не нам с вами, халдеям и талмудистам, чета, он соединит в себе и вас, и меня, и Маркова,— сказал Соколову Штрум.

Анну Наумовну лабораторные остряки окрестили «курица-жеребец». Она обладала нечеловеческой работоспособностью и терпением,— однажды ей пришлось просидеть 18 часов за микроскопом, исследуя слои фотоэмульсии.

Многие руководители институтских отделов считали, что Штруму повезло,— очень уж удачно подобрались сотрудники в его лаборатории. Штрум обычно, шутя, говорил: «Каждый зав имеет тех сотрудников, которых заслуживает...»

— Мы все волновались и огорчались,— сказал Штрум,— теперь мы можем вместе радоваться: опыты ставились профессором Марковым безукоризненно. В этом, конечно, заслуги и механической мастерской, и лаборантов, проводивших огромное количество наблюдений, сделавших сотни и тысячи расчетов.

Марков, быстро покашливая, сказал:

— Виктор Павлович, хочется услышать возможно подробней вашу точку зрения.

Понизив голос, он добавил:

— Мне говорили, что работы Кочкурова в смежной области вызывают практические надежды. Мне говорили, что неожиданно запросили из Москвы о его результатах.

Марков обычно знал подноготную всевозможных событий. Когда эшелон с сотрудниками института шел в эвакуацию, Марков приносил в вагон множество новостей: о заторах, смене паровозов, о предстоящих на пути продовольственных пунктах.

Небритый Савостьянов озабоченно произнес:

— Придется мне выпить весь лабораторный спирт по этому поводу.

Анна Наумовна, большая общественница, проговорила:

— Вот видите, какое счастье, а нас уже на производственных совещаниях и в месткоме обвиняли в смертных грехах.

Механик Ноздрин молчал, поглаживая впалые щеки.

А молодой одноногий электрик Перепелицын медленно покраснел во всю щеку и не сказал ни слова, с грохотом уронил на пол костыль.

Штруму был приятен и радостен этот день.

Утром с ним говорил по телефону молодой директор Пименов, наговорил Штруму много хороших слов. Пименов на самолете улетал в Москву,— шли последние приготовления к возвращению в Москву почти всех отделов института.

— Виктор Павлович,— сказал, прощаясь, Пименов,— скоро уж увидимся в Москве. Я счастлив, я горжусь, что директорствую в институте в ту пору, когда вы завершили свое замечательное исследование.

И на собрании сотрудников лаборатории все было очень приятно Штруму.

Марков обычно посмеивался над лабораторными порядками, говорил:

— Докторов, профессоров у нас полк, кандидатов и младших научных сотрудников у нас батальон, а солдат — один Ноздрин! — В этой шутке было недоверие к физикам-теоретикам.— Мы, как странная пирамида,— пояснил Марков,— у которой широко, обширно на вершине и все уже да уже к основанию. Шатко, колеблемся, а надо бы основание широкое — полк Ноздриных.

А после доклада Штрума Марков сказал:

— Да, вот тебе и полк, вот тебе и пирамида.

А у Савостьянова, который проповедовал, что наука сродни спорту, после доклада Штрума глаза стали удивительно хорошие: счастливые, добрые.

Штрум понял, что Савостьянов в эти минуты смотрел на него не как футболист на тренера, а как верующий на апостола.

Он вспомнил свой недавний разговор с Соколовым, вспомнил спор Соколова с Савостьяновым и подумал:

«Может быть, в природе ядерных сил я кое-что смыслю, но вот в природе человека уж ни черта действительно».

К концу рабочего дня к Штруму в кабинет вошла Анна Наумовна и сказала:

— Виктор Павлович, новый начальник отдела кадров не включил меня в реэвакуацию. Я только что смотрела список.

— Знаю, знаю,— сказал Штрум,— не к чему огорчаться, ведь реэвакуация будет произведена по двум спискам,— вы поедете во вторую очередь, всего на несколько недель позже.

— Но ведь из нашей группы почему-то я одна не попала в первую очередь. Я, кажется, с ума сойду, так мне опостылела эвакуация. Каждую ночь вижу Москву во сне. Потом как же так: значит, начнут монтаж в Москве без меня?

— Да, да, действительно. Но понимаете, список-то утвержден, менять очень трудно. Свечин из магнитной лаборатории уже говорил по поводу Бориса Израилевича, с ним такая же история, как с вами, но оказалось, очень сложно менять. Пожалуй, лучше и вам подождать.

Он вдруг вспыхнул и закричал:

— Черт их знает, каким местом они думают, напихали в список ненужных людей, а вас, которая сразу же понадобится для основного монтажа, почему-то забыли.

— Меня не забыли,— сказала Анна Наумовна, и ее глаза наполнились слезами,— меня хуже...

Анна Наумовна, оглянувшись каким-то странным, быстрым, робким взглядом на полуоткрытую дверь, сказала:

— Виктор Павлович, почему-то из списка вычеркнули только еврейские фамилии, и мне говорила Римма, секретарь из отдела кадров, что в Уфе, в списке Украинской Академии, повычеркивали почти всех евреев, только докторов наук оставили.

Штрум, полуоткрыв рот, мгновение растерянно смотрел на нее, потом расхохотался:

— Да вы что, с ума сошли, дорогая! Мы ведь, слава богу, живем не в царской России. Что это у вас за местечковый комплекс неполноценности, выкиньте вы эту чушь из головы!

8

Дружба! Сколько различий в ней.

Дружба в труде. Дружба в революционной работе, дружба в долгом пути, солдатская дружба, дружба в пересыльной тюрьме, где знакомство и расставание отделены друг от друга двумя, тремя днями, а память об этих днях хранится долгие годы. Дружба в радости, дружба в горе. Дружба в равенстве и в неравенстве.

В чем же дружба? Только лишь в общности труда и судьбы суть дружбы? Ведь иногда ненависть между людьми, членами одной партии, чьи взгляды отличаются лишь в оттенках, бывает больше, чем ненависть этих людей к врагам партии. Иногда люди, вместе идущие в бой, ненавидят друг друга больше, чем своего общего врага. Ведь иногда ненависть между заключенными больше, чем ненависть этих заключенных к своим тюремщикам.

Конечно, друзей встретишь чаще всего среди людей общей судьбы, одной профессии, общих помыслов, и все же преждевременно заключать, что подобная общность определяет дружбу.

Ведь могут подружиться и, случается, дружат люди, объединенные нелюбовью к своей профессии. Дружат ведь не только герои войны и герои труда, дружат и дезертиры войны и труда. Однако в основе дружбы, как той, так и другой, лежит общность.

Могут ли дружить два противоположных характера? Конечно!

Иногда дружба — это бескорыстная связь.

Иногда дружба эгоистична, иногда она самопожертвенна, но удивительно, эгоизм дружбы бескорыстно приносит пользу тому, с кем дружишь, а самопожертвенность дружбы в основе эгоистична.

Дружба — зеркало, в котором человек видит себя. Иногда, беседуя с другом, ты узнаешь себя — ты беседуешь с собой, общаешься с собой.

Дружба — равенство и сходство. Но в то же время дружба — это неравенство и несходство.

Дружба бывает деловая, действенная, в совместном труде, в совместной борьбе за жизнь, за кусок хлеба.

Есть дружба за высокий идеал, философская дружба собеседников-созерцателей, дружба людей, работающих по-разному, порознь, но вместе судящих о жизни.

Возможно, высшая дружба объединяет действенную дружбу, дружбу труда и борьбы с дружбой собеседников.

Друзья всегда нужны друг другу, но не всегда друзья получают от дружбы поровну. Не всегда друзья хотят от дружбы одного и того же. Один дружит и дарит опытом, другой в дружбе обогащается опытом. Один, помогая слабому, неопытному, молодому другу, познает свою силу, зрелость, другой, слабый, познает в друге свой идеал — силу, опыт, зрелость. Так один в дружбе дарит, другой радуется подаркам.

Бывает, что друг — безмолвная инстанция, с ее помощью человек общается с самим собой, находит радость в себе, в своих мыслях, которые звучат, внятны, зримы благодаря отражению в резонирующей душе друга.

Дружба разумная, созерцательная, философская обычно требует от людей единства взглядов, но это сходство может не быть всеобъемлющим. Иногда дружба проявляется в споре, в несходстве друзей.

Если друзья сходны во всем, если они взаимно отражают друг друга, то спор с другом есть спор с самим собой.

Друг тот, кто оправдывает твои слабости, недостатки и даже пороки, кто утверждает твою правоту, талант, заслуги.

Друг тот, кто, любя, разоблачает тебя в твоих слабостях, недостатках и пороках.

И вот дружба основывается на сходстве, а проявляется в различии, противоречиях, несходствах. И вот человек в дружбе эгоистично стремится получить от друга то, чего у него самого нет. И вот человек в дружбе стремится щедро передать то, чем он владеет.

Стремление к дружбе присуще натуре человека, и тот, кто не умеет дружить с людьми, дружит с животными — собаками, лошадьми, кошками, мышами, пауками.

Абсолютно сильное существо не нуждается в дружбе, видимо, таким существом мог быть лишь бог.

Истинная дружба независима от того, находится ли твой друг на троне или, свергнутый с трона, оказался в тюрьме, истинная дружба обращена к внутренним свойствам души и равнодушна к славе, внешней силе.

Разнообразны формы дружбы, многообразно ее содержание, но есть одна незыблемая основа дружбы — это вера в неизменность друга, это верность другу. И потому особо прекрасна дружба там, где человек служит свободе. Там, где друга и дружбу приносят в жертву во имя высших интересов, там человек, объявленный врагом высшего идеала, теряя всех своих друзей, верит, что не потеряет единственного друга.

9

Придя домой, Штрум увидел на вешалке знакомое пальто — его ждал Каримов.

Каримов отложил газету, и Штрум подумал, что, видимо, Людмила Николаевна не хотела разговаривать с гостем.

Каримов проговорил:

— Я к вам из колхоза, читал там лекцию, — и добавил: — Только, пожалуйста, не беспокойтесь, в колхозе меня очень кормили, — ведь наш народ исключительно гостеприимный.

И Штрум подумал, что Людмила Николаевна не спросила Каримова, хочет ли он чаю.

Лишь внимательно всмотревшись в широконосое, мятое лицо Каримова, Штрум подмечал в нем едва уловимые отклонения от обычного русского, славянского типа. А в короткие мгновения, при неожиданном повороте головы, все эти мелкие отклонения объединялись, и лицо преображалось в лицо монгола.

Вот так же иногда на улице Штрум угадывал евреев в некоторых людях с белокурыми волосами, светлыми глазами, вздернутыми носами. Что-то едва ощутимое отличало еврейское происхождение таких людей — иногда это была улыбка, иногда манера удивленно морщить лоб, прищуриваться, иногда пожатие плеч.

Каримов стал рассказывать о своей встрече с лейтенантом, приехавшим после ранения к родителям в деревню. Очевидно, ради этого рассказа Каримов и пришел к Штруму.

— Хороший мальчик, — сказал Каримов, — рассказывал все откровенно.

— По-татарски? — спросил Штрум.

— Конечно, — сказал Каримов.

Штрум подумал, что встреться ему такой раненый лейтенант-еврей, он бы не стал с ним говорить по-еврейски; он знал не больше десятка еврейских слов, причем служили они для шутливого обращения к собеседнику, — вроде «бекицер», «халоймес».

Лейтенант осенью 1941 года попал в плен под Керчью. Немцы послали его убирать засыпанный снегом, неубранный хлеб — на корм лошадям. Лейтенант, улучив минуту, скрылся в зимних сумерках, бежал. Население, русское и татарское, укрывало его.

— Я теперь полон надежды увидеть жену и дочь, — сказал Каримов, — у немцев, оказывается, как и у нас, карточки разных категорий.

— Я когда-то, студентом, лазил по Крымским горам, — проговорил

Штрум и вспомнил, как мать прислала ему деньги на эту поездку. — А евреев видел ваш лейтенант?

В дверь заглянула Людмила Николаевна и сказала:

— Мама до сих пор не пришла, я беспокоюсь.

— Да, да, где же это она? — рассеянно сказал Штрум и, когда Людмила Николаевна закрыла дверь, снова спросил: — Что ж говорит о евреях лейтенант?

— Он видел, как гнали на расстрел еврейскую семью, старуху, двух девушек.

— Боже мой! — сказал Штрум.

— Да, кроме того, он слышал о каких-то лагерях в Польше, куда свозят евреев, убивают и разделывают их тела, как на скотобойнях. Но, видимо, это фантазия. Я его специально расспрашивал о евреях, знал, что вас это интересует.

«Почему же только меня? — подумал Штрум. — Неужели других это не интересует?»

Каримов задумался на мгновение и сказал:

— Да, забыл, еще он рассказывал мне, будто немцы приказывают приносить в комендатуры грудных еврейских детей, и им смазывали губы каким-то бесцветным составом, и они сразу умирали.

— Новорожденным? — переспросил Штрум.

— Мне кажется, что это такая же выдумка, как и фантазия о лагерях, где разделывают трупы.

Штрум прошелся по комнате и сказал:

— Когда думаешь о том, что в наши дни убивают новорожденных, ненужными кажутся все усилия культуры. Ну, чему же научили людей Гете, Бах? Убивают новорожденных!

— Да, страшно, — проговорил Каримов.

Штрум видел сочувствие Каримова, но он видел и его радостное волнение, — рассказ лейтенанта укрепил в нем надежду на встречу с женой. А Штрум знал, что после победы уж не встретит свою мать.

Каримов собрался домой, Штруму было жалко расставаться с ним, и он решил проводить его.

— Вы знаете, — вдруг сказал Штрум, — мы, советские ученые, счастливые люди. Что должен чувствовать честный немецкий физик или химик, зная, что его открытия идут на пользу Гитлеру? Вы представляете себе физика-еврея, чьих родных вот так убивают, как бешеных собак, а он счастлив, совершая свое открытие, а оно, помимо его воли, придает военную мощь фашизму? Он все видит, понимает и все же не может не радоваться своему открытию — ужасно!

— Да, да, — сказал Каримов, — но ведь мыслящий человек не может себя заставить не думать.

Они вышли на улицу, и Каримов сказал:

— Мне неудобно, что вы провожаете меня. Погода ужасная, а вы ведь недавно пришли домой и снова вышли на улицу.

— Ничего, ничего, — ответил Штрум. — Я вас доведу только до угла.

Он поглядел на лицо своего спутника и сказал:

— Мне приятно пройтись с вами по улице, хотя погода плохая.

— Скоро вы вернетесь в Москву, придется нам с вами расстаться. А я очень ценю наши встречи.

— Да, да, да, поверьте, и мне печально, — сказал Штрум.

Штрум шел к дому и не заметил, что его окликнули.

Мадьяров смотрел на него темными глазами. Воротник его пальто был поднят.

— Что ж это, — спросил он, — прекратились наши ассамблеи? Вы совершенно исчезли, Петр Лаврентьевич на меня дуется.

— Да, жаль, конечно, — сказал Штрум. — Но немало глупостей там наговорили мы с вами сгоряча.

Мадьяров проговорил:

— Кто же обращает внимание на сказанное сгоряча слово!

Он приблизил к Штруму лицо, его расширенные, большие, тоскливые глаза стали еще тоскливей, он сказал:

— Есть действительно хорошее в том, что прекратились наши ассамблеи.

Штрум спросил:

— Что же?

Мадьяров с одышкой проговорил:

— Надо вам сказать, старик Каримов, сдается мне, работает. Понятно? А вы с ним, кажется, часто встречаетесь.

— Никогда не поверю, чушь! — сказал Штрум.

— А вы не подумали — все его друзья, все друзья его друзей уже десять лет стерты в порошок, следа нет от всей его среды, он один остался да еще процветает: доктор наук.

— Ну и что же? — спросил Штрум. — Я тоже доктор, и вы доктор наук.

— Да вот то самое. Подумайте об этой дивной судьбе. Я, чай, вы, сударь, не маленький.

10

— Витя, мама только теперь пришла, — сказала Людмила Николаевна.

Александра Владимировна сидела за столом с платком на плечах, она придвинула к себе чашку чаю и тут же отодвинула ее, сказала:

— Ну вот, я говорила с человеком, который видел перед самой войной Митю.

Волнуясь и потому особенно спокойно, размеренным голосом она рассказала, что к соседям ее сослуживицы, цеховой лаборантки, приехал на несколько дней земляк. Сослуживица назвала случайно в его присутствии фамилию Александры Владимировны, и приезжий спросил, нет ли у Александры Владимировны родственника по имени Дмитрий.

Александра Владимировна пошла после работы к лаборантке на дом. И тут выяснилось, что этот человек недавно освобожден из лагеря, он корректор, отсидел семь лет за то, что допустил опечатку в газетной передовой — в фамилии товарища Сталина наборщики перепутали одну букву. Перед войной его перевели за нарушение дисциплины из лагеря в Коми АССР в режимный лагерь на Дальний Восток, в систему озерных лагерей, и там его соседом по бараку оказался Шапошников.

— С первого слова я поняла, что Митя. Он сказал: «Лежит на нарах и все насвистывает — чижик, пыжик, где ты был»... Митя перед самым арестом приходил ко мне и на все мои вопросы усмехался и насвистывал «чижика»... Вечером этот человек должен на грузовой машине ехать в Лаишево, где живет его семья. Митя, говорит, болел — цинга, и с сердцем было нехорошо. Говорит, Митя не верил, что выйдет на свободу. Рассказывал ему обо мне, о Сереже. Работал Митя при кухне, это считается прекрасная работа.

— Да, для этого надо было кончать два института, — сказал Штрум.

— Ведь нельзя поручиться, а вдруг это подосланный провокатор? — сказала Людмила.

— Кому нужно провоцировать старуху?

— Зато Виктором в известном учреждении достаточно интересуются.

— Ну, Людмила, это же чепуха, — раздражаясь, сказал Виктор Павлович.

— А почему он на свободе, он объяснил? — спросила Надя.

— То, что он рассказывал, невероятно. Это огромный мир, мне кажется, какое-то наваждение. Он словно человек из другой страны. У них свои обычаи, своя история средних и новых веков, свои пословицы...

Я спросила, почему его освободили, — он удивился, как, вы не знаете, меня актировали! Я опять не поняла, оказывается — доходяги-умирающие, их освобождают. У них какое-то деление внутри лагеря — работяги, придурки, суки... Я спросила — что за приговор: десять лет без права переписки, который получили тысячи людей в тридцать седьмом году? Он говорит, что не встретил ни одного человека с таким приговором, а был в десятках лагерей. Где же эти люди? Он говорит — не знаю, в лагерях их нет.

Лесоповал. Сверхсрочники, спецпереселенцы... Он на меня такую тоску навалил. И вот Митя жил там и тоже говорил — доходяга, придурок,

суки... Он рассказывал о способе самоубийства — на колымском болоте перестают есть и несколько дней подряд пьют воду, умирают в отеке, от водянки, называется это у них — пил воду, стал пить воду, ну, конечно, при больном сердце.

Она видела напряженное и тоскливое лицо Штрума, нахмуренные брови дочери.

Волнуясь, чувствуя, как горит голова и сохнет во рту, она продолжала рассказывать:

— Он говорит, — страшнее лагеря дорога, эшелон, там всесильны уголовники, они раздевают, отбирают продукты, проигрывают жизнь политических в карты, проигравший убивает человека ножом, а жертва даже не знает до последней минуты, что ее жизнь разыграли в карты. Еще ужаснее, оказывается, что в лагерях все командные места у уголовников — они старосты в бараке, бригадиры на лесозаготовках, политические бесправны, им говорят «ты», уголовники называли Митю фашистом.

Александра Владимировна громко, словно обращаясь к народу, сказала:

— Этого человека перевели из лагеря, где был Митя, в Сыктывкар. В первый год войны приехал в ту группу лагерей, где остался Митя, человек из центра по фамилии Кашкотин и организовал казнь десяти тысяч заключенных.

— О, боже мой, — сказала Людмила Николаевна, — я хочу понять: знает ли об этом ужасе Сталин?

— О, боже мой, — сердито повторяя интонацию матери, сказала Надя, — неужели не понимаешь? Их Сталин приказал убить.

— Надя, — крикнул Штрум, — прекрати!

Как это бывает с людьми, ощущающими, что кто-то со стороны понимает их внутреннюю слабость, Штрум вдруг пришел в бешенство, закричал на Надю:

— Ты не забудь, — Сталин — Верховный Главнокомандующий армией, борющейся с фашизмом, до последнего дня своей жизни твоя бабушка надеялась на Сталина, все мы живем, дышим оттого, что есть Сталин и Красная Армия... Ты научись раньше сама себе нос вытирать, а потом уж будешь опровергать Сталина, преградившего дорогу фашизму в Сталинграде.

— Сталин сидит в Москве, а преграждал в Сталинграде ты знаешь кто, — сказала Надя, — тебя не поймешь, ты сам приходил от Соколова и говорил то же, что и я...

Он почувствовал новый прилив злобы к Наде, казалось ему, такой сильный, что хватит ее до конца жизни.

— Ничего похожего, приходя от Соколова, я не говорил, не выдумывай, пожалуйста, — сказал он.

Людмила Николаевна проговорила:

— К чему все эти ужасы вспоминать, когда советские дети гибнут за Родину на войне.

Но тут-то Надя и высказала понимание тайного, слабого, что было в душе ее отца.

— Ну, конечно, ты ничего не говорил, — сказала она. — Теперь-то, когда у тебя такой успех в работе, а немцев остановили в Сталинграде...

— Да как ты можешь, — сказал Виктор Павлович, — как ты можешь подозревать отца в нечестности! Людмила, ты слышишь?

Он ждал поддержки жены, но Людмила Николаевна не поддержала его.

— Чему ты удивляешься, — сказала она, — она тебя наслушалась, это то, о чем ты говорил со своим Каримовым, с этим отвратительным Мадьяровым. Мне Марья Ивановна рассказывала о ваших беседах. Да ты и сам достаточно дома наговорился. Ох, скорей бы уж в Москву.

— Хватит, — сказал Штрум, — я знаю заранее все приятное, что ты хочешь мне сказать.

Надя замолчала, лицо ее казалось старушечьи увядшим, некрасивым, она отвернулась от отца, но, когда он все же поймал ее взгляд, его поразила ненависть, с которой она взглянула на него.

Душно сделалось, так много тяжелого, нехорошего стало в воздухе. Все, что годами почти в каждой семье живет в тени, — потревожит и затихнет, усмиренное любовью и душевным доверием, — вышло на поверхность, вырвавшись, разлилось широко, заполнило жизнь, словно лишь непонимание, подозрения, злоба, упреки только и существовали между отцом, матерью и дочерью.

Неужели лишь рознь и отчужденность рождала их общая судьба?

— Бабушка! — сказала Надя.

Штрум и Людмила одновременно посмотрели на Александру Владимировну, — она сидела, прижимая ладони ко лбу, словно испытывая нестерпимую головную боль.

Что-то непередаваемо жалкое было в ее беспомощности, в том, что и она и горе ее никому, казалось, не нужны, лишь мешали и раздражали, послужили семейному раздору, в том, что, всю жизнь сильная и суровая, в эти минуты она сидела одинокая, беспомощная.

Надя вдруг, став на колени, прижалась лбом к ногам Александры Владимировны, проговорила:

— Бабушка, милая, хорошая, бабушка...

Виктор Павлович подошел к стене, включил радио, в картонном микрофоне захрипело, завыло, засвистело. Казалось, радио передает осеннюю ночную непогоду, вставшую над передним краем войны, над сожженными деревнями, над солдатскими могилами, над Колымой и Воркутой, над полевыми аэродромами, над намокшими от холодной воды и снега брезентовыми крышами медсанбатов.

Штрум посмотрел на нахмурившееся лицо жены, подошел к Александре Владимировне, взял ее руки в свои, стал целовать их.

Потом, нагнувшись, погладил Надю по голове.

Казалось, ничто не изменилось за эти несколько мгновений, те же люди были в комнате, то же горе давило их, та же судьба вела их. И только они сами знали, каким чудным теплом наполнились в эти секунды их ожесточенные сердца...

В комнате вдруг возник раскатистый голос:

«В течение дня наши войска вели бои с противником в районе Сталинграда, северо-восточнее Туапсе и в районе Нальчика. На других фронтах никаких изменений не произошло».

11

Лейтенант Петер Бах попал в госпиталь по поводу пулевого ранения в плечо. Рана оказалась несерьезной, и товарищи, провожавшие Баха до санитарного фургона, поздравили его с удачей.

С чувством блаженства и одновременно кряхтя от боли Бах отправился, поддерживаемый санитаром, принимать ванну.

Наслаждение от прикосновения теплой воды было велико.

— Лучше, чем в окопах? — спросил санитар и, желая сказать раненому что-либо приятное, добавил: — Когда выпишитесь, вероятно, там уже будет все в порядке.

И он махнул рукой в ту сторону, откуда доносилось равномерное слитное грохотанье.

— Вы здесь недавно? — спросил Бах.

Потерев мочалкой лейтенантскую спину, санитар сказал:

— Почему вы решили, что я здесь недавно?

— Там уж никто не думает, что дело кончится скоро. Там думают, что дело кончится нескоро.

Санитар посмотрел на голого офицера в ванне. Бах вспомнил: персонал в госпиталях имеет инструкцию доносить о настроениях раненых, а в словах лейтенанта было проявлено неверие в мощь вооруженных сил. Бах раздельно повторил:

— Да, санитар, чем это кончится, пока никто не знает.

Зачем он повторил эти опасные слова? Понять это мог лишь человек, живущий в тоталитарной империи.

Он повторил их от раздражения на то, что испугался, произнеся их в первый раз. Он повторил их и с защитной целью — обмануть своей беспечностью предполагаемого доносчика.

Затем, для разрушения вредного впечатления о своей оппозиционности, он произнес:

— Такой силы, какую мы собрали здесь, вероятно, не было ни разу с начала войны. Поверьте мне, санитар.

Потом ему стало противно от этой иссушающей сложной игры, и он предался детской забаве: старался зажать в руке теплую мыльную воду — вода выстреливала то в борт ванны, то в лицо самому Баху.

— Принцип огнемета, — сказал он санитару.

Как он похудел! Он рассматривал свои голые руки, грудь и подумал о молодой русской женщине, которая два дня назад целовала его. Думал ли он, что в Сталинграде у него будет роман с русской женщиной? Правда, романом это трудно назвать. Случайная военная связь. Необычайная, фантастическая обстановка, они встречаются в подвале, он идет к ней среди развалин, освещенный вспышками взрывов. Такие встречи хорошо описать в книге. Вчера он должен был прийти к ней. Она, вероятно, решила, что он убит. После выздоровления он снова придет к ней. Интересно, кем будет занято его место. Природа не терпит пустоты...

Вскоре после ванны его отправили в рентгеновский кабинет, и врач-рентгенолог поставил Баха перед экраном рентгенаппарата.

— Жарко там, лейтенант?

— Русским жарче, чем нам, — ответил Бах, желая понравиться врачу и получить хороший диагноз, такой, при котором операция прошла бы легко и без боли.

Вошел врач-хирург. Оба артца заглядывали в нутро Баха и могли увидеть всю ту оппозиционную нечисть, которая за былые годы отызвестковалась в его грудной клетке.

Хирург схватил Баха за руку и стал вертеть ее, то приближая к экрану, то отдаляя от него. Его занимало осколочное ранение, а то, что к ране был прикреплен молодой человек с высшим образованием, являлось обстоятельством случайным.

Оба артца заговорили, перемешивая латинские слова с немецкими шутливыми ругательствами, и Бах понял, что дело его обстоит неплохо — рука останется при нем.

— Подготовьте лейтенанта к операции, — сказал хирург, — а я посмотрю тут сложный случай — тяжелое черепное ранение.

Санитар снял с Баха халат, хирургическая сестра велела ему сесть на табурет.

— Черт, — сказал Бах, жалко улыбаясь и стыдясь своей наготы, — надо бы, фрейлен, согреть стул, прежде чем сажать на него голым задом участника Сталинградской битвы.

Она ответила ему без улыбки:

— У нас нет такой должности, больной, — и стала вынимать из стеклянного шкафчика инструменты, вид которых показался Баху ужасным.

Однако удаление осколка прошло легко и быстро. Бах даже обиделся на врача — презрение к пустячной операции тот распространил на раненого.

Хирургическая сестра спросила Баха, нужно ли проводить его в палату.

— Я сам пойду, — ответил он.

— Вы у нас не засидитесь, — проговорила она успокоительным тоном.

— Прекрасно, — ответил он, — а то я уже начал скучать.

Она улыбнулась.

Сестра, видимо, представляла себе раненых по газетным корреспонденциям. В них писатели и журналисты сообщали о раненых, тайно бегущих из госпиталей в свои родные батальоны и роты; им непременно нужно было стрелять по противнику, без этого жизнь им была не в жизнь.

Может быть, журналисты и находили в госпиталях таких людей, но Бах испытал постыдное блаженство, когда лег на кровать, застеленную свежим бельем, съел тарелку рисовой кашки и, затянувшись сигаретой (в палате было строго запрещено курить), вступил в беседу с соседями.

Раненых в палате оказалось четверо — трое были офицеры-фронтовики, а четвертый — чиновник с впалой грудью и вздутым животом, приехавший в командировку из тыла и попавший в районе Гумрака в автомобильную катастрофу. Когда он лежал на спине, сложив руки на животе, казалось, что худому дяде в шутку сунули под одеяло футбольный мяч.

Видимо, по этому ранению и прозвали его «вратарем».

Вратарь, единственный из всех, охал по поводу того, что ранение вывело его из строя. Он говорил возвышенным тоном о родине, армии, долге, о том, что он гордится увечьем, полученным в Сталинграде.

Фронтовые офицеры, пролившие кровь за народ, относились к его патриотизму насмешливо.

Один из них, лежавший на животе вследствие ранения в зад, командир разведроты Крап, бледнолицый, губастый, с выпуклыми карими глазами, сказал ему:

— Вы, видимо, из тех вратарей, которые не прочь загнать мяч, а не только отбить его.

Разведчик был помешан на эротической почве, — говорил он главным образом о половых сношениях.

Вратарь, желая уколоть обидчика, спросил:

— Почему вы не загорели? Вам, вероятно, приходится работать в канцелярии?

Но Крап не работал в канцелярии.

— Я ночная птица, — сказал он, — моя охота происходит ночью. С бабами в отличие от вас я сплю днем.

В палате ругали бюрократов, удирающих на автомобилях под вечер из Берлина на дачи; ругали интендантских вояк, получающих ордена быстрей фронтовиков, говорили о бедствиях семей фронтовиков, чьи дома разрушены бомбежками; ругали тыловых жеребцов, лезущих к женам армейцев; ругали фронтовые ларьки, где продают лишь одеколон и бритвенные лезвия.

Рядом с Бахом лежал лейтенант Герне. Баху показалось, что он происходит из дворян, но выяснилось, что Герне крестьянин, один из тех, кого выдвинул национал-социалистский переворот. Он служил заместителем начальника штаба полка и был ранен осколком ночной авиационной бомбы.

Когда Вратаря унесли на операцию, лежавший в углу простецкий человек, старший лейтенант Фрессер, сказал:

— В меня стреляют с тридцать девятого года, а я ни разу еще не кричал о моем патриотизме. Кормят, поят, одевают, — я и воюю. Без философии.

Бах сказал:

— Нет, отчего же. В том, что фронтовики посмеялись над фальшью Вратаря, есть уже своя философия.

— Вот как! — сказал Герне. — Интересно, какая же это философия?

По недоброму выражению его глаз Бах привычно почувствовал в Герне человека, ненавидящего догитлеровскую интеллигенцию. Много пришлось Баху прочесть и выслушать слов о том, что старая интеллигенция тянется к американской плутократии, что в ней таятся симпатии к талмудизму и еврейской абстракции, к иудейскому стилю в живописи и литературе. Злоба охватила его. Теперь, когда он готов склониться перед грубой мощью новых людей, зачем смотреть на него с угрюмой, волчьей подозрительностью? Разве его не ели вши, не жег мороз так же, как и их? Его, офицера переднего края, не считают немцем! Бах закрыл глаза и повернулся к стенке.

— Для чего столько яду в вашем вопросе? — сердито пробормотал он.

Герне с улыбкой презрения и превосходства:

— А вы будто бы не понимаете?

— Я же сказал вам, не понимаю, — раздраженно ответил Бах и добавил: — То есть я догадываюсь.

Герне, конечно, рассмеялся.

— Ага, двойственность? — крикнул Бах.

— Именно, именно двойственность, — веселился Герне.

— Волевая импотенция?

Тут Фрессер станет хохотать. А Крап, приподнявшись на локтях, невыразимо нагло посмотрит на Баха.

— Дегенераты, — громовым голосом скажет Бах. — Эти оба за пределами человеческого мышления, но вы, Герне, уже где-то на полпути между обезьяной и человеком... Давайте говорить всерьез.

И он похолодел от ненависти, зажмурил закрытые глаза.

— Стоит вам написать брошюрку по любому крошечному вопросу — и вы уже ненавидите тех, кто закладывал фундамент и возводил стены германской науки. Стоит вам написать тощую повесть, как вы оплевываете славу немецкой литературы. Вам кажется, что наука и искусство — это нечто вроде министерств, чиновники старого поколения не дают возможности получить чин? Вам с вашей книжоночкой становится тесно, вам уже мешают Кох, Нернст, Планк, Келлерман... Наука и искусство не канцелярия, это парнасский холм под необъятным небом, там всегда просторно, там хватает места для всех талантов на протяжении всей истории человечества, пока не появляетесь там вы со своими худосочными плодами. Но это не теснота, просто вам там не место. А вы бросаетесь расчищать площадку, но от этого ваши убогие, плохо надутые шары не поднимаются ни на метр выше. Выкинув Эйнштейна, вы не займете его места. Да, да, Эйнштейн, — он, конечно, еврей, но, извините великодушно, гений. Нет власти в мире, которая могла бы помочь вам занять его место. Задумайтесь, — стоит ли тратить столько сил на уничтожение тех, чьи места останутся навек пустыми. Если ваша неполноценность помешала вам пойти по дорогам, которые открыл Гитлер, то в этом виноваты лишь вы; и не пылайте злобой к полноценным людям. Методом полицейской ненависти в области культуры ничего нельзя сделать! Вы видите, как глубоко понимают это Гитлер, Геббельс? Они нас учат своим примером. Сколько любви, терпения и такта проявляют они, пестуя немецкую науку, живопись, литературу. Вот с них берите пример, идите путем консолидации, не вносите раскола в наше общее немецкое дело!

Произнеся безмолвно свою воображаемую речь, Бах открыл глаза. Соседи лежали под одеяльцами.

Фрессер сказал:

— Товарищи, посмотрите сюда, — и движением фокусника вытащил из-под подушки литровую бутылку итальянского коньяка «Три валета».

Герне издал горлом странный звук, — только истинный пьяница, притом крестьянский пьяница, мог с таким выражением смотреть на бутылку.

«А ведь он неплохой человек, по всему видно, что неплохой», — подумал Бах и устыдился своей произнесенной и непроизнесенной истерической речи.

А в это время Фрессер, прыгая на одной ноге, разливал в стоящие на тумбочках стаканы коньяк.

— Вы зверь, — улыбаясь, говорил разведчик.

— Вот это боевой лейтенант, — сказал Герне.

Фрессер проговорил:

— Какой-то медицинский чин заметил мою бутылку и спросил: «Что это там у вас в газете?». А я ему: «Это письма от мамы, я с ними никогда не расстаюсь».

Он поднял стакан:

— Итак, с фронтовым приветом, обер-лейтенант Фрессер!

И все выпили.

Герне, которому тотчас же снова захотелось выпить, сказал:

— Эх, надо еще Вратарю оставить.

— Черт с ним, с Вратарем, верно, лейтенант? — спросил Крап.

— Пусть он выполняет долг перед родиной, а мы просто выпьем, — сказал Фрессер. — Жить ведь каждому хочется.

— Моя задница совершенно ожила, — сказал разведчик. — Сейчас бы еще даму средней упитанности.

Всем стало весело и легко.

— Ну, поехали, — и Герне поднял свой стакан.

Они снова выпили.

— Хорошо, что мы попали в одну палату.

— А я сразу определил, только посмотрел: «Вот это настоящие ребята, прожженные фронтовики».

— А у меня, по правде говоря, было сомнение насчет Баха, — сказал Герне. — Я подумал: «Ну, это партийный товарищ».

— Нет, я беспартийный.

Они лежали, сбросив одеяла. Всем стало жарко. Разговор пошел о фронтовых делах.

Фрессер воевал на левом фланге, в районе поселка Окатовка.

— Черт их знает, — сказал он. — Наступать русские совершенно не умеют. Но уже начало ноября, а мы ведь тоже стоим. Сколько мы выпили в августе водки, и все тосты были: «Давайте не терять друг друга после войны, надо учредить общество бывших бойцов за Сталинград».

— Наступать они умеют неплохо, — сказал разведчик, воевавший в районе заводов. — Они не умеют закреплять. Вышибут нас из дома и сейчас же либо спать ложатся, либо жрать начинают, а командиры пьянствуют.

— Дикари, — сказал Фрессер и подмигнул. — Мы на этих сталинградских дикарей потратили больше железа, чем на всю Европу.

— Не только железа, — сказал Бах. — У нас в полку есть такие, что плачут без причины и поют петухами.

— Если до зимы дело не решится, — сказал Герне, — то начнется китайская война. Вот такая бессмысленная толкотня.

Разведчик сказал вполголоса:

— Знаете, готовится наше наступление в районе заводов, собраны такие силы, каких тут никогда еще не бывало. Все это бабахнет в ближайшие дни. Двадцатого ноября все мы будем спать с саратовскими девочками.

За занавешенными окнами слышался широкий, величественный и неторопливый грохот артиллерии, гудение ночных самолетов.

— А вот затарахтели руссфанер, — проговорил Бах. — В это время они бомбят. Некоторые их зовут «пила для нервов».

— А у нас в штабе их зовут «дежурный унтер-офицер», — сказал Герне.

— Тише! — и разведчик поднял палец. — Слышите, главные калибры!

— А мы попиваем винцо в палате легкораненых, — проговорил Фрессер.

И им в третий раз за день стало весело.

Заговорили о русских женщинах. Каждому было что рассказать. Бах не любил такие разговоры.

Но в этот госпитальный вечер Бах рассказал о Зине, жившей в подвале разрушенного дома, рассказал лихо, все смеялись.

Вошел санитар и, оглядев веселые лица, стал собирать белье на кровати Вратаря.

— Берлинского защитника родины выписали как симулянта? — спросил Фрессер.

— Санитар, чего ты молчишь, — сказал Герне, — мы все мужчины, если с ним что-нибудь случилось, скажи нам.

— Он умер, — сказал санитар. — Паралич сердца.

— Вот видите, до чего доводят патриотические разговоры, — сказал Герне.

Бах сказал:

— Нехорошо так говорить об умершем. Он ведь не лгал, ему не к чему было лгать перед нами. Значит, он был искренен. Нехорошо, товарищи.

— О, — сказал Герне, — недаром мне показалось, что лейтенант пришел к нам с партийным словом. Я сразу понял, что он из новой идейной породы.

12

Ночью Бах не мог уснуть, ему было слишком удобно. Странно было вспоминать блиндаж, товарищей, приход Ленарда, — они вместе глядели на закат через открытую дверь блиндажа, пили из термоса кофе, курили.

Вчера, усаживаясь в санитарный фургон, он обнял Ленарда здоровой рукой за плечо, они поглядели друг другу в глаза, рассмеялись.

Думал ли он, что будет пить с эсэсовцем в сталинградском бункере, ходить среди освещенных пожарами развалин к своей русской любовнице!

Удивительная вещь произошла с ним. Долгие годы он ненавидел Гитлера. Когда он слушал бесстыдных седых профессоров, заявлявших, что Фарадей, Дарвин, Эдисон — собрание жуликов, обворовавших немецкую науку, что Гитлер величайший ученый всех времен и народов, он со злорадством думал: «Ну что ж, это маразм, это все должно лопнуть». И такое же чувство вызывали в нем романы, где с потрясающей лживостью описывались люди без недостатков, счастье идейных рабочих и идейных крестьян, мудрая воспитательная работа партии. Ах, какие жалкие стихи печатались в журналах! Его это особенно задевало, он в гимназии сам писал стихи.

И вот в Сталинграде он хочет вступить в партию. Когда он был мальчиком, он из боязни, что отец разубедит его в споре, закрывал уши ладонями, кричал: «Не хочу слушать, не хочу, не хочу...» Но вот он услышал! Мир повернулся вокруг оси.

Ему по-прежнему претили бездарные пьесы и кинофильмы. Может быть, народу придется несколько лет, десятилетие, обходиться без поэзии, что ж делать? Но ведь и сегодня есть возможность писать правду! Ведь немецкая душа и есть главная правда, смысл мира. Ведь умели же мастера Возрождения выражать в произведениях, сделанных по заказу князей и епископов, величайшие ценности духа.

Разведчик Крап продолжал спать и, одновременно участвуя в ночном бою, закричал так громко, что его крик, наверное, был слышен на улице: «Гранатой, гранатой его!» Он хотел поползти, неловко повернулся, закричал от боли, потом снова уснул, захрапел.

Даже вызывавшая в нем содрогание расправа над евреями теперь по-новому представилась ему. О, будь его власть, он бы немедленно прекратил массовое убийство евреев. Но надо прямо сказать, хотя у него немало было друзей-евреев: есть немецкий характер, немецкая душа, и если есть она, то есть и еврейский характер и еврейская душа.

Марксизм потерпел крах! К этой мысли трудно прийти человеку, чей отец, мать были социал-демократами.

Маркс, словно физик, основавший теорию строения материи на силах отталкивания и пренебрегший силой всемирного притяжения. Он дал определение силам классового отталкивания, он лучше всех проследил их на протяжении всей человеческой истории. Но он, как это часто случается с людьми, сделавшими крупное открытие, возомнил, что определенные им силы классовой борьбы единственно решают развитие общества и ход истории. Он не увидел могучих сил национального надклассового сродства, и его социальная физика, построенная на пренебрежении к закону всемирного национального тяготения, нелепа.

Государство не следствие, государство — причина!

Таинственный и дивный закон определяет рождение национального государства! Оно живое единство, оно одно выражает то, что есть во всех миллионах людей особо ценного, бессмертного, немецкий характер, немецкий очаг, немецкую волю, немецкую жертвенность.

Некоторое время Бах лежал, закрыв глаза. Чтобы уснуть, он стал представлять себе стадо овец — одна белая, вторая черная, снова белая и снова черная, снова белая и снова черная...

Утром, после завтрака, Бах писал письмо матери. Он морщил лоб, вздыхал, — все, что он пишет, будет ей неприятно. Но именно ей он должен сказать о том, что чувствует в последнее время. Приезжая в отпуск, он ничего не сказал ей. Но она видела его раздражение, его нежелание слушать бесконечные воспоминания об отце, — все одно и то же.

Отступник от отцовской веры, подумает она. Но нет. Он-то как раз отказывается от отступничества.

Больные, уставшие от утренних процедур, лежали тихо. Ночью на освободившуюся постель Вратаря положили тяжелораненого. Он лежал в беспамятстве, и нельзя было узнать, из какой он части.

Как объяснить матери, что люди новой Германии сегодня ближе ему, чем друзья детства?

Вошел санитар и вопросительно произнес:

— Лейтенант Бах?

— Я, — сказал Бах и прикрыл ладонью начатое письмо.

— Господин лейтенант, русская спрашивает вас.

— Меня? — спросил пораженный Бах и сообразил, что пришла его сталинградская знакомая, Зина. Как могла она узнать, где он находится? И тут же он понял, что ей сказал об этом водитель ротного санитарного фургона. Он обрадовался, растроганный, — ведь надо было выйти в темноте и добираться на попутных машинах, пройти пешком шесть — восемь километров. И он представил себе ее бледное большеглазое лицо, ее худенькую шею, серый платочек на голове.

А в палате поднялся гогот.

— Вот это лейтенант Бах! — говорил Герне. — Вот это работа среди местного населения.

Фрессер тряс руками, словно отряхивая с пальцев воду, и говорил:

— Санитар, зови ее сюда. У лейтенанта достаточно широкая кровать. Мы их обвенчаем.

А разведчик Крап сказал:

— Женщина, как собака, идет следом за мужчиной.

Вдруг Бах возмутился. Что она вообразила? Как она могла явиться в госпиталь? Ведь офицерам запрещены связи с русскими женщинами. А если б в госпитале работали его родные либо знакомые семьи Форстер? При таких незначащих отношениях даже немка не решилась бы навещать его.

Казалось, что лежащий в забытьи тяжелораненый брезгливо усмехается.

— Передайте этой женщине, что я не смогу к ней выйти, — сказал он хмуро и, чтобы не участвовать в веселом разговоре, сразу же взялся за карандаш, стал перечитывать написанное.

«...Удивительная вещь, долгие годы я считал, что государство подавляет меня. А теперь я понял, что именно оно выразитель моей души. Я не хочу легкой судьбы. Если надо, я порву со старыми друзьями. Я знаю, те, к которым я приду, никогда не будут меня считать до конца своим. Но я скручу себя ради самого главного, что есть во мне...»

А веселье в палате продолжалось.

— Тише, не мешайте ему. Он пишет письмо своей невесте, — сказал Герне.

Бах стал смеяться. Секундами сдерживаемый смех напоминал всхлипывание, и ему подумалось, что так же, как он сейчас смеется, он мог бы и плакать.

13

Генералы и офицеры, не часто видевшие командующего 6-й пехотной армией Паулюса, считали, что в мыслях и настроениях генерал-полковника не произошло перемен. Манера держаться, характер приказов, улыбка, с которой он выслушивал и мелкие частные замечания, и серьезные донесения, свидетельствовали о том, что генерал-полковник по-прежнему подчиняет себе обстоятельства войны.

И лишь люди, особо близкие к командующему, его адъютант, полковник Адамс, и начальник штаба армии генерал Шмидт, понимали, насколько изменился за время сталинградских боев Паулюс.

По-прежнему мог он быть мило остроумным и снисходительным либо надменным, либо дружески входить в обстоятельства жизни своих офицеров, по-прежнему в его власти было вводить в бой полки и дивизии, повышать и снижать в должности, подписывать награждения, по-прежнему курил он свои привычные сигары... Но главное, скрытое, душевное менялось день ото дня и готовилось окончательно измениться.

Чувство власти над обстоятельствами и сроками покидало его. Еще недавно он спокойным взглядом скользил по донесениям разведывательного отдела штаба армии, — не все ли равно, что задумали русские, имеет ли значение движение их резервов?

Теперь Адамс видел: из папки с донесениями и документами, которую он по утрам клал на стол командующему, тот в первую очередь брал разведывательные данные о ночных движениях русских.

Адамс однажды, изменив порядок, в котором складывались бумаги, положил первыми донесения разведывательного отдела. Паулюс открыл

папку, посмотрел на бумагу, лежавшую наверху. Длинные брови Паулюса поднялись, затем он захлопнул папку.

Полковник Адамс понял, что совершил бестактность. Его поразил быстрый, казалось, жалобный взгляд генерал-полковника.

Через несколько дней Паулюс, просмотрев донесения и документы, положенные в обычном порядке, улыбнувшись, сказал своему адъютанту:

— Господин новатор, вы, видимо, наблюдательный человек.

В этот тихий осенний вечер генерал Шмидт отправился на доклад к Паулюсу в несколько торжественном настроении.

Шмидт шел по широкой станичной улице к дому командующего, с удовольствием вдыхал холодный воздух, омывающий прокуренное ночным табаком горло, поглядывал на небо, расцвеченное темными красками степного заката. На душе его было спокойно, он думал о живописи и о том, что послеобеденная отрыжка перестала его беспокоить.

Он шагал по тихой и пустынной вечерней улице, и в голове его, под фуражкой с большим тяжелым козырьком, умещалось все то, что должно было проявиться в самой ожесточенной схватке, которая когда-либо готовилась за время сталинградского побоища. Он именно так и сказал, когда командующий, пригласив его сесть, приготовился слушать.

— Конечно, в истории нашего оружия случалось, что несравненно большее количество техники мобилизовалось для наступления. Но на таком ничтожном участке фронта подобной плотности на земле и в воздухе лично мне никогда не приходилось создавать.

Слушая начальника штаба, Паулюс сидел, ссутуля плечи, как-то не по-генеральски, поспешно и послушно поворачивая голову следом за пальцем Шмидта, тыкавшимся в столбцы графиков и в квадраты карты. Это наступление задумал Паулюс. Паулюс определил его параметры. Но теперь, слушая Шмидта, самого блестящего начальника штаба, с которым приходилось ему работать, он не узнавал свои мысли в деталях разработки предстоящей операции.

Казалось, Шмидт не излагал соображения Паулюса, развернутые в боевую программу, а навязывал свою волю Паулюсу, против его желания готовил к удару пехоту, танки, саперные батальоны.

— Да, да, плотность,— сказал Паулюс.— Она особенно впечатляет, когда сравниваешь ее с пустотой на нашем левом фланге.

— Ничего не поделаешь,— сказал Шмидт,— слишком много земли на востоке, больше, чем немецких солдат.

— Это тревожит не только меня,— фон Вейхс мне сказал: «Мы били не кулаком, а растопыренными пальцами, расходящимися по бесконечному восточному пространству». Это тревожит не только Вейхса. Это не тревожит лишь...

Он не договорил.

Все шло так, как нужно, и все шло не так, как нужно.

В случайных неясностях и злых мелочах последних боевых недель, казалось, вот-вот раскроется совсем по-новому, безрадостно и безнадежно, истинная суть войны.

Разведка упорно доносит о концентрации советских войск на северо-западе. Авиация бессильна помешать им. Вейхс не имеет на флангах армии Паулюса немецких резервов. Вейхс пытается дезинформировать русских, устанавливая немецкие радиостанции в румынских частях. Но от этого румыны не станут немцами.

Казавшаяся вначале победоносной африканская кампания и блестящая расправа с англичанами в Дюнкерке, в Норвегии, Греции, не завершившаяся захватом Британских островов; колоссальные победы на востоке, тысячекилометровый прорыв к Волге, не завершенный окончательным разгромом советских армий. Всегда кажется — главное уже сделано, и если дело не доведено до конца, то это только случайная, пустая задержка...

Что значат эти несколько сот метров, отделяющих его от Волги, полуразрушенные заводы, обгоревшие, пустые коробки домов по сравнению с грандиозными пространствами, захваченными во время летнего наступления?.. Но и от египетского оазиса отделяли Роммеля несколько километров пустыни. И для полного торжества в поверженной Франции не хватило нескольких дюнкерских часов и километров... Всегда и всюду недостает нескольких километров до окончательного разгрома противника, всегда и всюду пустые фланги, огромные пространства за спиной победоносных войск, нехватка резервов.

Минувшее лето! То, что он пережил в те дни, дано, видно, испытать лишь однажды в жизни. Он ощутил на своем лице дыхание Индии. Если б лавина, сметающая леса, выжимающая из русел реки, способна была чувствовать, то она бы чувствовала именно то, что ощущал он.

В эти дни мелькнула мысль, что немецкое ухо привыкло к имени Фридриха,— конечно, шутливая, несерьезная мысль, но все же была она. Но именно в эти дни злая, жесткая песчинка скрипнула не то под ногой, не то на зубах. В штабе царило торжественное и счастливое напряжение. Он принимал от командиров частей письменные рапорты, устные рапорты, радиорапорты, телефонные рапорты. Казалось, то уж не тяжелая боевая работа, а символическое выражение немецкого торжества... Паулюс взял телефонную трубку. «Господин генерал-полковник...» Он узнал по голосу, кто говорит, интонация военных будней совершенно не гармонировала с колоколами в воздухе и в эфире.

Командир дивизии Ведлер доложил, что русские на его участке перешли в наступление, их пехотному подразделению, примерно усиленному батальону, удалось прорваться на запад и занять сталинградский вокзал. Именно с этим ничтожным происшествием прочно связалось рождение томящего чувства.

Шмидт прочел вслух проект боевого приказа, слегка расправил плечи и приподнял подбородок, знак того, что чувство официальности не покидает его, хотя между ним и командующим хорошие личные отношения.

И неожиданно, понизив голос, генерал-полковник, совсем не по-военному, не по-генеральски, сказал странные, смутившие Шмидта, слова:

— Я верю в успех. Но знаете что? Ведь наша борьба в этом городе совершенно не нужна, бессмысленна.

— Несколько неожиданно со стороны командующего войсками в Сталинграде,— сказал Шмидт.

— Вы считаете — неожиданно? Сталинград перестал существовать как центр коммуникаций и центр тяжелой промышленности. Что нам тут делать после этого? Северо-восточный фланг кавказских армий можно заслонить по линии Астрахань — Калач. Сталинград не нужен для этого. Я верю в успех, Шмидт: мы захватим Тракторный завод. Но этим мы не закроем нашего фланга. Фон Вейхс не сомневается, что русские ударят. Блеф их не остановит.

— В движении событий меняется их смысл, но фюрер никогда не отступал, не решив задачи до конца,— проговорил Шмидт.

Паулюсу казалось, что беда именно в том, что самые блестящие победы не дали плодов, так как не были с упорством и решительностью доведены до конца; в то же время ему казалось, что в отказе от решения потерявших смысл задач проявляется истинная сила полководца.

Но, глядя в настойчивые и умные глаза генерала Шмидта, он сказал:

— Не нам навязывать свою волю великому стратегу.

Он взял со стола текст приказа о наступлении и подписал его.

— Четыре экземпляра, учитывая особую секретность,— сказал Шмидт.

(Продолжение следует.)

Болевые зоны

Жизнь и судьба человека в эпоху исторических катаклизмов — величайшая по своему трагизму и гуманистическому пафосу тема литературы. Романное мышление вообще дается только писателям с развитой гуманистической мироконцепцией: свобода романного действия неотторжима от признания свободной и суверенной личности, находящейся в центре истории и социальной жизни.

Война обострила внимание к гуманистическим основам бытия, ибо, с одной стороны, дала примеры чудовищного насилия над личностью, унижения достоинства, чести, духовного начала человека, а с другой — обнаружила высокие нравственные и духовные потенции личности, массовые взлеты героизма и самоотвержения. Эти перепады, эту амплитуду и старается уловить Василий Гроссман.

«В Сталинграде, где выяснилось, как хрупко и непрочно бытие человека,— писал он еще в романе «За правое дело»,— ценность человеческой личности обрисовалась во всей своей мощи». Последствия битвы на Волге были действительно велики, послужили как бы восклицательным знаком к той ясной мысли, которая уже начала выкристаллизовываться в сознании миллионов: борьба за правое дело непременно приведет к победе; нельзя покорить страну, народ которой не пожелал смириться.

После сталинградской капитуляции, пишет Гроссман, началось и очеловечивание тех немцев, чьи мозги были затуманены фашистской идеологией и военными победами. В романе «За правое дело» даже неглупые немцы на гребне успеха опьяненно признавали себя нацией, поднявшейся выше человеческих законов. В беседе Ленарда и Баха один чванливо вещал: «Мы победили не только большевиков и русское пространство — мы избавили самих себя от бессилия гуманизма», а другой вторил: «И только в этот час победы я понял: эта битва идет по ту сторону добра и зла... В мир пришла новая религия, жестокая, яркая, она затмила мораль милосердия и миф интернационального равенства». И совсем иное станут говорить они в финале сталинградского сражения: их судьба будет свидетельствовать о начале очеловечивания гитлеровцев.

Гроссман безоговорочно верил в необходимость революционных преобразований, в возвышающую силу и разумность революционных идеалов. Поэтому и война против фашизма для него — война за правое дело. Как и его Крымов, он убежден: «Да, да, да. Война, поднявшая громаду национальных сил, была войной за революцию». Но он ожидал, что очистительная война, подтвердившая единение нашего общества, принесет советским людям новое, свободное дыхание.

В разных вариантах возникает эта мысль в романе. То кто-то вслух помечтает о том, что жизнь в колхозах будет полегче. Ершов, организуя сопротивление в гитлеровском концлагере, подумает, что он тем самым «борется за свободную русскую жизнь, победа над Гитлером станет победой и над теми лагерями, где погибли его мать, сестры, отец». Наконец, то ли Крымов, то ли сам автор заметит: «Почти все верили, что добро победит в войне и честные люди, не жалевшие своей крови, смогут строить хорошую, справедливую жизнь». Но мы знаем, что и послевоенное десятилетие было отмечено крутыми сталинскими методами; насилие было явным, желанная свобода не наступила. Отсюда и рождается трудный для писателя вывод: «Сталинградское торжество определило исход войны, но молчаливый спор между победившим народом и победившим государством продолжался. От этого спора зависела судьба человека, его свобода».

Надежда на иную жизнь после войны была не только у Гроссмана. Гранинский «Зубр» — Тимофеев-Ресовский — не вернулся в Советский Союз, когда его официально вызывали в 1937 году: он знал, что его репрессируют. Но вернулся в 45-м, ибо поверил, что после войны, после такого народного жертвоприношения жизнь будет свободной и справедливой.

В. Кондратьев в интервью по поводу своего нового романа «Красные ворота» вспомнил: «После войны все ждали каких-то перемен. Надеялись, что Ста-

лин, убедившись в верности и преданности народа-победителя, прекратит репрессии, но этого не произошло».

А по записи А. Гладкова, Б. Пастернак объяснил свое намерение возвратиться к работе над «Доктором Живаго» тем, что не оправдались «ожидания перемен, которые должна принести война России...».

Поэтому удивляться художественному сгущению в представленных Гроссманом картинах или видеть в них злонамеренное очернение — нелепо. Это был гуманистический вскрик, гуманистический нажим и нисколько не искажение, не очернение. О многом в романе сказано жестче, чем нам хотелось бы или к чему мы привыкли. Но столь многое перекликается с описанным в позднейших книгах — о фильтрационных лагерях у Ю. Пиляра и П. Проскурина, о коллективизации у С. Залыгина, о голоде 30-х годов в «Драчунах» М. Алексеева. Просто сказанное в «Жизни и судьбе» тогда еще приводило в трепет, казалось слишком вызывающим, ибо не ограничивалось художественной констатацией отдельных фактов, отдельных сторон общей правды, а было сведено в целостную систему. Мы же и по сию пору готовы принять факты, но пугаемся обобщать их, подвергать анализу их истоки и следствия.

С той же вдумчивостью, с какой Василий Гроссман постигал закономерности войны и неизбежность победы светлых сил над фашизмом, олицетворяющим насилие, хотел он понять истоки и следствия культа личности.

Коллективизация, 1937 год, гонения по национальному признаку — вот для него три клавиши, три наиболее очевидных свидетельства губительных последствий сталинского руководства. Нажимая эти клавиши, он дает возможность услышать, почему был возможен и какими губительными чертами характеризовался культ личности и почему мы все-таки победили в этой страшной войне, хотя заплатили в ней немалую цену и за его последствия.

Легко заметить, что литература 80-х годов настойчиво обращается к двум периодам — коллективизации и массовым репрессиям 30-х годов. Сходное положение было и в начале 60-х. И поскольку тогда литературе не дали досказать необходимую правду, она вынуждена вновь обращаться к этим наиболее жестоким проявлениям сталинского произвола. И будет обращаться, пока не освоит в своем миропознании этот рубеж, не выразит полную, без крайностей и недомолвок, правду.

Пожалуй, Гроссман первым столь резко сказал о перегибах коллективизации — «На Иртыше» С. Залыгина выйдет только в 1964 году, еще позже будут «Мужики и бабы» Б. Можаева, «Касьян остудный» И. Акулова, «Кануны» В. Белова. А о спецпереселенцах будут строки в романе «Дети Арбата» А. Рыбакова и повести «Васька» С. Антонова. Сегодня мы уже привыкли к тому, что литература сосредоточила внимание на перегибах сплошной коллективизации, и может даже показаться, будто ничего нового мы из «Жизни и судьбы» не узнали. Но все-таки оценим, что Гроссман сказал раньше других, это его гуманистическая боль сказала. Дело, разумеется, не в том, кто первый произнес «а», а в том, что уже на рубеже шестидесятых годов писатель оказался в состоянии понять и сказать жестокую правду.

Даже самые упоительные нынешние формулы вроде той, что «колхозный строй, как и вся наша политическая система, выдержал жестокую проверку в схватке с фашизмом», несут в себе зерно какой-то неуверенности, оборонительности. Да и нелепа сама постановка вопроса о «проверке». Русские крестьяне-ратники и при крепостном праве одержали немало побед над иноземными захватчиками — выходит, выдержали проверку крепостное право и царское самодержавие?! И таких страниц, «лавуалирующих», по меткому слову В. Овечкина, фраз стало у нас в ходу немало. Меж тем победа колхозного строя, будучи фактом нашего исторического прошлого, не снимает потребности разобраться в том, какие болевые зоны обнаружились при этом. Важно другое: в «Жизни и судьбе» как раз и показано, что, несмотря на все трагические перегибы прошлых лет, советское крестьянство сохраняло веру в возможность наладить после войны справедливую колхозную жизнь.

Для Гроссмана, у которого очень точное отношение к слову, совсем не случаен почти всегда слитный оборот «сплошная коллективизация». Он не против коллективизации, он против сплошной — поспешной и насильственной. Его тревожило, как извратили саму ленинскую идею кооперирования тогдашние методы ее проведения в жизнь, как была искажена благая цель дурными средствами и беспримерной жестокостью: вспомним посещение Ершовым отца-спецпереселенца.

Любопытно, что нынешние прозаики-«деревенщики», воссоздавая перегибы коллективизации, главный упор делают на то, что высылка крепких хозяев необратимо подорвала во всем крестьянстве хозяйское чувство и тем самым немало способствовала плачевному положению дел в сельском хозяйстве. «Горожане» же С. Антонов, В. Гроссман, А. Рыбаков не влезают в последствия этой поспешности для деревенской жизни, их потрясает проявление жестокости. Решение «уничтожить как класс» миллионную массу крестьян с женами, детьми невольно вызывает у Гроссмана ассоциацию с гитлеровским решением уничтожить евреев как нацию вместе с детьми, поголовно. «Ужасно убивать евреев за то, что они евреи... Но ведь у нас такой же принцип — важно, что... из кулаков, из купцов. А то, что они хорошие, злые, талантливые, добрые, глупые, веселые —как же?» — мучительно думал Штрум. В возможности тотального уничтожения нации или части ее и видел писатель угрозу жизни, посягательство на свободную судьбу человека.

К тому же он связал это (такова гроссмановская аналитическая мысль в действии!) с высылкой из родного края целых народов. Такое возмездие воспринималось им как страшное потрясение гуманистических основ: вкупе с безусловно виноватыми карать невинных людей, изгонять женщин и детей да еще подчас за мнимые проступки близкого им человека!

Можно представить, как трудно было на рубеже 60-х годов ломать стереотипы канонизированного оправдания высылки семей, если многим из нас и сегодня еще трудно в себе сломать это. Даже сегодня! Резкой болью отозвался в «горожанах» А. Рыбакове, Ю. Трифонове, Вас. Гроссмане и 1937 год — еще одно тотальное покушение на свободу.

Волна репрессий 30-х годов коснулась огромной массы людей, и почти все герои романа так или иначе задеты ее всплесками: у радистки Кати был арестован отец, в спецпоселении погибли родители и две сестры у Ершова, репрессированы несколько человек в семье Шапошниковых. Но были и такие, как Неудобнов, которые азартно проводили эти акции и стали генералами, хотя и попали теперь «по недостатку военного опыта» в подчинение к полковнику. О репрессиях 1937—1938 годов в романе сказано бескомпромиссно и прямо, как о преступлениях на почве злоупотребления властью. В те годы слова Мадьярова о том, что он не верит в виновность осужденных военачальников, еще не имели официального подтверждения и выглядели «крамолой». Сегодня мы снова услышали ясные слова М. С. Горбачева о тех годах: «Я думаю, что мы никогда не можем и не должны прощать или оправдывать то, что было в 1937—1938 годах. Никогда... Потери были серьезные, большие, мы знаем, чем обернулись 37—38 годы, как это ударило по кадрам в партии и среди интеллигенции и по военным кадрам. И тем не менее мы обязаны видеть, какая же огромная сила заключена в социализме, в нашем строе, который и это выдержал, вступил в схватку с нацизмом и победил». Вот это и есть сердцевина романа: не можем прощать и оправдывать, но тем не менее обязаны видеть...

И опять Гроссмана интересует не столько даже конкретно-историческое содержание репрессий, сколько их антигуманистическое содержание, противоречащее революционным идеалам.

Страшным было физическое исчезновение людей, но едва ли не страшнее оказалось то, что у миллионов людей, оставшихся на свободе, было подавлено чувство достоинства и уверенности. Подлый свинцовый страх, пронизавший тех, кто случайно, бессистемно уцелел, и тех, кто занял место репрессированных,— вот что губительно отразилось на всей жизни общества. Чуть не высшей доблестью выглядит в романе решение командира корпуса задержать на несколько минут намеченный ввод танков, чтобы подавить уцелевшие огневые точки и избежать лишних потерь. Казалось бы, пустяк: задержать на восемь минут, но автор пишет с высоким пафосом: «Есть право большее, чем право посылать, не задумываясь, на смерть, право задуматься, посылая на смерть». Для него велик командир, исполнивший эту ответственность в период всеобщего «исполнительства»!

«Мирные» наши произведения уже во множестве показали эту безынициативность, боязнь нарушить указание сверху, видя в ней разъедавшую силу бюрократизма. Но Гроссман-то пытался добраться до того, какую роль в упрочении самих бюрократических искажений сыграл страх, сковавший души людей в предвоенные годы. Этот тяжелый, непреодолимый страх нельзя было превозмочь личным отважным поступком, потому что это особый страх, «написанный зловещими переливающимися буквами в зимнем свинцовом небе Москвы,— Госстрах». Удивительный образ, переосмысливающий привычное для всех слово в «государственный страх»! Писатель понимал, что для того, чтобы не повторялось подобное, нужно потрясти души людей, как сейчас писатели и кинематографисты стараются потрясти души людей картиной ядерного апокалипсиса: в таких вещах неуместно сглаживание, успокоение, ссылка на случайность. Случайный апокалипсис ничуть не лучше неслучайного. И нужно уметь отличать художническую боль от злонамеренного сгущения красок.

Кое-кто в редакции «Знамени», куда была отдана в 1961 году рукопись «Жизни и судьбы», усмотрел в романе аллюзии. Был какое-то время у нас в ходу такой термин по отношению к некоторым инсценировкам русской классики и изображению зарубежной жизни, которым неистовые ревнители обозначали хитрый намек на то, что подобное происходит и в нашей жизни, тогда как у нас, по их мнению, ничего плохого не существовало—ни нарушений законности и демократии, ни социальных пороков. И аллюзии, как действительно имевшие место, так и — гораздо чаще — примстившиеся, были следствием деформации, вызванной недостатком гласности и демократии. Разве требуются хитроумные аналогии в условиях свободного художественного творчества?!

Но в «Жизни и судьбе» нет аллюзий. Как не было и успокоительных иллюзий; честно и прямо говорится в романе о губительных чертах культа личности, без понимания которых нельзя не только полно и правдиво представить то время, но и осознать сегодняшние и грядущие пути советского общества.

С высоты нашего исторического знания после XXVII съезда партии легко сейчас перепроверить сказанное Гроссманом, увидеть, в чем он был прав и в чем заблуждался. Мы теперь более точно сформулировали многое, как, вероятно, более точно сформулировал бы это и сам писатель сегодня. Но тогда, больше четверти века назад, он еще бился об эти вопросы, пытаясь разрешить их для себя и читателей. И это, наверное, самое главное: он бился об эти вопросы как художник, выросший на идеалах революции, с болью ощущая мели и водовороты в практическом их осуществлении.

Страстность защиты идеалов побуждала в каких-то случаях к таким выводам, которые сегодня кажутся нам еще чрезмерными или неприемлемыми. Но сколь многое из того, что поначалу — год-полтора или несколько месяцев назад — тоже казалось неприемлемым или чрезмерным, сегодня уже воспринимается как очевидное, общепризнанное.

Впрочем, временами в «Жизни и судьбе» все-таки недостаточно разграничиваются сталинский «отпечаток» и глубинная суть социалистического строя. Автор, видимо, увлекся внешне заманчивой параллелью: как характер Гитлера «глубоко и полно выразил характер фашистского государства», так характер Сталина выразил черты Советского государства — и довольно последовательно проводит эту параллель, сопоставляя с присущей ему прямотой фашизм и культ личности, суть фашистского порядка с деформациями социалистической системы. Ему представлялось, что столкнулись два тоталитарных по своему характе-

ру государства и лишь бесконечное народное самоотвержение в борьбе за правое революционное дело, за родину, за уничтожение фашизма позволило выиграть войну.

Что же видел он сходного в методах руководства двух вождей противоборствующих государств? Давящее всевластие авторитетности, «истребительную силу государственного гнева», поглощение бюрократией демократических функций общества, опору на насилие, «хирургический нож» по отношению к личности, подыскивание «внутреннего врага», на которого можно свалить неудачи и против которого можно организовать ненависть масс. В одном случае то были евреи (уничтожить евреев как нацию), в другом — кулаки (ликвидировать кулачество как класс).

Отсюда идут и многие иные вопросы: что же такое тоталитарное государство, как связаны жизнь личности и власть государства, в чем разница и сходство между механизмом действия фашистского и сталинского государства? Об этом размышляют и спорят многие герои — Мостовской, Лисс, Бах, Мадьяров, Каримов. Для автора это спор об исторических судьбах человечества, о возможных путях развития социалистической демократии — то, над чем так мучительно размышлял в последние годы жизни Гроссман и чем сегодня так озабочены наши политики, ученые, писатели, отыскивая пути преодоления той административно-командной системы партийно-государственного руководства, которая утвердилась в годы культа личности.

Можно ли отнять у художника право на раздумья и сомнения, можно ли «закрыть тему», сославшись на то, что все необходимые формулировки уже высказаны в партийной печати? Пусть его мысли подчас спорны, неожиданны, но это опять-таки от раздумий над путями, а не от сомнений в самих идеалах.

Штрум думает о том, что Россия была тысячу лет страной самодержавия и самовластья и за это время в массе людей воспиталось уважение к сильной руке, хотя и не было за тысячу лет власти, подобной по своей жестокости сталинской. Над тем, почему именно Сталин стал преемником Ленина, размышляет Крымов, приходя к убеждению, что «Ленин до последних своих дней не знал и не понимал, что дело Ленина станет делом Сталина».

Верный своей поэтике, настроенной на то, чтобы обнажать даже самые крайние взгляды, Гроссман дает слово и не истратившему своей злобы эмигранту-меньшевику Чернецову. Напористо пытается тот внушить Мостовскому: жестокости, сопутствующие советскому строительству, являются неизбежным следствием революции в одной стране. Прав в этом заочном споре не Чернецов, а Крымов. Но Гроссман не удовлетворяется простым ответом.

В сложном переплетении причин: в привычке к «сильной руке» и покорности, в революционном ожесточении народа, согласии с уничтожением сословий и высылкой целых народностей, поддержке репрессий рядовыми коммунистами,— искал писатель отгадку столь легко удавшихся Сталину устрашительных действий, не скатываясь до простых «отмычек»: восточный деспотизм, подозрительность, властолюбие и тому подобное.

Намеренно сводит Гроссман два лагеря, советский и немецкий,— ведь он видит войну как кульминацию «глобальной» схватки насилия и свободы. В масштабах этой антиномии он и отыскивает какие-то общие социально-исторические закономерности, способствовавшие насилию над свободой.

Так, гитлеровец Ленард говорит: «Теперь особенно видна мудрость партии. Мы без колебания удаляли из народного тела не только зараженные куски, но с виду здоровые части, которые могли загнить... Восстаний не будет, даже если враг начнет окружать нас не на Волге, а в Берлине». А немного раньше наш Неудобнов восхищался: «Вот видите, какие чудеса могут творить наши люди, когда среди них нет врагов и диверсантов». Битва на Волге оправдывает в их глазах правильность изъятия «с виду здоровых частей»!..

Есть и более обширные параллели, особенно в беседе Лисса и Мостовского, вернее не беседе, а монологе Лисса, поскольку Мостовской не хочет вступать в спор с философом-убийцей. Противопоставляя два партийных государства традиционной западной демократии, Лисс всячески старается доказать, что оба государства — «формы одной сущности», что социализм в них явился высшим выражением национализма и что воля вождей Сталина и Гитлера «родила национальный социализм государства». Мостовской понимает, что «не в мусоре нужно искать существо различия и сходства, а в замысле строителя, в его мысли», и тогда обнаружится разная суть, но в то же время искусительный монолог Лисса вновь пробудил в Мостовском те сомнения, которые просыпались в нем и прежде, как просыпались они у Баюкова и Шварца в трифоновском «Исчезновении», у Будягина и Кирова в «Детях Арбата» — у тех старых большевиков, что видели искажение социалистической демократии в сталинских методах руководства страной. И понятно, почему Мостовской то отгонял от себя эти сомнения, боясь, что они закроют суть, то полагал, что в них-то, быть может, и есть «зерно революционной правды», «динамит свободы». Так проходит старый коммунист через сомнения, попадает на край пропасти отчаяния и вновь обретает веру. Но такая триада — от сомнений к отчаянию и затем вере — заложена и в построении всего романа: автор открывает сомнения своих героев, порой подводит к пропасти отчаяния, чтобы затем утвердить веру в торжество правого дела. Это и есть подлинная правда: принять высокий замысел строителя, не забывая о пропастях на пути его осуществления.

И здесь автор полагается на наше здравое восприятие. По привычным канонам нашей литературы Мостовской должен был бы непременно давать развернутый и обстоятельный отпор злокозненным суждениям Чернецова и Лисса по всем пунктам, но Мостовской своими репликами предостерегает нас и одновременно заставляет задуматься. А в самостоятельной работе мысли — залог прочной убежденности.

К сожалению, сохранились в рукописи просто-напросто опрометчивые сближения. Например, нажим на то, что немецкое насилие над евреями свершалось на той земле, на которой еще недавно раздувалась ярость масс против кулаков и проходило истребление «троцкистско-бухаринских выродков». Или фраза о всевластии государственной машины, где в равной мере ставятся в вину нашему государству смерть ленинградцев от голода во время блокады, а гитлеровскому государству умерщвление голодной смертью советских военнопленных. С такого рода сближениями никак нельзя согласиться, да и сам писатель, я убежден, понял бы и снял их, окончательно шлифуя роман для публикации.

Но эти и некоторые другие перехлесты ищущей мысли Гроссмана не могут ни скрыть, ни поставить под сомнение ту гуманистическую мироконцепцию, которой был одушевлен писатель. Сильно и прямо поставил он проблему государства — государства и общества, государства и личности. Показав державную мощь социалистического государства, собранную для отпора фашизму — только сильному государству было дано одолеть гитлеровскую военную машину! — он в то же время вглядывался в издержки этой мощи.

Теперь-то мы достаточно полно знаем, каковы эти издержки, открыто и свободно пишем о них, взяв курс на обновление социализма, революционную перестройку всех сторон жизни нашего общества. Не ставя под сомнение социалистические основы нашей жизни, такая постановка вопроса предполагает решительное преодоление издержек и деформаций, значительная часть которых возникла именно во времена культа личности.

И роман «Жизнь и судьба» вновь подтверждает, что проницательные и честные писатели еще в те годы видели необходимость обновления. Не отчаяние вело рукой Гроссмана в его обнаружении болевых зон, а вера! Вера в торжество правого народного дела.

А. БОЧАРОВ

Юлия НЕЙМАН

Новые стихи

Осень

Сырели стены: в доме шел ремонт.
На всем лежал налет белесой пыли.
Вдвоем они окно, смеясь, открыли...
Был трубами утыкан горизонт.
Заставлен крышами. Урезан черной
Полоской дыма — в угол из угла.
И только осень емко и просторно
Дома, дворы и дали облегла...

Ничем их встреча не была важна.
Случайные знакомые по югу,
Они опять увидели друг друга.
По двадцать лет им было. У окна
Они стояли. Ветерок сквозной
Гулял по гулкой и пустой квартире.
Но в этот миг их двое было в мире.
...А сумерки ползли за их спиной,
Перемещая тени и предметы...
На лапах стол присел, как некий зверь...
Вдруг, зашуршав таинственно газетой,
За их спиной приотворилась дверь.
И женщина, похожая на осень,
Скользнула в комнату. И недвижим
Был взгляд ее. Она была курносей
И выше, чем положено живым.
Шуршали складки, как сухие листья.
И старомоден платья был покрой,
Которое маляр заляпал кистью.
Пахнуло нежилью, землей сырой...

Но запах рока, сырость нежилую
Они не слышали сквозь поцелуи.

Бурьян

Не доверяйтесь простодушью
Дворовых низкорослых трав...
Плечами пожимаешь, слушая
Их спор в защиту шкурных прав.

Взращен раздором и безвременьем
Любой лопочущий лопух.
Двор засорен крапивным семенем,
В нем властвует мещанский дух.

Он весь пузырится и пенится
От мелкотравчатых обид.
Задиристое поколеньице
Урвать побольше норовит...

И, подступая у околицы,
Цепляется, сбивает с ног,
Плюется ядом, жжется, колется
Чертополоший злой мирок.

* * *

...И мне припомнились мои рассветы —
Все паруса рассветов... Все обманы.
И звезды — рваные, сквозные раны
На побелевшем обморочном небе.

Моя поруганность.
Мой женский жребий.
Мои рассветы...
Траурная свита
Рассветов, на которых я убита.

* * *

Не бранятся рядом. И не плачут.
Нынче ты живешь иной судьбой...
Что же он перед тобой маячит,
Городок, оставленный тобой?

Длинные бараки. Сопки, сопки...
Дети, прижитые без любви...
Нехотя протоптанные тропки —
Хмурые товарищи твои.

Те, что устают не по уставу,
Не в пример героям из кино...
...Ты о них забыть имеешь право.
Это сгинуло давным-давно,

Это с прошлым отошло куда-то,
И не мы, не мы тому виной!
...Чем же я пред ними виновата?
Что ж они стоят передо мной?

* * *

Когда любовная помеха
Уйдет из жизни человека,
Похоже — человек пропал,
Он в деле жизни стал профан,
Он, вправду, человек отпетый —
Без песен, без тепла и света.

И должен он, сдирая кожу,
Ползком вползать на перевал,
Платя все круче, все дороже
За то, что он задаром брал.

Смерть поэта

Не все ли равно, как зовется капкан
И чем обозначат его в послесловье:
Безгласной эпохой?
Опасной любовью?
Собаньскою?
Иль Айседорой Дункан?
Не все ли равно, как зовется капкан?..

Любой, он захлопнется: поздно иль рано...
Нет, рано!.. Всегда — преждевременна рана.
До срока приказ исполнителям дан.

А если молить о прощении?.. Если
Отречься?.. Ничем не смягчить приговор!
Наемник на месте: Мартынов, Дантес ли
Рукою рачительной целят в упор.
А если и сам: «Никого не виню...»?
Не все ли равно, как зовут западню?

Любая замкнется...
И канешь в туман
За то, что пришел, подглядел и увидел.
Умнее любил. И добрей ненавидел...
...И так ли уж важно, как звался капкан?

* * *

Мы стали взрослыми в недобрый час
И в мир вошли не с лестницы парадной.
Огнь очистительный бледнел и гас,
А головешки догорали чадно,
Пуская нам в лицо бумажный дым.
Мы слабо различали, что — за ним,
Признав без возражения, заране
Ненужность своего существованья.

Измладу мысль была нам внушена
(Мы согласились с ней по доброй воле!),
Что всем нам, вместе взятым, — грош цена,
А каждый порознь — что-то вроде моли.
И мы, с ничтожеством своим смирясь,
Тем, кто сильней, — прощали кровь и грязь.

Прощали кровь (заие — священна месть!),
Невежество (повинны ли бедняги,
Что мало книг им удалось прочесть?!)
И защищали вслух и иа бумаге
То, с чем смириться не могла душа,
Себе не веря и себя круша.

Суд идет...

В зал, где заседают мудрецы,
Озираясь, входят мертвецы.

Кто — поодиночке, кто — вдвоем
В полусгнившем рубище своем.

И, когда выносит сытый хор
Времени былому приговор,

На трибуне возникает гость,
Поднимает лучевую кость.

Вадим ЧЕРНЯК

Из лирики

Метель

Мальчик, мальчик
в стираных штанах,
курточке двуцветной,
ты в каких остался временах
дали безответной?

Льды ли плыли по Москве-реке,
солнце ли палило?
Выцветали в мятом дневнике
красные чернила.

Узнаю тебя едва-едва,
как на снимке блеклом.
Или это снега кружева
расползлись по стеклам?
Давний мир —
в метели предо мной,
с распорядком школьным,
звонкой елкой, горкой ледяной
и мячом футбольным...

С полем, где кричат перепела,
озером дремотным...
Помнится, и девочка была
в мире том бесплотном.
Снова, как из глубины веков,
как со дна колодца,
стук ее веселых каблучков
в сердце отдается.
Ожидаю:
вот взойдет звезда —
не вздохну, не вскрикну,
соберусь и скроюсь —
в никуда!
Сквозь года проникну.
В старом,
здесь не виданном пальто
подойду к сараю.
— Мальчик, мальчик!..
— Дяденька, ты кто?
Я тебя не знаю.

* * *

Закончили вторую мировую.
Утерли пот. Пошли на мировую.
В стальные сейфы спрятаны дела.
Голубка мира в небе проплыла...

Солдат
на номерном заводе служит,
работает с зари и до зари
(такие деньги, что ни говори!),
готовит сына в сменщики. Не тужит.

Лишь сухари на всякий случай сушит,
на всякий случай сушит сухари.

* * *

Забываю
события, факты
и трактаты, и тракты.
Этот старенький трактор, к примеру,
может, НАТИ, а может, «фордзон»...
Принимаю на веру:
— Вам веселенький лучше фасон.
Из моделей на данный сезон...
Сшил пальто.
Вышло не по размеру.
Забываю слова.
Что там дождик осенний бормочет,

пугая вечерних котов?
Ах, пустая моя голова!
Пять страниц из романа —
как прочерк!
Получаю письмо:
боже, чей это почерк?!
Забываю походки и лица,
очертанья домов и мостов.
Засыпает столица —
теперь в тишине, может быть,
все припомню живей.
Как же звали ту женщину?

Как ты мог позабыться,
номер воинской части моей?
Как чертежной резинкою,
начисто в памяти стерло
полигоны и стрельбища,
площади и города.
Надо мною
бесплотное Время
крыла распростерло.
В пору крикнуть: «Тону!»
Разучился кричать.
Навсегда.

* * *

Жарко спорили, мяли букеты,
углублялись в иные века,
рассуждали о судьбах планеты,
наших судеб касались слегка.

Полчаса их бесплотные тени
колыхались в свету фонаря,
и у женщин замерзли колени
на холодном ветру октября.

Я в надсадный их спор не мешался.
И хотелось мне больше всего,
чтоб прохожий навстречу попался,
зажигалка б нашлась у него.

Тамада

Грузинские тосты люблю...
Чуть-чуть захмелели соседи
по пиршественному столу,
и, кажется, время беседе,
раздумьям и спорам — тогда
внезапный, как смерч, тамада
наполненный рог поднимает,
молчанья уверенно ждет,
и каждый его понимает.

А он произносит слова,
доверясь их страсти и силе,
и сумерки не признает,
что к самым столам подступили,
не слышит, как телка мычит,
движок отдаленный стучит,
и в мерный, нестройный, застольный,
едва осязаемый гул
вплетается звон колокольный.

Он рог наполняет вином,
кого-то в углу занимает,
внимает ответным речам,
приветствует и поминает.
Он знает, о чем говорит,
поскольку над нами царит
составленный мудро и просто
и свято хранимый Закон
О произнесении Тоста.

Спасибо тебе, тамада,
за то, что ты весел и грустен
и в трудном своем ремесле
уверен, толков, безыскусен.
Мы, гости на этом пиру,
твою принимаем игру —
владей нашим царством! Не сетуй!

И новые тосты скажи,
и старым обычаям следуй.

Нам невыразимо легко.
В нас добрые помыслы зреют.
Покорные наши сердца
оттаивают и светлеют.
Мы песню готовы начать,
а может быть, и помолчать,
взирая на диск величавый,
застывший среди синевы
вон там, над горою двуглавой.

* * *

То ли Пскова, то ли Мозыри
звезды блещут и дрожат.
То ли рыба плещет в озере,
то ли ставни дребезжат.

Это роща или пастбище
белым светится пятном?
Это город или капище
стынет в воздухе ночном?

Может, Тотьма, может, Белавеж —
вся в поземке голубой...
Что-то ты сегодня делаешь,
Чьи-то звезды над тобой?

Владимир ЗУЕВ

Правила игры

ПОВЕСТЬ

Пролог

«Когда впервые в иной жизни встретил в палевом октябрьском сквере, в дымке стынущего утра грустную нерешительность Твоего невесомого шага, хрупкое эхо тонких каблуков, прощальный шелест плаща; в огромном мгновении, когда горячей осторожностью глаз коснулись друг друга; в милом овале девичьего лица, непокорной скромности локона и зовущей нежности маленьких губ — я узнал Твои юные черты, Любовь.

Гордо и строго несла Ты в бережных ладонях и долгое томление времени, и смутное желание счастья будущего,— Ты одна знала, что рождена для неведомого пути, светом своим возвышала жизнь, и в глазах Твоих отражалась тайна неба.

О Тебе страдали немые пред лицом Твоим, ищущие слов; Тебе — музыка, летящая сквозь время; Тобой полны непокорные краски тех, кто умел видеть.

Что сложить пред ликом Твоим после всех гордо ушедших за Тобою в вечность? Молви, тайным движеньем ожидающих уст...

Разве мы повторяли то, что было с океаном людей от века?

Все — впервые.

Так начиналась наша долгая краткая жизнь...»

Дверь кабинета отползла с сочным скрипом. Заведующий оторвал липкие глаза от рукописи:

— Прошу,— и, отечески улыбаясь, указал на сиротливый стул.

Ховин сел.

— Вы редактор сравнительно молодой, бескомпромиссный...— Заведующий воровато захлопнул синюю папку, по-немецки аккуратно завязал тесемки и резко сдвинул рукопись на край стола: — Рассказы. Самотек. И прошли все сроки...

— Да, но...— Ховин протестующе вскинул руки.

— Ничего, ничего... Вы решите быстро. Я взглянул... Заключение напишите коротко, определенно, чтобы ни нам, ни выше автор голову не морочил.

— Кто автор? — уныло поинтересовался Ховин.

Заведующий мазнул папку взглядом:

— Ильин... Знаете?

— Нет,— оскорбленно пожал плечами Ховин.

— Именно...

«Вот правила игры»,— гулко подумал Ховин. Вяло возразил:

— Но, может быть, все же на рецензию?

— Вы были на последнем совещании? — Заведующий изумленно вытаращил глаза.

Ховин не был и поспешно закивал: «Да, да...»

— Ускорение. Перестройка.— Заведующий гордо откинулся в кресле.— Фонды будем экономить, это наши обязательства. А главное,— он досадливо поморщился,— все сроки уже вышли.

Ховин с тоской оглядел рукопись:

— Но... я как раз хотел... Возникли обстоятельства...

Заведующий недоверчиво качнул головой:

— Что-то случилось?

— Нет... но мне нужно сейчас. Неделю. Отгулы... Пока не слишком холодно.

— Вдохновение? — понимающе ухмыльнулся заведующий.— Решили поработать, писать свое? На даче, болдинская осень, так? Не ко времени... ох, боюсь, не ко времени...

Лицо Ховина стало гордым.

— Я бы, конечно, отпустил вас,— и заведующий кисло прищурил вежды.— А рукописи? Сколько у вас на столе?

— Две.

— Или три?

— Две,— с твердой неуверенностью ответил Ховин.

— И эта,— заведующий скосил мерцающие зрачки.— Три.

Он покачался в кресле, помолчал, шумно (йога-пранаяма) выдохнул:

— Хорошо! Но долгов быть не должно. Берите с собой. Вечерами, после творческой работы (прищур все у́же), почитаете, для контраста...

— Я бы взял... Но отгулы...

— Не надо торговаться.— Заведующий властно сомкнул губы.— Я дам еще, потом... Надеюсь на вас. Пишите бумагу...

— Можно чистый лист?

Ховин вынул ручку, стал спешно писать.

— Хорошая ручка,— томно вздохнул заведующий.— «Паркер»? Мне попадаются неудачные. Две недели пишет, потом — все хуже...

«Писать не умеешь»,— ядовито улыбнулся Ховин, но пояснил:

— Вы знаете, это как повезет. Ручка — обычная.

Заведующий лениво достал свой «Паркер» и наложил резолюцию.

Вокзал.

Ховин положил связку рукописей на скамью, жалобно пошевелил затекшими пальцами.

«Пишут, пишут, кажется, все пишут, и всё без толку...»

Пошел к кассе.

Кто-то застрял у окошечка, ораторски размахивал руками, очередь не двигалась, жужжала.

«Сяду писать, сам. Ничто не оторвет от стола. Идеи...»

Низкий человек с багровым лицом отскочил от кассы; очередь двинулась.

«Рукописи...» Обыкновенно читать их было скучно или противно. Или — и то и другое; и третье — возмущение: «Графоманы... Ничего. Быстрее разделаться — сесть за свое».

В спину ткнули коварно острым, задребезжал старческий голос:

— Двигаетесь или нет, молодой человек?

Ховин сел в электричку — отрешен, печален.

Вагон дрогнул, угрюмо загудел. Перрон растерянно заторопился.

Ховин нервно зеввул; подуло тревожное чувство, всегда сопровождавшее желание сочинять: всё — в вагоне, на перроне, вокзале, в мире — казалось странно связанным.

«Люди — они же герои... Персонажи. Людей много — миллионы, миллиарды, а героев мало — одни и те же. Нет...»

Вагон опять дрогнул (состав знобило); безжалостно зашипели двери, простуженно закряхтел динамик, и перрон покорно поплыл назад.

«И все плывет: время, пространство. Одни и те же люди, но все в извечном изменении... «Река времен в своем стремленьи уносит все дела людей... А если что и остается... то вечности жерлом пожрется...» Державин?»

От станции Ховин шел скоро, небрежно глядя на прощальный пожар осенней рощи; упорно думал о своем:

«Всё так. Разделаться — и сесть. Река времен... Державин. Вечности жерло... И пишут, пишут...» — Связка рукописей назло оттягивала плечо, немели пальцы.

На даче было по-творчески одиноко, холодно. Ховин долго, бестолково (деревенские навыки хранились далеко, в спящих генах) растапливал печь. Сходил за водой, поставил закопченный чайник; располагался за вечным дубовым столом (память чьих-то предков).

Стало тепло. Вновь тишина медленно алеющей (из окна не видно) опушки леса, сказочный скрип вȯрота у колодца, заливистый лай соседской собаки («дворняжка сторожевая»), еретический треск и гудение печи — все показалось странно единым.

«Это выразить»,— скупо воодушевлялся Ховин.

Но садиться за чистый лист было нельзя — внутри тихо, но неизбывно пыло от вида настырно чужой рукописи, которую следовало...

«Заключение напишите коротко, определенно, чтобы автор никому уже голову не морочил»,— так морщился заведующий? Правила игры...»

Ховин брезгливо придвинул синюю папку, отрешенно открыл ее.

«Ильин...» Философски подумал: «Хорошо — рассказы, не эпопея...»

И принялся профессионально бегло читать.

Стол

— А теперь краткое сообщение по теме сделает товарищ Горский. Прошу, регламент...

Горский осторожно отодвинул стул, бережно вынул из-под стола живот, встал.

— Полностью согласен с коллегами, содержательно выступившими до меня... и с вами.— Он сладко улыбнулся на дальний край стола.— Скажу больше: все это давно требует насущного решения как в прикладном, так и методологическом планах...

Все важно кивали.

— Тезисно изложу предварительные итоги изучения проблемы в ключе нашей специфики.

Он взял аккуратную бумагу, надел валютно-дорогие очки и стал с удовольствием читать:

— Неприменимость к своеобразию образной структуры романной прозы традиционных средств стилистики, опирающихся на прямую, равную интенциональность состава языка, игнорирование стилеобразующего начала так называемого «чужого» слова приводят подчас к подмене стилистического анализа нейтральным лингвистическим описанием...

Пристально осмотрел стол, со значением поправил очки.

Все по-прежнему важно кивали.

— Отнести дистанциированные слова, семантические и синтаксические особенности форм к единому словарю автора, то есть воспринять и описать их как лингвистические признаки некоего единого...— Снова пошла в ход бумага.

Голос звучал хорошо: мерно, с дивными паузами.

Горский занимался литературной классикой. Тому была веская причина: с классикой в отличие от суеты текущей литературы все было ясно. И в то же время предполагалось: многое еще неясно — иначе что изучать? О классике были написаны горы исследований, что облегчало работу. Глубоко копая эти неприступные горы, можно было кого-то мудрено обругать, кого-то снисходительно похвалить, на кого-то уважительно сослаться — и так складывался ученый труд. Но это же осложняло работу. Все, до чего можно было додуматься, уже оказывалось надумано и написано в чужих книгах; в связи с чем был найден иной подход: вести речь не столько о классике (ее вообще было до смешного мало), сколько об этих обильных книгах. И работы становилось много.

Еще одна неловкость — странные заявления самих классиков.

«Написали горы критики на критику критик, и все пишут, не переставая...» — опрометчиво заявлял в свое время Лев Толстой. Но, по молчаливому согласию заинтересованных лиц, это в расчет не принималось; в академической борьбе считалось запрещенным приемом (удар ниже пояса или пониже спины).

И так гора росла, верно удаляясь вершиной от того, на чем взросла; и давно жила особенной жизнью: со своими нравами, обычаями, диалектом.

В миру было два сорта людей: те, что понуро бродили у подножия,— читатели (горы они не замечали, величия ее не осознавали), и другие — методологически карабкающиеся по склонам.

У детей (tabula rasa) восхождение начиналось с рвения в школе, а у взрослых (опыт жизни) — с сомнения: так ли они поняли то, что прочли? И тогда многотрудный путь вел в гору, выше и выше. Эти люди ревниво читали писания друг друга, знали и ценили братьев своих во горé. Ближе к сияюще ледяной макушке, где было круто, кое-кто, правда, начинал печатно толкаться, незаметно ставить ногу на лысину коллеги пониже, но все этȯ вершилось ритуально, академическим способом, в горных нравах не считалось зазорным (как и кровная месть), а называлось полемикой, коллективным исследованием проблем.

Горский был нетерпеливо близок к желанной макушке горы. Он изучал классику давно — сколько себя помнил (со школьной скамьи). Делал это общепризнанно хорошо — тщательно. Классики, как было широко известно, заблуждались, недопонимали, недооценивали,— он таких сомнительных прав не имел.

Для чего нужно изучать классику столь дотошно, какая от этого польза, Горский задумывался все реже. Очевидная польза была для него. И для горы. «То, что хорошо горé, хорошо и тем, кто на горé»,— гласила едва ли тайная заповедь.

Несомненная польза усматривалась для тех, кто собирался сам писать классику. Но таких людей, к прискорбию, было исторически мало. Никто из тех, кто долго изучал, сам не писал классики, хотя, по логике вещей (и идей), мог сделать это в первую голову. Само изучение отбирало столько времени и сил, что об ином было нечего и думать.

Пользоваться наливными плодами жертвенных трудов Горского и его коллег могли бы те, кого считали писателями. Быть классиками желали многие из них (хотя хорошим тоном признавалось непременно скромничать), но сами редко заглядывали в кладезь науки. В этом упорстве самоуверенных в таланте людей, видимо, и крылась причина того, что классики было столь мало, и чем (по хронотопу) ближе — тем меньше. Стоило сажать этих богемных людей — за нужные книги, но этой проблемой скверно занимались дальние коллеги.

Так было и так будет — знал Горский. И если бы в зал, нарушая регламент, дерзко вошел сам Лев Толстой, ему объяснили бы невозмутимо, с цитатами: в чем заблуждался, что недооценивал и что недопонимал суровый гений — узник эпохи.

Горский торжественно дочитывал бумагу. Огляделся с родной горы, глубоко потянул носом: дух классики здесь был особенно тонок, неуловим,— и завершил словами о Толстом, о высоком и глубоком — духовном.

Все коллегиально кивали. Горский плавно вывернул пухлую руку, посмотрел на вызывающие зависть часы, бережно снял очки и органично огладил живот.

Главное: не опоздать домой.

— Можно?..

Дверь отошла с робким писком. Всунулось узкое вопросительное лицо.

Горская грузно заворочалась на казенном стуле, выложила тяжелые руки на стол, хмуро оглядела рукописи и неожиданно елейно спела:

— Войди-ите. Ваша фами-илия?

В щель проник худой лохматый человек; быстро, как суслик, задрожал губами и носом:

— Федосьев. Я Федосьев...— Ободрился и трескуче каркнул: — Константин Константинович. Рассказы... я оставлял в том месяце.

— Очень хорошо. Садитесь,— вкрадчиво сказала Горская, озабоченно осматривая корешки папок.
— Синенькая такая,— униженно-вежливо заметил посетитель.
Она искала рукопись долго, и лицо автора тускнело.
— Вот! — изумилась Горская, и он заерзал на стуле.
Из папки на стол легли листы желтой бумаги с жирными красными пометами на полях; мощная рука прихлопнула их и быстро, как считают деньги в банке, залистала.
— Мы прочитали вашу рукопись,— ласково начала Горская. Автор часто, с надеждой задышал.— Должна сказать вам сразу: ни один из рассказов нам по ряду причин не подходит.
Человек дрогнул, сник и перестал дышать. Но Горская умело не смотрела на него; говорила все громче и бесспорнее:
— Прежде всего: о чем эти шесть рассказов?
— Семь,— едва шевельнул губами автор.
— Первый: герой, сколько можно судить, недоучившийся студент, а смысл — в его дачных историях?
Автор виновато повел носом. Горская хищно полистала рукопись.
— Таков же в принципе и герой пятого рассказа. Кстати, странно называется: «Конь Федор». Речь, кажется, о спорте?
— Ипподром,— обиженно подтвердил человек.
— Да! Но в чем те и эти герои проявляют себя? Амурные интересы, нарочитые проблемы с безденежьем, жильем, много философических рассуждений, далеких от читателя, а где же...
Автор затаил дыхание.
— ...где активная позиция? Где положительный смысл, пафос — ради чего это написано?
Стул горестно заскрипел; человек спрятал глаза.
— Другое. Второй рассказ. Здесь есть, справедливости ради отмечу, некоторые наблюдения: зоопарк, шутки о зверях и посетителях, то, что едят,— очень хорошо, но этот сторож...
— Дядя Митя,— тяжело вздохнул автор.
— Да! Беспробудное пьянство, и так нарочито! Почему дядя Митя? Почему, если сторож, хотя бы и в зоопарке, то обязательно горький пьяница? И потом, разве это тема?
— Но он и в жизни, прототип есть, пьет,— оскорбился автор.
— Пусть! — радостно согласилась Горская.— Но есть же законы художественного освоения жизни. Здесь — просчет. То же самое...
Она разворошила рукопись и сделала трагическое лицо:
— Вот! Вы же молодой, здоровый... (автор надсадно закашлялся) современный человек. Откуда и зачем у вас такая надуманная, нежизненная тема — кладбище! И опять — злоупотребляют алкоголем. Вы сами не пьете?
Автор испугался, отчаянно замотал головой.
— ...Жаргон, висельный юмор... Все это надо тщательно дозировать. Вот, с детьми, играющими у могил,— это неплохо...
Человек длинно, тоскливо выдохнул.
— Кроме того,— с удовольствием закругляла беседу Горская,— множество претензий к вам и по стилю. Например: «Игорь помрачнел лицом...» Чем же, по-вашему, можно еще помрачнеть? Или: «Тучный посетитель просунул в клетку к бесстыжему павиану свою холеную, розово-волосатую, жирную руку, с золотым, с печаткой перстнем и мстительно сложил фигу...» — Горская улыбнулась и соответственно сложила на столе пальцы.— Это явный перебор с деталями. Да и жест...
— Ясно,— трагически гордо заявил автор.
Она ловко спрятала рукопись в папку и тут же сунула ему.
— Но вы не отча-аивайтесь,— вновь сладко спела.— Помните, что я сказала вам о темах. Здесь...— недоуменно осмотрела его продолговатую, огурцом, голову,— еще не хватает чего-то... высокого и глубокого... Читайте классику. Толстого. И особенно полезно — серьезную критику,— прибавила веско, думая о муже.
Автор заморгал и исчез.
Таких людей в день приходило несколько; иные ходили годами. Работа требовала крепких нервов: никому нельзя было объявить с порога: «Что там? Зачем вы принесли? Это нам не подходит, и это нам не подойдет! Немедленно уходите!» — а надо было делать все этапно, этично — профессионально.

Горская глянула на стенные часы, выровняла на столе гору папок, радостно заторопилась.
Главное: успеть домой вовремя, не опоздать с хлопотами к приходу мужа.

Горский бесшумно вошел, отдал тоненькую крокодиловую папочку жене, сладко чмокнул пухлую щеку, блаженно потянул носом:
— Бьет час, я озреваю стол!.. Багряна ветчина, зелены щи с желтком; румяно-желт пирог, сыр бел, а раки красны; что смоль, янтарь — икра, и щука пестрая — прекрасны! — продекламировал он с большим чувством.— Классик! А?! Зна-ал...
— Как ты сегодня?
— М-м...— Он округло развел руками.— А твои, классики?
— Пишут...— жалобно улыбнулась жена.
Горский медленно вступил в гостиную — и увидел: на столе перламутром, жемчугом тонко-жирных ломтиков изнывала благородная рыба, в сахарном луке с бежево-молочной горчицей плыла сельдь, инеем серебрился темно-холодный студень, высилась облитая щедрым майонезом горка мясного салата с алыми и зелеными намеками моркови и лука. Глянцево-кожаные срезы копченой колбасы, матовая скромность буженины и слезно-розовая, в обнаженном стыде, баночная ветчина. Весело вертел ярмарочными боками чисто умытый редис, зеленым бисером хрустели маринованные огурчики в озябших пупырышках, атласно тяжело лежали квашеные кочанные листья. Из пузатой баночки, пихаясь, высовывались крепыши-грибы с холодно-скользкими уксусными шляпками. Изумрудная зелень — укроп, петрушка, кинза — узорчато обрамляла розовую голубизну фарфора с тонким золотом каемок и отражалась в граненом хрустале. В центре, в скромно-толстом стекле, тускло-драгоценно алым и черным мерцала икра. И ждали бережно укрытые, пухлые, живые блины.
Жена вошла вслед за Горским. Они обнялись и, счастливо моргая, смотрели на свой стол.
Горский нежно любил жену. Особенно — за ее дивную преданность столу. Кончалась суета недели, тщательный подбор продуктов; облачались в любимый простор одежд: шлафрок с атласным подбоем Горского, шелковый, с китайскими птицами халат жены, и...
Раньше за стол приглашали нужного или просто хорошего человека, но посторонние вносили в ритуал неизбежный разлад. Требовалось говорить; гость мог есть машинально, не замечая поэзии вкуса (да, были на свете и такие люди!), мог не вовремя, не то пить, путать закуски, блюда — все мучительно! И от этого было решено без сожаления отказаться. Вдвоем — славно.
Горский благоговейно сел. Жена включила телевизор:
«...по-ударному. Так работают хлебоуборочные агрегаты на нивах Оренбуржья. Сменные экипажи используют технику с максимальной нагрузкой, гибко меняя тактику страды, комбинируя раздельную уборку с прямым комбайнированием. А на животноводческих фермах...»
Жена переключила программу. Одинаково вдумчиво взмахнули смычками служебно страстные скрипачи.
— Хорошо. Это,— качнул головой муж.
Круглыми движениями под серебристое дрожание струнных Горский осторожно открыл ледяную матовую бутыль, с тонким бульканьем наполнил хрусталь. Глубоко, горячо посмотрел в ждущие глаза жены — и стол пришел в движение. Невесомо поднимались и опускались блюда, счастливо звякали мельхиоровые приборы.
Горский любовно, с умилением смотрел: как хорошо ест жена.
— Майонез не резковат? Не находишь?
Жена вскинула голову, огорченно замерла.
— Но сельдь — божественна. Тает,— успокоил Горский.
Жена стыдливо улыбнулась:
— Я вымачивала так, как ты любишь...

Пролог, увертюру Горский завершил взмахом обжигающего глотка. Настал черед горячего. Жена только внесла скульптурно-благородную супницу, а дух, настоянный специями, уже опережал ее. Облако золотого тумана над парчовыми переливами борща — новое волшебство.

А позже — на стол возлегли нежные, с золотой хрустящей корочкой, сочно-белые в непорочности цыплята, на ломтиках масленого картофеля со штрихами радостно пахнущего укропа.

Жена зарделась:

— Дай, пожалуйста, соус.

Горский дал. Дорогой сердцу соусник с синей птицей, подарок тещи; далекое время, когда еще безмятежно садились за стол втроем...

В синей мгле, отплывая все дальше в мягкой роскоши кресел, Горский и жена блаженно жмурились, вдыхая восточно-мудрый аромат кофе с гаремным дурманом ликера. Оставалось слабо, в бессилии исчерпанной страсти улыбаться.

— Как ты? — с томительной грустью спросил Горский.

— Ах,— нежно вздохнула жена.— Ты... выступал сегодня?

Он сладко зевнул:

— О Толсто-ом... Да... что ни говори, жизнь — одна большая трапеза. Прав классик.

И замолчали — все это лишнее; главное — сон.

А спали они спокойно: мертво, без дурных сновидений.

Правила игры. 1

«Да и нет не говорить, черного и белого не называть; глухо ненавидеть свое странно лицемерное редакторское занятие; правила игры...»

Ховин сощурился, потер бровь, глянул на бледное осеннее окно.

«Здравствуйте, здравствуйте, как поживаете, что новенького, чем нас порадуете, что на вашем письменном столе? Помилуйте, это именно то, что нам нужно; какая глубокая мысль, тема — проблема — идея, а как удался этот образ, и тот, и другой; что ни говори, несомненная творческая удача видна издалека; наш (ваш) читатель ждет столь увесистого слова; теперь, в условиях гласности, все это обретает доподлинный смысл; при чем тут лесть, когда чувствуешь железную руку мастера; нет проблем, когда вам удобно; приносите еще и еще, мы всегда рады вас видеть (слышать, ненавидеть — исключения грамматики; здесь — лишнее); ждем от вас звонка, телеграммы, письма; сроки извечно нас поджимают — набор, корректура, тираж...»

Или:

«Говорить: нет; привычно сдерживать изжогу раздражения...»

«Слушаю, как ваша фамилия, что там у вас? Нет, позвоните через месяц, не раньше, у нас очень много всяческих рукописей; буквально — мы задыхаемся; где вы печатались прежде? роман — не слишком ли сразу? добрый совет — начать с коротких рассказов; эти рассказы так коротки, что судить в целом весьма трудно; а кроме того, тема — проблема — идея и ваши персонажи — все это... стиль — предмет особого разговора, нельзя так; не знаем, что и советовать в подобных случаях (унылое лицемерие сочувствия); разумеется, это наша обязанность (постылая) — рассмотреть, если вы еще принесете; но все же вынуждены предупредить сразу — не раньше конца того месяца; видите, рецензент прямо указывает на существенные недостатки, столько просчетов, и с ним просто нельзя не согласиться (нельзя — и мы все в согласии); всего вам, пожалуйста, заберите совсем, прощайте...»

И варианты — по шкале добра и зла. Здесь же...

Рассказ «Стол» неприятно удивил Ховина. Стало ясно, что делать опрометчивый ход стандартной отпиской не годится. Ильин («использовал опыт хождения по редакциям — видно»), казалось, заранее подсмотрел карты.

Гомункулус

Родители раздраженно собирались в театр. Отец в долгожданном новом костюме рассеянно листал журнал, строго поглядывал на мать — она цокала по квартире в лаковых туфлях на вызывающе высоком каблуке, накрашенная, но еще не одетая — кружевной нейлон.

Алеша притих на диване. Знал — сегодня уложат спать рано. Спать не хотелось вовсе, оставаться одному — тоскливо, но капризничать было бесполезно. Мама нервно торопилась, могла с молчаливого согласия отца наскоро наказать. И Алеша сидел молча, уныло. Несправедливость.

Мама была особенно красивая, для театра; и даже — чужая, с пряным запахом, странно глубокими глазами и блестящими губами. Отец вскинул руку, глянул на кварцевые часы, недовольно возгласил:

— Скоро? Без пятнадцати...

Мама забегала быстрее: «Сейчас, сейчас». Кажется, не успеют и, может быть, все-таки останутся дома? Но мама ловко надела лиловое платье с искрами (отец рывком застегнул «молнию») и, довольная, объявила:

— Я готова. Дай сигарету.

Пала в кресло, высоко закинула ногу на ногу — чужая тетя, что была в ней.

Родители густо дымили; Алеша шмыгал носом — без особой надежды, что его возьмут с собой, а так, на всякий случай.

— Леша, иди в ванную умываться и спать. Здесь дым. Мы скоро уходим.

— Я посижу еще.— Алеша знал, что пока можно тянуть время.

— Вот! — Отец тряхнул журналом.— Уже пишут. Я давно полагал: генная инженерия, киборги... Дети из пробирки, гомункулус...

— Ну, нам это еще не грозит,— лукаво сказала чужая тетя, мигнула Алеше: — Правда, гомункулус мой родной?

Он поспешил улыбнуться; тут же вспомнил, что обижен, и нахмурился, но получилось плохо.

— Что, не хочется тебе в кровать? Ну потерпи, потерпи, голубчик мой.— Она элегантно стряхнула пепел в хрусталь и с обидой взглянула на отца: — Мама терпела... А если избавят терпеть, что же? Все равно ребенок, а эти муки...

Отец длинно подумал, скосил глаза на сына и засмеялся:

— Гомункулус...

Это странное слово, понял Алеша, относилось к нему; и он мотнул головой:

— Я не гомункулус.— Насупился.— Кто это?

Отец сделал педагогическое лицо:

— Гомункулус — искусственный человек, его выращивали в колбе.— Заметил, что Алеше не ясно: «колба».— В банке. Кажется, маленький. У Гете, я забыл, или это латынь?

Мама изящно погасила сигарету, встала к Алеше.

— Ты не гомункулус, ты мой родной мальчик, и теперь — в ванную умываться, и баю... Пора.

Пришлось идти. Алеша был серьезно озадачен: человечка выводили в банке, как рыбок? Молча тер лицо, силился понять: как это может быть и как это делают? В слове «гомункулус» была глубокая тайна. Вернувшись в комнату, он спросил:

— Из чего этот... гомункулус?

Папа недовольно торопился:

— Что клали в банку? Это были алхимики, вроде колдунов, они грели, мудрили...— Подумал и вновь сделал педагогическое лицо: — Тело... Когда ты ешь, еда усваивается и становится тобой.

— Как это усваивается? — недоверчиво смотрел Алеша («то, что он ел,— это он?»).— Нет, я расту сам.

— В животе есть ферменты, пищеварение. Внутри,— отец мучительно искал слова попроще,— еда делится на маленькие части: белки, углеводы, аминокислоты, они словно кирпичики, из них строится...

— Как строится? — с полным неверием перебил Алеша.— Какие кирпичики?

— Неважно, само строится... И получаешься ты, или я, или мама — люди.

— И гомункулус? — хмуро спросил Алеша.

— И гомункулус,— сомневаясь, подтвердил отец.

— Всё, спать!—безапелляционно строго сказала мама.

Алеша опустил пытливые глаза, побрел за нею. Она уложила его в скучную кровать, озабоченно склонилась. Он жалобно попросил:

— Мама, поцелуй меня...

Она холодно ответила — нельзя, на губах помада, пачкается. Обидно.

Родители говорили в коридоре тихо, но Алеша слышал:

— Я волнуюсь — все оставляем одного, а не дай бог, что случится,— я никогда себе не прощу.

Отец уныло возражал:

— Напрасно. Нормально. Меня, например, всегда в детстве оставляли. Он уже не малыш. Рефлекс — великое дело, взгляни: наверняка засыпает.

Мама громко, быстро зашептала:

— Я знаю, почему ты так говоришь! Если бы твой...

Дверь приотворилась, Алеша замер. Тихие шаги приблизились к кровати, пахнуло пряным, и чужая тетя вышла. Металлически щелкнула входная дверь, и в доме стало тихо.

Алеша не спал. Он лежал, упорно думал. Решал, какую взять банку. В маленькой дело пошло бы быстрее, но тогда и гомункулус будет маленьким, совсем глупым, с пищащим голосом — его и не разберешь. Но и большая не годилась. В ней могло ничего не выйти. А если бы вышло — гомункулус, который сам расколол изнутри банку и затопал навстречу, оставляя мокрый след, был бы страшный.

Алеша решительно откинул одеяло, прошлепал на кухню. Взял пустую литровую банку, открыл холодильник. Полкурицы, масло, огурцы и малиновый кисель. Он представил, что у гомункулуса будет куриное дряблое тело, и почесал голову. Оторвал ножку, долго возился на полу с молотком, дробя косточку, ударил по пальцу. Было больно, но плакать одному не имело смысла. Стал резать огурец. «Огурцы полезны, в них витамины»,— объяснял папа. Витамины нужны, чтобы гомункулус был бодр и не болел.

Алеша сложил все в банку, покрошил черного хлеба и залил киселем. Размешал, посмотрел на свет и вновь задумался. Предстояло греть, сколько — он не знал. Подошел к батарее, потрогал — горячо и поставил банку.

«Если бы к утру уже зашевелилось... Надо хорошую коробку — будет кровать. Мама сошьет что-нибудь из лоскутков, сделать с папой домик, а потом...» Алеша потрогал банку—она тихо грелась—и пошел в кровать.

Лег и долго думал: выйдет или не выйдет? Вдруг с холодом в груди понял: гомункулус выйдет лысым. Встал, зажег свет, отыскал ножницы, долго примерялся перед зеркалом, где отрезать, и отхватил прядь на макушке, там, где самому не было видно.

Банка на батарее уже стала теплой. Алеша помешал пальцем и, довольный, вернулся в кровать. Надо ждать.

Гомункулус осторожно сел на корточки, с опаской осмотрелся в банке. Снизу приятно грело, но было сыро; углы далекого стола, искаженные кривым стеклом, тянулись косыми белесыми громадами к синему мерцанию фонарей из окна. Резко пахло огурцами и чем-то душисто-сладким. Гомункулус внимательно осмотрел свое белое, с темно-коричневыми веснушками тело, взъерошил волосы на голове, покрутил мягкой шеей. Кажется, все на месте, и можно выйти в свет. Он, прыгнув, ловко вылез на край банки, с него — на подоконник; уверенно, как гимнаст, перехватывая цепкими руками, спустился по занавеске на пол. Внизу — полумрак и сильно дуло к черному провалу двери. Гомункулус быстро протопал через кухню; послышался коварный скрип, и он замер с захолонувшим сердцем: это могла быть смертельная кошка. Тихо. Осторожно прошел в коридор. Из дальней комнаты, где спал мальчик, брезжил жидкий свет.

Гомункулус медленно вошел, огляделся, на цыпочках приблизился к кровати. Мальчик жалобно улыбался во сне, лицо его тихо светилось. Он

был чутким, нежным и одиноким, как многие дети. Одеяло сползло к полу. Человечек уцепился за край и осторожно забрался наверх.

— Алеша... Алеша,— мягко шепнул он.

Мальчик задышал глубже, чмокнул губами и медленно открыл большие грустные глаза. Он не испугался, не вскрикнул и еще не понимал: его желание сбылось.

— Алеша...

— Гомункулус... Ты вышел? — горячо зашептал мальчик.

— Да.— Человечек радостно закивал.— Ты делал все правильно, от души, и я — здесь.

— Я один... Родители придут — мы услышим,— волнуясь, часто моргал Алеша.— Они добрые, они меня любят и, значит, полюбят тебя, увидишь...

Гомункулус тихо покачал головой:

— Нет, Алеша, не значит...

— Мама сошьет тебе курточку и штанишки, и я уже придумал для тебя домик — папа поможет...

Человечек грустно улыбнулся:

— Хорошо. Будет хорошо, если все так и выйдет. А сейчас...

Родители вернулись за̀ полночь,— отец долго, раздраженно возился с непокорным замком. Закурили на кухне, вполголоса ругали театр. Мать поставила хромированный чайник — и заметила банку на батарее; глазами указала отцу. Тот криво пожал плечами. Мать глубоко затянулась, прикрыла глаза от сизого дыма, взяла банку и выплеснула в помойное ведро.

Молча вымыла ее и долго, с чужим взглядом мыла руки.

Правила игры. 2

Ховин вспоминал:

«Покорно выслушивать: да и нет, можно-нельзя; одиноко пережидать свое благополучное городское детство...»

«Как дела, голубчик? ну, ну... (рассеянное внимание); иди теперь, погуляй, Колька твой (кто его родители?) уже бегает; смотри, не возвращайся свинья свиньей; боже, что за вид! нагулялся? снимай сандалики, натопчешь; не надо шуметь, кому сказано, не сори, не трогай; займись чем-нибудь, что ты слоняешься из угла в угол; лучше бы помог по дому; у каждого человека есть долг — запомни это слово (здесь: не денежная, а этическая категория); в одно ухо влетает, в другое — вылетает; ты только посмотри на свои ногти, неужели тебе самому не стыдно и не противно; надо говорить: спасибо, пожалуйста,— ты дурно воспитан («это твое воспитанье!»); если будешь себя хорошо вести — куплю, перестань канючить (велосипед-чудо или матроска, как у презрительного мальчика из высотного дома); и это — учеба? ты что, хочешь быть дворником? не мешай нам, взрослые должны поговорить (по-лежать, по-скандалить, по-лгать — все не для детских глаз и ушей); посиди смирно, возьми книгу; книга — лучший друг...»

«И разувшись, на носочках пройти к облезлому креслу с неведомой судьбой («Его давно пора выкинуть! — а кто против?»), уютно забраться с ногами, калачиком; рассеянно ковырять желтую, с колючками вату — «Немедленно прекрати!»; и книга (может быть, со странными именами — Гримм, а лучше — Андерсен; с честными картинками, без нынешних изовывертов); и думать о чем-то, для чего трудно, никогда не удастся подобрать название: невыносимо большое, грузное и одновременно хрупкое, маленькое, на ниточке («Взгляни, у него, кажется, жар...»); а комната уже перестает быть комнатой, тают в белесой мгле неверные силуэты вещей, тянутся и множатся хитрые тени; запахи — все острее и изменчивее, и малиновые звоны медленно летают в гулком воздухе...»

«Спит, спит; тихо, не буди его; он заснул...»

Ховин с разбавленной временем горечью думал о своем обыкновенном детстве: взрослые поймут и оценят в тебе только то, что хотят (могут?) понять; кривился: родители не оставляли чадо без навязчивого внимания до университетского диплома и подобающей женитьбы (а интересовали их дела, не душа). И, небрежно размышляя о современных семьях, отчего-то

представлял (новые папы и мамы) помрачительно длинноногих див с телеулыбками и кварцево загорелых, мускулисто уверенных теннисистов с фарфоровым оскалом — отборные особи из рекламно-торговых каталогов нищих духом...

«Гомункулус, генная инженерия, киборги...— этого нам как раз и не хватает...»

Ховин нашарил в пачке сигарету, чиркнул спичкой и окутался густым дымом.

Иная жизнь

С утра — жарко. На сверкающем пляже еще плыл соленой свежестью запах моря, но за поджарыми южными соснами, в масленой зелени бульвара — душно. Сонный сквер у архитектурных излишеств санатория медленно тлел; в густом, липком воздухе время остановилось и завис терпкий настой субтропической листвы. Жара тупо медлила, не уходила, накаляя спальные корпуса; люди с багрово обмякшими лицами обморочно дремали в тяжкой духоте с упрямой мыслью о важности и пользе отдыха.

Леонид Иванович медленно поднялся по аляповатой лестнице, отдуваясь свернул в желеобразный полумрак коридора, лениво открыл дверь в номер.

Сосед, лежащий поверх одеяла в цветасто-сатиновых трусах, приоткрыл безмятежный глаз.

— Что нового, Серафим Николаевич? (Молчать, когда сосед приоткрыл глаз, показалось неудобно).

— Да что же нового? — неохотно отозвался распластанный сосед.— Вы же ходили... Что там?

Леонид Иванович, колыхаясь, остановился, помраченно подумал.

— Жарко...

Сосед, словно бы изумленный таким известием, тут же открыл второй глаз, пусто вздохнул и закрыл оба.

Леонид Иванович сел на кровать, смотрел на него с завистью. Казалось, ничто не способно испортить соседу настроение: ни свинцовая жара, ни обязательная праздность, ни скверный возраст, обращающий время на курорте в скуку. Ему было покойно: не весело, но и не грустно.

А Леонида Ивановича постигла густая скука. Дело было не в профсоюзных милостях санатория и не в сумасшествии юга, а в нем самом.

Море, солнце, кино, танцы и женщины были точно такие, какие и бывают на курорте; но раньше, когда был относительно молод, все это живо соединялось в желанную отпускную волю — теперь же прежние желания оставались только в ленивой памяти; наяву было неприкаянно.

— Эти две, из Новгорода...— стеная, потянулся сосед.— Идем с обеда — говорят мне: «Что-то скучно, Серафим Николаевич, и кино вчера показали такое, мы ночью даже всплакнули... одни».

— И что же? — без интереса, но снисходительно отозвался Леонид Иванович.

— А вот так,— водя глазами по пустым углам, рассуждал сосед.— Им под сорок или поменьше? Скучают, значит, как их понять?

— Ясно, дорогой мой,— хотелось сказать иронически, но вышло вполне серьезно.— Они вас к себе звали. Развлечь их надо...

— Да, это так,— резко оживился сосед.— Я ведь не прочь вроде и могу, как вы думаете? Особенно та, крашеная. Да ведь их двое...

— Двое...— уныло согласился Леонид Иванович. Угрюмо представил полных, млеющих в жаре женщин с мужскими лицами и торговыми голосами и развивать эту тему не стал.

Сосед, сомневаясь, пожевал губами и снова закрыл глаза.

Под окном курортники играли в настольный теннис. Цоканье шарика эхом металось в голове Леонида Ивановича.

«Пинг-понг называется,— думал он.— Верно: пинг-понг... или нет, все же: чок-чок, чок...»

Заливисто рассмеялась провинциальная женщина, цоканье прекратилось. Леонид Иванович напряженно ждал — оно появится снова, и тогда он сумеет поймать прежнюю мысль, но было тихо. «Видно, шарик раздавили»,— решил он. Вяло посмотрел на сопящего соседа.

Серафим Николаевич лежал покойно; вряд ли думал о тоскливом желании женщин из Новгорода.

— Сколько вам уже осталось? — нарочно нарушил его покой Леонид Иванович. (Сосед скоро уезжал, оставалось ему дней пять; об этом много раз говорили.)

— Двадцать восьмого, после обеда — и самолет,— с удовольствием отвечал тот.— Пора уже домой.

— Соскучились...— с показным дружелюбием улыбнулся Леонид Иванович, думая о себе и своей жене.

— Да не так, чтобы соскучился,— убежденно поправил сосед,— только ведь и здесь долго — не то.

Молчали.

— А на обеде говорили,— Серафим Николаевич вдруг резво сел, спустил ноги в синих венах с кровати,— кто-то утонул там, на диком пляже?

— Утонул? — Леонид Иванович сочувственно свел брови.

— Женщина. Они там компанией и навеселе были,— назидательно добавил сосед.

— Нет. Не слышал.— Леонид Иванович рассеянно задумался.— Ужасно это: поехать и утонуть. Хорош отдых...— От дурных вестей, хотя прямо и не касающихся его, как обычно, встревожился.

— Да, это так. Горе для родных,— охотно согласился сосед.— Но знаете, ведь как отнестись...

Леонид Иванович недоуменно развел брови.

— У меня знакомый был, крупный работник, на Севере, правда, русский... Давно. Тоже утонул. Вода ледяная, и рядом с берегом. Товарищ его сразу камнем ко дну, а он еще кричал, бился, и кто-то на берегу слышал, но пока... что...— поздно.

Леонид Иванович представил стальной обруч холода, каменные судороги и поежился.

— Так вот чукчи,— мерно объяснял сосед,— когда его достали, покачали так головами,— задумчиво показал, как они покачали,— и говорят: «Вот, большой человек теперь пошел туда,— Серафим Николаевич наставительно поднял палец,— к верхним людям...»

— Как? — Леонид Иванович озадаченно потер нос.

— А вот так. Вера такая. Умер — значит, пошел туда, к верхним людям. Только и всего. Кажется, у них это не сказать, чтобы хорошо, но и не плохо. Просто — туда, к верхним людям. Все там,— и он снова торжественно показал пальцем вверх.

— Да... Все там будем...— Леонид Иванович зачем-то изрек ненавистное.

Сосед встал, аккуратно натянул брюки.

— Пора мне на ингаляции.— И сразу надсадно закашлялся, словно поясняя: пора.

Он вышел; Леонид Иванович измученно лег на кровать. Вспомнил глупый анекдот о Севере, смутно думал об утопленниках и каких-то верхних людях, что встречали их (ни о чем не расспрашивали — мудрость вечности; или, напротив, жадно интересовались: что там, внизу,— от новостей синхронно качая головами так, как показывал сосед).

Под окном снова неприлично рассмеялись; гулко зацокал новый шарик, и Леонид Иванович сразу поймал прежнюю мысль, теперь, на фоне тоски, совсем отчетливую: «Плохо здесь. Уехать бы...»

Мысль эта все повторялась в такт метанию шарика, но как-то безвольно; он уже знал, что никуда не уедет.

После диетического ужина на ближней танцверанде жизнерадостно загрохотал местный рок-оркестр. К ярко-желтому свету, в котором маялись мохнатые ночные бабочки, с ленцой потянулись отдыхающие. Леонид Иванович опоздал на фильм с аргентинской любовью, поскучал у полуисправного телевизора в холле и тоже пошел на свет.

Молча постоял у ограды: на цементном пятачке ожесточенно резвилась дико одетая молодежь, а в сторонке испуганно переступали, пытаясь поймать такт, несколько неуклюжих пожилых парочек.

И побрел по темной аллее, все дальше от грохочущих огней, к дикому пляжу.

Из черной чаши залива медленным плеском вступала на пустынный берег морская нега. Там, где белели большие камни, кто-то купался. Леонид Иванович расслышал нежные девичьи голоса и чей-то неокрепший бас. Вгляделся, различил стройные длинные силуэты и, внезапно волнуясь, понял: они купаются нагишом...

(Как он, давным-давно, в парнóй ночной воде с тонкой, гибкой черноглазой Ириной; как отчаянно она доверилась ему, ничего не требуя, исступленно радуясь, что может отдавать мужчине, еще не лысому, не грузному, как теперь, красоту и любовь...

«Какие соленые, бьющиеся были ее губы там, в море...» — ярко, словно не лежало между прежним и этим пляжем, бесконечным ночным морем время и забвение, вспомнил Леонид Иванович.)

Он жадно слушал возгласы и плеск воды у камней, всматривался в манящее скольжение белых теней, глубоко, до слез вдыхал море и остро чувствовал: этим красивым, любящим (верил сейчас, что это именно так!) молодым людям вольно здесь, в просторе моря и ночи.

И хотя знал, он лишний для этих не ведающих о нем новых людей, они не были лишними для него; казалось, в этом и скрывалось главное: иная жизнь счастья и воли...

Огромные звезды опускались все ниже, пристальнее — к черному зеркалу залива,— изумленно следил за ними... И со странной силой убежденности думал: если и есть где-то ожидающие всех ушедшие люди, то именно там, наверху; они безмолвно смотрят вниз глазами звезд на молодых, продолжающих их людей и на тех, кто уже собирается вверх, понимая тайну жизни,— и тогда они не качают головой в немой скорби над суетой мира, а смотрят спокойно, вечно, как и подобает людям.

Он горько улыбался; шел к свободе волн, живому одиночеству моря.

Правила игры. 3

«Неужели жить, дабы дожить до безжизненного созерцания своего и окружающего житья на нежеланно жарком курорте, заслуженно-коротком отдыхе от жидких дел и желаний, жадно ожидая неожиданного прозренья, иной жизни? (аллитерация смысла)»

Ховин медленно курил, вспоминал прошедшее лето, утомительный отдых в доме творчества у моря, где повсюду фланировали балованые писательские отпрыски с презрительно-пресыщенными не по возрасту глазами.

«Но разве уже не испытывал пугающе похожее: что ты? кто ты? прошлое — спутано, будущее — неизвестно; именно того, что не знают и не понимают,— боятся; и главное: любить — разве это ты еще можешь? и вот уже туго зреет в груди ненависть обиды к названному так голо и бессовестно, что кажется правдой; к нависшему за этим огромному, до отчаяния неподатливому грузу прожитого, не такого уж длинного (но и не краткого) времени — чему никак не дать названия и чего в самом деле боишься, не зная и не умея с этим совладать (вот объяснение: откуда это — пока старался усердно не замечать); и разве не было отчаянного желания разбежаться навстречу этому, безымянному, недвижному, и дубасить налитыми кровью кулаками по непробиваемо толстой, глушащей все порывы неподатливости; и, хотя бы мыча или воя, объяснить, что человек — сильнее и все-таки может любить, жить с открытыми глазами, вбирая слепящую красочность мира... и непростительно много — по смыслу, качеству, а не количеству слов — сказать об утраченной юности, правде, красоте и воле... и верилось, что сказал бы, но, будто вбежав из последних заемных сил по лестнице самолюбия, не смея перевести дыхания от острой боли в груди (сердце выдержит, если его обывательски жалко не беречь),— молчал... и разве самому не нужна, не желанна иная жизнь, жадное ожидание неожиданного? (аллитерация желаний)»

Ховин, кривясь, раздавил сигарету в пепельнице, перевернул страницу, но читать дальше стал не сразу,— долго, тщательно чинил красный редакторский карандаш.

Серый

Сергей — его настоящее имя. Хотя на ненужной службе его давно считают человеком серым, он все же — Сергей Михайлович.

Серый он — дома. Старший брат, мать выдумали для детства: «Серёнька, Серенький»; ушло время, унесло уменьшительные и ласкательные суффиксы, и человека с серым лицом и мерно сереющей лысиной называли уже коротко и определенно: Серый.

«Серый, завтра ко мне нагрянут с кафедры, понял?» — это буркнул старший брат.

«Серый, я ничего купить не успею, а в холодильнике пусто. Думай!» — это исчезла жена.

«Серый, свинья ленивая, почему ты как в воду канул?» — это трещит телефон, хохочет холостой знакомый.

«Серый, Серенький мой, что ты?..» — это тихо, нежно, во сне; это мать, которая умерла.

Больше никого нет.

Живут втроем в старой квартире: Серый, жена и старший брат (они совсем иные, их и зовут иначе: Алла и Егор). Старший брат по скверному распределению и дешевой романтике уезжал далеко, в планах — надолго; там быстро женился и еще быстрее развелся; а когда приехал на похороны матери (Серый почувствовал, как тот мается, сам заговорил об этом), с удовольствием остался. Алла еще ходила в невестах и долго возражать, как мрачно заметил Егор: «на свежей могиле нашей матери», не смогла.

Прошло три года.

И Серый узнал страшное: жена изменяет ему. Самое худшее: с братом.

Утром, после поспешного завтрака, вышел с кухни в прихожую, сунул ногу в ботинок, нагнулся к шнурку — и замер. В зеркале зыбко темнел низ кухонного стола, плотный зад брата в спортивно-атласных трусах — и Серый увидел, как по футбольно-волосатой ноге ласково скользнула любящая рука жены. Егор густо хмыкнул, она жидко рассмеялась.

Серый, зажмурившись, похолодел, вспоминая: брат часто хмыкал так, и именно так смеялась в ответ жена. С налитым кровью лицом распрямился, вновь, уже тупо, тяжело посмотрел в зеркало.

Жена и брат мирно сидели, жевали, улыбались.

— Ты ушел? — причмокнув чаем, весело крикнула в прихожую жена.

Серый молчал. Он увидел в зеркале свое залитое страхом серое лицо.

— Нет еще...— глухо, скрывая медленно багровеющий стыд, ответил он и беспомощно потоптался у двери.— Ухожу...

В груди пухло: он верил и не верил тому, что увидел. Осторожно вышел из квартиры, защелкнул скрывающую черные тайны дверь и длинно, во сне, пошел по бесконечной лестнице.

Думал и не мог думать об этом в тряске торопливого автобуса, в грохоте страшного статистикой метро; за опостылевшим рабочим столом, жадно вдыхая смоляной запах канифоли, вглядываясь в путаную схему («проверьте, голубчик»), которую машинально паял; в курилке, тщательно перечитывая плакат «Береги глаза при работе на точиле»; в гудящей очереди за свежей «Вечеркой»,— и все сильнее и бессмысленнее, со стягивающим винтом в голове и груди, когда подходил к двери своего гибнущего дома.

Мысли дергались, метались; и стоило ухватить одну — бросались врассыпную.

Алла ерзала в любимом кресле над альбомами империалистических мод: ярко-глянцевая стопка с жирными латинскими буквами. Жена, любовно оглядывая ее, победно улыбалась.

Егор гориллой лежал на диване, жадно водил глазами по сальному, пухлому журналу.

Серый статуей Командора встал в дверях. Брат и жена слепо скользнули по его серому лицу.

— Привет! — брат.

— Есть? Там,— жена.

И тут же забыли о нем. Брат стал сочно хрустеть яблоком. «Скотина!» — пронзительно подумал Серый. Жена достала из шкатулки длинную сигарету и мило (гадко!) вытянула губы дудочкой, прикуривая.

Серый с каменным лицом вышел на кухню, трудно ел и думал: что делать? Не знал — что делать.

Вернулся в комнату, вновь грозно осмотрел жену и брата. Но они не замечали его; Серый с улыбкой палача включил телевизор и сел в кресло напротив — думать.

На свистящем экране лопнула и раскрылась синяя полоса, надвинулось и тактично отплыло ярко-желтое лицо, все громче шевеля сизыми губами:

«Шедевр зрелого творчества Шекспира, знаменитая трагедия «Гамлет», берет начало в час, когда все зыбко, неясно...» Лицо на экране скорбно задрожало. «Это — час обнажения ночной бездны, над которой вознесся дневной мир, час между ночью и днем...»

За окном стало темно.

Егор недовольно глянул на телевизор, буркнул:

— Сделай тише.

Серый не шевелился.

«Как ты мог? Как? Мог!..» — со стыдом и ненавистью перевел глаза на брата.

Телевизор вещал:

«Душа в предрассветный час еще погружена в ночь, все расплывается, двоится...»

«Вы — вдвоем... И ты! Как ты могла?..»

Жена плавала в вирджинском дыму, восхищенно меняла лицо, открывая страницу с вечерним платьем, расшитым жемчугом.

Телевизор продолжал: «Все здесь имеет два смысла. Видимый, простой — и необычный, глубокий. Все трагично и высоко...»

— Серый ты человек,— недовольно хмыкнул брат и потряс журналом.— Ящик этот, как соска, пришел — и дó ночи. Что там смотреть? Нечего там смотреть! Почитал бы...— Брат делал гордое, умное и вышло — самодовольное лицо: — Хочешь, дам начало. Это все читают.

— Нет,— глухо ответил Серый.

— А что там? «Правила игры»? Говорят...— встрепенулась жена и разулыбалась еще шире над страницей с драгоценными мехами.

— Нет. То — обещали. А здесь — перевод: мафия, политика и так... секс,— пояснил брат.

— Дашь,— коротко заявила Алла.

«Секс тебя интересует, дрянь, дрянь!» — задохнулся Серый.

Телевизор осторожно вставил: «За каждым словом и положением ощущается столь пугающая, может быть, последняя глубина, которую знает только ночь, когда с бездны сорваны все покровы...»

«Когда же они делали это? — наконец попалась Серому юркая мысль. («Ночь, когда сорваны все покровы...») — Ночью — я здесь... Развратница! — В груди отчаянно кричало и (слаб человек!) жалело: — Аллочка, как же ты, как же?.. Развратница!.. Как же ты, Алла?..»

Телевизор пояснил: «Трагедия идет в такой глубине человеческих душ, что вызывает головокружение в переживании ее бездн».

Голова в самом деле кружилась.

«Что делать, что?! — маятником качалось в ней.— Алла! — И внутри замирало, бессильно падало, но тут же перехватывало злобой: — Егор!»

Сделать Серый не мог пока ничего; даже сидеть в кресле было тяжело, липко.

Телевизор забеспокоился: «Трагедия долго лишена, казалось бы, главного: драматического действия...»

«Что же сделать?! — еще упорнее думал Серый.— Уйти! — В груди болезненно-сладко защемило: — Спасибо вам, спасибо, люди добрыя... И до земли поклонюсь! — Жар прилил к голове.— Куда? Ночь перебьюсь у знакомых. А потом? — Перед глазами понеслись неприкаянные ночи.— Жилья нет. Общежитие не дадут — есть жилье. В гостиницу не пустят... Уехать! — еще больнее и слаще заныло в груди.— Совсем, далеко... Пропадите вы пропадом! Нет у меня ни жены, ни брата, мать умерла, один я на белом свете, гол как сокóл...— И стало невыразимо жалко себя, одиноко бредущего по пустынным пыльным дорогам — все чужое, все злы, и захлебывающиеся лаем собаки гонят дальше.— Бродить нельзя. Остановят. Деньги... На работу не возьмут. Прописка... Нельзя уехать... В деревню? — шевельнулась слабая надежда.— Не могу и не умею в деревне. И даже никогда не был в деревне... Не то, не о том,— тут же сконфуженно понял Серый.— Егор, Алла! Гадость! Но что делать?! Ничего не могу,— вдруг тяжко, отчаянно решил он.— Обложен, как зверь серый... И потом — это мой дом,— туго зрело в груди.— Пусть они сами убираются и устраивают свою подлость! Выгнать!»

Он перевел дикие глаза на Егора: тот обхватил волосатыми ручищами черные колени, цепко, горстями держал журнал, плотоядно водил губами после яблока.

«Выгонишь его...»

Алла жалобно, страдая от великолепия полиграфических женщин, тонула в журналах; пепельница пред ней была полна кровавых от помады окурков.

«Аллочка, Алла... Как ты могла!.. Куда же ее выгонишь? Ей-то вовсе негде жить»,— смиренно вообразил Серый. Но в душе все не смирялось — злость жгла тем сильнее, чем трусливее бежал ее.

И вновь возопил телевизор: «Стой! Отвечай! Ответь! Я заклинаю! — воскликнул Горацио...»

«А выяснить! Все! Ответить за все!» — гулко ринулись мысли. И, холодея от прилива жестокости, Серый увидел себя: с огненными глазами, бросающего в лицо коварным Егору и жене страшные, разящие вопросы. Карающие руки настигают их; жалко, подло корчится в ногах липкий от страха брат, и тонко, покаянно воет жена...

Все это еще сильнее разжигало жестокость, дикость.

«Убью их! — сухо, ужаснувшись себя, решил Серый.— И — все».

Смутно увидел коченеющие трупы, свое чугунно-холодное, чужое лицо, длинные тюремные переходы, зал суда, мглу поруганной жизни... Ждал: вот появятся, удержат эти ужасные мысли другие — гуманные, добрые слова; но их не было.

Ноги встали и, скрипя в коленях, медленно пошли в прихожую. Там, в кладовой, висело Егорово охотничье ружье.

Серый механическими руками вынул ружье из чехла, дико осмотрел, зачем-то заглянул в дуло, прислонил холодный масляпистый ствол к горящей щеке.

«У-бью-у...» — гудело в голове.

Он пошел по коридору, запнулся в дверях. Со страхом понял: патроны в комнате, в нафталиновом комоде, среди пляжных тряпок жены.

— Что, на охоту собрался? — вдруг заметил его и хамски оскалился Егор.

Алла подняла глаза на Серого. Губы ее мелко задрожали («Поняла наконец свою неискупимую вину — поздно, поздно!»), и вдруг она прыснула сò смеху.

Егор ласково подмигнул ей, задушевно сказал:

— Ничего, Серый, скоро сезон. Смотри с отпуском не тяни... Костер, зо-орьки, уши-ица, ди-ичь...— И с хрустом потянулся: — Смак! — Кивнул в сторону Аллы: — Ее возьмем, как думаешь? Или не мужское дело?..

«Не смей, скотина, про мою жену и про мужское дело!» — хотел уже громогласно крикнуть Серый, но телевизор опередил: «И тут он вздрогнул, точно провинился и отвечать боится»,— говорит Горацио...»

В груди действительно дрогнуло, Серый сгорбился: «Патроны...» Ноги добрели до кресла, остановились, внутри что-то оборвалось, и он сел. Обнял ружье и поднял глаза на дрожащий экран.

«Сам Гамлет, черный принц, восклицает: «Боже, боже! Каким ничтожным, плоским и тупым мне кажется весь свет в своих движеньях! Какая грязь! И все осквернено...»

Брат горделиво повел плечами, заскрипел диваном и снова схватил журнал. Алла шарила новую сигарету. «Как ты могла...»

Телевизор сочувствовал: «Так открывается смысл слов королевы, обращенных к сыну: «Ты повернул глаза зрачками в душу, а там повсюду тайна черноты...»

Серый закрыл глаза. Вспомнил, как мать во сне повторяла: «Серый, Серенький мой, что ты?..»

От ружья горько, тонко пахло железом, маслом. «Что же, что делать?»

Время устало и остановилось.

— Серый! Спишь, что ли? — наконец грузно заворочался на диване брат.— Верно говорю: серый человек. Там — Шекспир, высокая трагедия, все разъясняют, а он кемарит... Ружье-то...

И телевизор с публичной мукой взвыл: «Ты знал страданья, не подавая виду, что страдал»...

— Не трогай его. Серый устал. Серый спит...— вздохнула жена.

Вспыхнуло багровое на черном: «Гамлет». В бездонном колодце неба метнулись факелы; с долгими скорбными звуками встала пепельная громада Эльсинора и одинокие серые фигуры в зыбком тумане.

Телетрагедия началась.

Правила игры. 4

«Домашний треугольник, и новый, четвертый персонаж — телевизор, уважаемый член семейства; вернее всего поймет эту историю без возможности сюжета мужчина в цвете средне-серых лет; черный принц — Гамлет; XX век — Серый, в бессильной ярости притворно спит в типовом кресле; быт-квартира — бытие Шекспира; укрощение строптивого зверя ревности силою обстоятельств — победа объективного бытия над негодующим сознанием; и, видно, не всякое ружье в драме непременно должно выстрелить (ошибочно приписываемое Чехову); сюжетец: за добро заплачено злом безразличия — легкая измена проблемы»

«Думай, думай сам; вспомни о своей старательно забываемой, бывшей (испускающее дух слово) жене; «как ты могла!»; и чем усердней изгоняешь это — тем томительнее ближе юное, нежное, влюбленное прошлое, дивно яркое в невыгодном сравнении с нынешней жизнью в зрело-серых тонах (все меняют телевизоры: черно-белые на цветные; отчего наоборот?); что это значит? стареешь? рано, не слишком ли рано? отчего тебе беспокойно, неуютно, неловко, и надобно долго, сбивчиво говорить о неудачной женитьбе, о неудачном выборе профессии, о неудачном выборе всего, что еще оставалось на жалкий выбор,— и о времени, о том, что удалось и не удалось сделать; образно выражать обывательское недовольство и замолкать только в театральном отчаянии...»

«А честолюбие, как и самолюбие (так убеждал всех, с надеждой, что это непременно передадут оскорбительно устроенной и довольной жизнью бывшей (о, слово!) жене),— все это было как будто чуждо тебе, и до сих пор ты деланно спокойно воспринимал и тихий брачный крах, и остановившееся без всяких скандальных причин, а по собственной растущей инерции продвижение по службе и по личной жизни; так что же, кто-то, иной ты, суетливый, истеричный, оказывается, жаждал? — неги? славы? или гораздо скромнее? но «если не грести — сносит течением» — и вновь длинные тирады: перечень обид, неудач, компромиссов, обманов и псевдонимов дел, рожденных ленью, усталостью, мелкой боязнью (чего?!)»

«Так ты сдавал и сдаешь свои нерушимые прежде позиции (декорации); так растет и утверждается с мучительным самокопаньем в тебе же — иной ты; вот для чего нужен цветной туман (дымка времени) неумело раскрашенных воспоминаний — лишь бы не видеть иного себя, серый силуэт его серой жизни...»

Ховин медленно подвинул к себе титульный лист рассказа и над заголовком «Серый» поставил жирный красный крест.

Матерь божья

В мастерской денежно успешного художника Сереброва вокруг облезлого купеческого стола располагались шумные гости. Хозяин — коренастый, с окладистой бородой и сверлящими свиными глазками — сидел, тяжело опершись локтями на толстую дубовую столешницу, молча, хмуро курил. На лице его стыла брезгливость, означавшая ум, и скрытность, хранящая правду о его таланте.

Ателье, «некондиционные», как мрачно шутил сам Серебров, работы, сделанные мастерски небрежно: смесь эротики, иконописи и темных символов,— все должным образом впечатляло гостей и придавало необходимый богемный настрой завсегдатаям. Картины глядели со стен тупо, мертво, и хозяин без обольщений знал это; «работал» и продавал он другие, «с нужными идеями и правильными формами»; эти же были оформлением интерьера, вроде обоев, которые недолго сменить. Иногда он и делал это, усмешливо приговаривая: «Сизый период окончен. Откроем бордовый».

Нынче отмечали помолвку — так вальяжно назвал Серебров субботний сбор друзей, их друзей и еще кем-то заведенных людей, осваивающихся с наглой застольной быстротой. Новой хозяйкой была Вера — невеста (так Серебров называл и тех, что жили у него прежде), маленькая, гибкая, с печальным и дерзким лицом.

Шумно. Серебров низко, с тяжелой убежденностью толковал о чем-то Коню — тощему, с лицом мученика плакатисту Коняеву. Вера расслышала:

— ...он принципиальный неудачник, пойми ты, разве это тот путь?

Конь вяло возражал, сыпал пепел на холщовые брюки.

Вера медленно, хмельно водила глазами; на лице ее замерла извиняющаяся улыбка; мутно, волнами плыли мысли о своей новой жизни.

Из дыма летели клочья разговоров:

— Вот Коняев,— рыжий скульптор кривым пальцем указал на него.— Он умеет любое рукоделье, во-обще — мастер, а спроси его: чем он занят?

Конь расслышал свою фамилию, встрепенулся, но Серебров цепко держал его за пуговицу и упорно толковал свое.

— А коневоды,— вдруг вызвался круглый, с прыгающими глазами критик (он все время согласно кивал),— что любопытно: состригают кобылицам гривы, как пишет Плутарх, а затем ведут их к озеру или реке. К воде. И когда те видят свое поруганное отражение — смиряют надменность и принимают случку с ослом...

— Это — о женщинах,— гадко расхохотался рыжий.

— ...закон велосипеда: «Пока едешь — стоишь, остановился — упал»,— все бубнил Коняеву Серебров.

«Зачем сказали это — о кобылах? — Вера шире раскрыла невидящие глаза.— Он услышал: Коняев,— и заговорил о лошадях... И, значит, только тогда эти кобылы?..»

Серебров гулко рассмеялся. Лицо ее дрогнуло: «С ослом... С кабаном! Как он похож на кабана... Меня остригли и подвели к воде — смотри! Кто тебя остриг? Я сама — модная стрижка...»

Она машинально поправила волосы; вернулись прежние мысли — одно и то же...

В день первый еще спала, а Серебров уже сидел, багровый, с колючим взглядом, упертым в холст. Уже собиралась уйти: «Да, я собиралась уйти, все ясно»,— когда он глухо, не оборачиваясь, сказал:

— Останься. Можешь?

«Могу?..»

С ненавистью — о доме, родных:

«Шаркающий по коридору, выживший из ума дед, корни родные; теребит все оставшиеся ему инстанции жалобами, хрипит: «Прошли, эх, прошли те времена», люто ненавидит всех, на кого еще может писать: «Нет на них сильной руки!..» Бабка, жизни мученица; нехорошо, тяжело умерла, проклиная: «Заели мне жизнь, нелюди, заели!..» — слава тебе, господи, развязались. Хлюпик — отец родной, неудачник с аллергическим носом, вечный трусливый троечник с кроличьими глазами и слюнями иллюзий. Ему бы пить, да зарплата грошовая: была — и нету. Мать — истеричка, лоно живоро-

дящее; с бурыми прядями сальных волос, сладкой готовностью к сваре; пошлые откровения: «Ты-то меня поймешь...»

И кругом — грязь непролазная, запах киснущего белья...

Выродки! И все учат жить — сами не умеют, не могут — и потому учат. Лезут в душу; лицемерные страхи за «наше золотко», «дрянь подзаборную». Пусть задохнутся от злости! Снисхождение — и то заслужить надо...»

«О чем ты?.. Остаться? Я давно все могу. Воспитание позволяет».

И — осталась.

«Если это любовь, зачем она так нужна?.. Да, я обманываться рада. Отчего я не рада? Я рада, рада!.. И он — сильный. Он — хозяин. Он остриг мне гриву и подвел к воде».

Серебров почуял ее мысли, повернул медное лицо, принюхался:

— Что ты?

— Все хорошо.— Она опустила глаза.

«Лгу. Почему я все время лгу? Но я не лгу. Так надо».

Исподлобья глянула на массивные плечи и мясистый затылок отвернувшегося Сереброва, и, помимо воли, шевельнулось желание.

«Нет. Кабан! Ты не нужен, Серебров! Вон хотя бы тот мальчик, как он смотрит, какие руки и глаза...»

Вера стала сквозь дым всматриваться в мальчика с гитарой на краю стола; тот замер с детским удивлением на лице после речей рыжего.

«Да, он тонкий, он поймет...»

Но тугие плечи Сереброва заслоняли его — жестокая сила, которую ненавидела и любила, толкала ее «туда, к купеческому, как все здесь, катафалку кровати».

«Да, у него все, как хочет он сам».

Малиновое ночное пятно, в которое втащил ее; а вокруг теснились: «их манит этим светом», все эти люди...

«Без света нельзя»,— профессионально говорил Серебров.

«А при чем же тут я? Я хозяйка этого,— сказал он. Да. Здесь мое стойло... Ночь. Такой страшный малиновый свет... И я увидела — кто я и кто он».

— Да что ты хочешь?! — визжал рыжий, хлопая круглого критика по плечу.— У него же все оценки овощные: зрело, сочно!

— Картины нет. Нет картины. С большой буквы,— с удрученной ехидцей соглашался круглый, и на его лице отражалось, как сосед пьет.

— Вот, Серебров, матерь твоя божья,— указывая на проем, завопил через шум за столом рыжий.— Э-э, брат, не поймал ты! Глаза есть, не спорю, но...— Он жалко махнул рукой, мутно перевел глаза на Веру: — Вот с кого тебе надо бы писать матерь божью!

За столом обернулись к картине. В грубых фиолетовых контурах стояли сумрачные глаза, тщательно увлажненные Серебровым.

«С меня... С меня, сказал он, писать матерь божью?»

Вера взглянула в настороженное настенное зеркало:

«Глаза тоскливые, как у кобылицы... С меня — писать ее... Когда у меня и детей никогда, матерь божья, никогда... Бога-то нет? Нет... Ведь все это знают? А почему?.. С меня писана ваша матерь божья... И хочет — не будет сына...»

Вера отводила и не могла отвести глаз. Матерь божья смотрела с прощением: в зыбком отражении большие тяжелые слезы медленно ползли по тонкому, с дрожащими детскими губами лицу.

А за столом шумно, не слушая друг друга и не поднимая голов, творили прежнюю пустую молитву.

Правила игры. 5

Ховин вспоминал:

«Вы — редактор? мило, как мило, проходите, прошу; так это вы привратник, не пускаете нас, грешных, в храм искусств; зрелые шедевры вянут на корню; ваша вина, не отказывайтесь, и не загладить; знакомьтесь; а позвольте уж я, на правах хозяина, и как поэт (стиховая культура, знаете, это — хроническое; всё — мои друзья), вам их слегка зарифмую:

— Вариант московской вакханки — смуглянка в косметической маске, шептала о языческих ласках; фанерный некто, с мимикой Хлестакова, потрясал интеллектом смысловые оковы; лирик тихий в провинциальном углу зачал пиррихий, звуча ногтем по стеклу; белобрысый патриций с поэтическим видом изгонял как беса собственный индивидуум; а сквозь дымовую завесу чернел многотомно-неизданным весом чернильный заика проз-з-заик; и, оглушая криком, дергалась трепетная губа авангардиста с поэмою «Дальтоническая Труба...

«И — неизбежно поддаться на ехидство, цедить слова, а вскоре уже безудержно говорить, спорить до пустой хрипоты о чем-то всемирно признанном, но никому не известном; о неких диких, доморощенных (хотя и с великими ссылками) философических субстанциях; умело (а значит, пóшло) огрызаясь по сторонам, спасительно шаря взглядом в поисках сочувствующих глаз, всегда женских; беспрестанно лгать, когда скудный запас аргументов, жидко настоянных на фактах, в аптекарском пузыречке знаний по капельке иссякнет; и — наконец-то! — уже на просторе хмельных выдумок ощутить всю неопределенную ширь своего мировоззрения, слепо оглядеться с русским чувством удалого раздолья и, метафорически разрывая от ворота с треском рубаху, гикнуть и тут уж — смертельно переругаться со всеми этими недо-умками, недо-делками, недо-стойными даже связно возражать — и в липком тумане злости на себя и кривое зеркало мира (вот какова такова духовная жизнь!) мчать в щедро уговоренном такси домой, где ждет неизбежное продолжение, вторая серия того же — глухой сон»

«Пора бы уже и научиться горьким опытом, мирно, вдумчиво сидеть дома, с хорошей новой книгой — да где взять?» — думал Ховин.

Встал, подошел к окну, смотрел долго, недвижно; там была осень.

Адам и Ева

— Если хочешь знать, мне бывает просто противно хоть что-нибудь делать...— Жена раздраженно повернулась от зеркала, опустив руку с итальянским карандашом: она занималась тщательным макияжем; и уже опаздывали в гости, к Лещинским.

«Просто противно... И с каким нажимом произносит!» — вяло возмутился муж.

— Для меня это не новость. Ты все, всегда делала из-под палки.

Губы жены обиженно дрогнули. Он тут же заговорил мягче:

— Есть семья, дом, пойми, это определенные обязанности, хотя это и скучно,— кухня, быт, и немалый труд. Но почему ты думаешь, я не понимаю или не оценю этого?

— Дом. Семья...— презрительно повторила жена.— Мы живем там, здесь, и это не наш дом, а твоих любезных родителей, а у меня дома тебя воротит от родственников.

— Не смей трогать моих родителей,— глухо предупредил муж.

— Ты сам, понимаешь, ты сам не знаешь, чего хочешь, где тебе хорошо, что ты меня мучаешь? — плачуще продолжала жена. Выступили красивые слезы; она, однако, вспомнила, что ресницы уже готовы для гостей, и, запрокинув голову, замахала перед нежным лицом руками — узкими, ухоженными.

— Почему это я не знаю? — медленно удивился муж и стал прощупывать в себе: «Знаю или не знаю?»

— Не знаешь,— упавшим голосом подтверждала жена.— Но за что ты на меня взъелся? Я все терплю, все, понимаешь?!

Она, согласно мизансцене, помолчала, ожидая — муж подаст реплику, соблюдая привычный темп ссоры, но он все перебирал в уме: «Знаю или не знаю?» — и без суфлера добавила:

— Не плюй в колодец, из которого пьешь...

«Колодец...» Это глубокое слово вдруг показалось мужу тайным и важным. «Да, колодец»,— думал он, удивленно рассматривая замысловатый флакон ее духов; представил, как медленно идет по кривой тропинке к ветхому срубу, наклоняется над плещущей темнотой, с надеждой и страхом

вглядывается, вдыхает влажную свежесть и все хочет что-то крикнуть туда, во мрак (сказать вполголоса нельзя, можно только крикнуть или шепнуть), бормочет чудные слова, и от этого еще страшнее становится тяга мрака...

«И кричи, кричи, не докричишься,— решил он.— Будет только неверное эхо...»

Он лег на диван в выходных ботинках. Это было грубейшим нарушением правил жизни, устанавливаемых женой,— зрачки ее расширились, но, оценив остекленелый взгляд мужа, упертый в потолок, она интуитивно решила: не стоит приземлять экзистенциальную высоту ссоры на бытовой уровень, когда в импровизации удалось, наконец, так точно и глубоко дать ему понять... Что понять — не могла бы выразить сложными словами, но чувствовала остро, с прозорливой яростью, вспыхивающей, когда он начинал брюзжать, корчить из себя требовательного мужа.

«Муж...» — подумала с давним сомнением.

— И потом — должен быть муж. Человек, на которого можно опереться. Тогда будет и все остальное. Жена — у мужа,— и она стала особенно довольна тем, что сам собой вышел такой простой, но содержательный афоризм.

«Что она говорит?.. Какая чушь, и всегда так: «Жена у мужа»,— все, пожалуйста, это так глубокомысленно»,— чуть не застенал муж, все топчась в нерешительности у воображаемого колодца; эхо неясно повторяло: «Знаю или не знаю?» «Она берет слова ниоткуда, и ей любые подходят — странное дело... А спроси: что ты этим хотела сказать — и ничего, кроме ссоры, не добьешься, не добьешься!»

Раздражение нарастало, но в глубине, и все не могло выйти наружу, словами.

— А главное,— жена сочла его долгое молчание своей полной победой,— главное: ты меня не любишь. В этом все дело.

Красивая, с нажимом точка. Но с любовью надо было осторожней; почувствовала, как муж напрягся,— он не терпел, когда в ссоре появлялось такое славное слово, ясный аргумент, и легко взрывался.

Муж хотел взорваться и на этот раз — от несправедливости, как считал, отношения именно к нему, к его любви.

«Если речь заходит обо мне — значит, мои чувства едва тянут на что-то... Зато у ней все безоговорочно высоко и неприкосновенно»,— в душе привычным жженьем уже пополз бикфордов шнур. Но какой-то посторонний равнодушный голос сказал от колодца: «А любви и в самом деле нет».

«Нет?» — Но ответа не было, и сам почувствовал: нет.

Жена спокойно и уже слегка весело глянула в зеркало и занялась влекущей линией губ. Муж смотрел на семейное отражение и со странным противоречием подумал, испытывая надсадное удовлетворение: «Красивая, черт ее возьми! И — моя».

Вглядываясь в ее рот, тщательно обведенный малиновой линией, он отыскал то затаенное нервное дрожание, которое появлялось в особые минуты: «И так бывает беспомощна, и так желанна, хороша, и нервна...»

Злость исчезала, проваливалась в колодец. Муж молча встал, подошел; долго смотрел на нежно-розовый пробор светящихся волос жены, так, словно собирался ударить; вдруг нагнулся, осторожно обнял и поцеловал ее в шею. От жены волнующе манило дорогими духами, на которые он жалел денег и которые все-таки появлялись «сами». Она подняла голову, благосклонно рассматривая в зеркале, как ее целуют, и сказала певуче, ласково, словно ничего и не было:

— Осторожно... Лещинские ждут...

Обменялись насмешливыми взорами, и муж вышел на кухню — курить.

У Лещинских было, как всегда, мило: весело, глупо, хмельно, вкусно. Муж, расслабившись в объятиях мехового кресла, со спокойно плывущим тщеславием наблюдал, как жена легонько кокетничала с неким Черновым, потрепанного гусарского вида, и с удовольствием сознавал: дела Чернова безнадежны, а все это только щекочущая нервы игра.

Когда ночью вернулись домой на такси, усталые и хмельные легли в двуспальную негу кровати, жена слабо отклонила ищущие руки, и муж без обиды повернулся на другой бок, стал по привычке мутно вспоминать перед сном прошедший день. Ссора вспомнилась так: «Была ссора».

«А завтра еще будет»,— с иронией отозвалось эхо.

Вечер у Лещинских был смазан, без художественных подробностей, но, в целом, мило. Муж лениво вспомнил, как жена воодушевленно вскрикнула за столом — и все обернулись: «Да, я хотела бы, чтобы меня звали Евой. Это такое имя!» Было ясно, что это особенное, очень женское имя — потому ей и хотелось, чтобы ее звали Евой.

«Но тогда меня бы звали Адам,— чувствуя глупость и желая ее, зевнул муж.— Нет, это не годится — Адам. Это не мое и не нравится мне — Адам... ам»,— эхо гасло в сладко шумящей голове.

Во сне по неведомым законам подсознания объявился колодец, у которого муж с женой в странном ожидании стояли нагими; мучительно хотелось пить, но ведра не было — как же достать воды? Жена — теперь ее звали Ева — беспомощно озиралась огромными молящими глазами по сторонам, и нервно, как в любви, дрожал ее рот. Но, хотя она по-восточному молчала, муж со вспыхнувшим страхом понял, что ему придется лезть в колодец. Было неясно, как смог бы поднять хоть что-то в горстях на поверхность, и главное — как уйти от этой гибельной обязанности,— но судьба уже мерно подвигала его к краю сруба, и залитая жизнерадостным солнцем поляна скоро и неотвратимо должна была смениться таинственным мраком...

«Я не Адам, Ева!» — но голос не нужен — не слышен...

Лещинские проводили утомительных гостей, усилием воли убрали посуду, пошли спать. Хозяйка (между прочим) сказала мужу:

— Все-таки этот, с глазастой женой...— и примолкла, взбивая подушку,— самые приятные, верно?

— Верно...— ответил ее муж и, пугающе зевая, натянул любимое одеяло на быстро лысеющую голову.

Правила игры. 6

«Знакомые — архитектурная чета, Адам и Ева; и другие, но точно такие: жена с ленцой кончила иняз, дабы элегантнее принимать гостей; муж — заумный программист, говорящий со всеми на Фортране (Алголе); радиоактивная природа брака, период полураспада — полтора года; чем меньшее связывает в совместном неумении жить, тем приятнее пара на людях — тяга к равновесию в городских полусемьях; правила игры для терпения брачной жизни; лечение же только кардинальное: ампутация друг от друга; вспомни с тихой привычной горечью и о своей бывшей (опять это слово!) жене — все, что осталось от недолгой интеллектуальной любви...»

Но кто-то дробно постучал в дачное окно, позвал:

— Хо-зя-ин!

Ховин нахмурился, вышел на террасу, приоткрыл дверь.

— А я вижу, вроде кто объявился,— улыбался до малиновых ушей сосед, жизнерадостный пиквик с местной разоренной птицефабрики.— А у меня как раз бюллетень. Дай, думаю, загляну — как дела-то?

— Дела? — откровенно поморщился Ховин.— Идут дела.

— А может, я помешал? — озабоченно спохватился сосед, но тут же вновь добродушно расплылся: — Может, в шахматишки или... Если дела — ты скажи, я — ничего...

Ховин длинно посмотрел поверх него, на охру дальней рощи; в груди тонко заныло, восхотелось уйти от прокуренного стола, тревожной рукописи — туда, в достоинство увядания осени, думать о высоком, о гармонии неизбежного; идти, идти...

— Да. Дела...— Он угрюмо качнул головой и с иронией заметил, как сосед недоуменно огорчился. Запахло жалостью.— Может быть, вечерком...

Надежда подрумянила блинное лицо соседа:

— О! Вечерком еще лучше — как раз Зинуля моя с работы придет, мы уж тогда основательно... И по ящику — футбол сегодня. Я, честно, не люб-

лю один смотреть, комментаторы эти — злость берет! Из Киева — видел? Они их — под орех, а тот все талдычит...

— Хорошо.— И Ховин, нарочно не церемонясь, прикрыл дверь.

Сосед, в футбольной досаде взмахивая руками, пошел к себе.

«Вот для такого читателя — что эта рукопись?» — зачем-то следя за ним из-за ситцевой выгоревшей шторки, подумал Ховин. «Да... Впрочем, читает ли он вообще? Про шпионов? А скорее всего некогда. Другие проблемы».

Старик

Новый серый корпус гордо стоит среди обломков дощатых садовых домиков, заброшенных, сиротливых яблонь и вишен. Городская жара. На двенадцатом этаже, в пустой комнате с окнами на юг,— старик.

Дети долго, упорно добивались этого сложного новоселья, выматывающе уговаривали съехаться, славно зажить вместе. Давно, со смерти жены, нужна была помощь: дряхлел, опускался, но старик угрюмо молчал, ехать никуда не хотел.

Беготня с документами кончилась (так и не согласился, а просто устал молчать и устал от обиды); старика посадили на такси, и, наконец, привезли на новое место. Его старую мебель сюда не взяли, только лживо обещали (видел это), а продали за бесценок; то же сделали с вещами, оставили только парадный костюм. «Хоронить»,— понял старик. Весело отдали вырученные деньги; молча спрятал их в скрипучей дубовой кровати — одна и осталась.

Ночью не спал, слушал непривычную окраинную тишину, зловещее гудение еще непокорных жилью труб, плач брошенной собаки. И все уговаривал себя: «Так надо, надо жить; им (так называл детей: «они») тоже надо жить; новоселье считают делом хорошим; что грызть себя, ушло время, ничего не изменишь, не поправишь».

Днем, с тяжелой, мутной головой, таращил глаза, шаркал по квартире, всем мешал, спрашивал глупости; жалко пытался, глядя на детей, радоваться, как они: кухня, лоджия, холл; где что поставят, как сделают...

И вторую ночь не спал.

Под утро босиком добрался по коридору до уборной; скрипя коленями, тяжело сел, напрягся — и с ним случился удар. Нашли его только через несколько часов и, суетясь и зачем-то ругаясь друг с другом, отнесли в кровать; раздраженный сын орал в телефон, вызывая «скорую», и тут — второй удар. Старик окончательно обездвижел и потерял голос.

Он тупо ждал: куда-то повезут, что-то станут делать: «Смерть, смерть пришла»,— и впал в забытье. Не знал, как приехала «скорая», как тормошили, торопились с уколами, как вежливо-холодно говорили с детьми и как вышло: зачем-то выплыл из белесой мути, уже не имея тела и желаний жизни, и снова увидел свою незнакомую комнату, спинку старой кровати, свежевыкрашенную розовым дверь, а не больничную палату, или кафель морга, или — го́спода на небесах, суд праведный...

Хотелось — но было отчего-то нельзя — хоть слегка двинуть рукой, ногой, хотя бы внятно шевельнуть губами. Не мог даже подумать об этом, как прежде, и желание это наливалось долгой мукой.

Не было тела. Чувствовал иное: будто кто-то изредка касался осторожной холодной железкой там, где раньше была нога, рука; или начинало скоро, шурша поскребывать, проситься, перебегало и вдруг соскакивало, оставляя далекое онемение. Редко, но страшно являлась нестерпимая электрическая боль. Тянуло и рвало паутину истаявших нервов, висящую над кроватью там, где раньше было тело; и тогда становилось каменно, мертво в горле, и наплывала желанная, беспамятная, всему безразличная муть.

Но старик все еще возвращался назад, в этот лучший из миров, и опять недвижно лежал; мучился уже другой мукой: тем, что слышал.

Сын его жил с женой. Старик раньше был твердо, удобно уверен: живут хорошо, вот только детей у них пока не было. Дочери — той не повезло: замуж не вышла, а ребенка прижила. Правда, по теперешним временам, отчаиваться нечего, могла еще жизнь устроить...

Но вот что, в обрывках, смутно слышал:

Утро. Дочь с невесткой завтракают. Сын еще спит, на работу не пойдет, взял бюллетень по уходу.

— Этот... Геннадий — смотрится мужик. И тачка у него есть,— жует невестка.

«Машина»,— долго соображает старик.

— Есть,— уныло, дочь.

— И чего? Бери козла за рога, тебе Машку одной тащить? Мужик теперь пошел дохлый, а с ребенком — всё, сразу — шмыг в кусты.

— Нудноват он,— презрительно, дочь.

Невестка трескуче смеется:

— Что же ему, колесом ходить? Зина, пойми ты, я бы сама, поверь мне, не отвернулась. Вон братец твой, гусь...— Понизила голос, не слышно. Смеются.— Тащи в койку его, там разберетесь.

Опять смеются.

— Он туда сам рвется...

— А ты не тяни с этим.

Ушли.

Встает, шлепает по коридору, заглянул в комнату, сопит сын. Долго, брезгливо переворачивает, постилает клеенку, тряпки. Бросает грязное в ведро; пахнет — выносит. Вернулся, садится поить, ушел; вернулся, с кашей. Кормит, смотрит холодными, серыми, матери покойной глазами и вроде — с отвращением, как на раздавленного червя. Ушел.

Глухо растет злость. Старик начинает шевелить, шевелить губами: «Не выходит, проклятая! Опять паутина, тянет, страшно, адово; смерть, возьми меня, и — хорошо, так, вниз, хорошо, муть...»

Опять комната. Солнце палит. Тянет дымом. Сын на кухне курит.

«Зря эта злость. Пожил — умри, не злись»,— хочет думать старик.

Шаги по коридору. Телефон; сын набирает номер.

— Ирину можно? — вежливо.— Алло, ты?.. Да. Да. Давай. Конечно. Ничего не значит. Лежит... пластом. Не бойся. Дуй сюда. Возьми что-нибудь.

«Обо мне сказал. Ирина?.. Вот как?! Паршивец!»

Долго тихо. Осторожно трогает грудь железка. Выше. Тяжело дышать. «Тяжко. У-ушла...»

Время висит в духоте.

«Пить. Слышишь, сынок, пить... Услышь меня, кричу ведь, пить!» Идет, услышал. Посмотрел, брезгливо двинул губами, поправил подушку, уходит. «А пить?! Господи...»

Звонок. Щелкает входная дверь.

— Погоди, Олежек, помада же...

— Что помада? — смеется сын.— Иди туда, на кухню. Есть хочешь? Шампанское в холодильник, в морозилку, да?

Гремят.

— А он где?

— Кто? Старик мой? Там. Расправь личико, радость...

— Нехорошо, а? Ведь он...

— Что он? — насмешливо.— Я же говорю, лежит, спит... Нет никого, ясно?

«Прав же он, прав, гад! — тяжко напрягается старик.— Привел, кобель, плюнул на жену, отцу в душу!»

— Жутко — вот так! — тихо говорит эта.— У меня мать тоже на ладан дышит. Не дай бог так. Ни туда — ни сюда...

Сын молчит.

«Головой киваешь, знаю!» — мучается старик.

— Да!.. В субботу жена нашла помаду твою. В пиджаке. Я не отдал тебе, так и носил, забыл совсем,— говорит сын.

— И что? — испуганный вздох.

— Потемнела от злости. «Что, Олежек? Помада-то японская, бабе твоей ее кто дарит? Привозят люди, не забывают своих»,— сын визгливо показывает жену.

— А ты?

— Крутился, как мог. Сказал: Наталья, с работы, знаешь, мымра, во! Обедать в кафе все вместе ходили, попросила: положи в карман. А забрать забыла...— Сын примолк и вдруг рассмеялся: — Она все равно никогда не верит, только вид делает. Молчит — и ладно.

На кухне — тихий шум. Нехороший шум.

«Милуются»,— с отвращением думает старик.

Сын идет к холодильнику. Назад. Хлопок — пробка. Шампанское пьют. Говорят тихо, не слышно. Идут, мимо — по коридору. Мелькнуло.

«Какая она, эта дрянь? И он — дрянь! На кровать, кобель немытый, потащил... Ох, не слышал бы!»

Скрипит. Смеются, слышно плохо. Слышно — скрипит. Кровать скрипит и скрипит.

«Мать, гадов растили с тобой, прости, господи, слова мои! Сын — гад. Умру я, а сказать не могу — кто он... Откуда взялись, стыда нет, совесть, сдохнуть скорей!»

Тихо. «Ясно. Теперь тихо».

Затопало по коридору. Вода шумит в ванной. «Голая там, дрянь...— отгоняя муть, сладко-зло думает старик.— А он-то — жене в глаза смотрит, не моргнет!..» Муть.

Солнце ниже, в окно — в упор. Душно. Поворачивают, поворачивают...

— Ох и тяжел ты, отец! — в сердцах говорит сын.

«Я — тяжел,— склеивает мысли старик.— Значит, тело-то есть... Зачем?»

Сын опять поит, кормит, мертво смотрит.

«Эта где, потаскуха твоя, где она? Ушла уже, отскрипели, ушла?!» — горько понимает старик.

Сыну противно — видно. «Нет, не материны глаза... Совсем чужой». Ушел.

«Шевельнуть хоть мизинцем — и умереть. Ничего не хочу больше, господи! Или — дай речь, придут все, скажу им, глаза откройте, что творите,— и умереть... Внучку увидеть, шепнуть: не смотри на мать, на дядю вшивого не смотри и на деда своего неживого не смотри, расти хорошо, сама сумеешь... Нет? — Горько умиляясь, думает о внучке.— Машенька... Хоть так... Где отец твой, эх... Совесть-то, совесть...»

Внучка — в лагере, приедет осенью, пойдет в школу, большая...

«Осенью приедет и пойдет. Осенью. Не дотяну. И было бы что тянуть...— От этого еще сильнее хочет увидеть внучку. Понимает: только ее любит; только к ней есть что-то, ниточка есть: — Я умру, Машенька, а ты живи, будешь жить. И будет хорошо. Ох, будет...— Дремлет, видит внучку, платьице — привозили в старый дом.— Жалко, покойница такую-то, с косичками, и не видала... «Дедушка, деда...» — ручонки нежные, за шею обнимет ласково, все ей расскажи да покажи. Миленькая моя, дедушка уже старый, что уж... Не увижу»,— решает старик и проваливается еще глубже, в длинный, мучительный сон...

Старый дом; город не город, село не село,— странный край; бегают, воют собаки. Он — солдат, зачем? В гимнастерке. Подходит ближе, открыл дверь. Где жена? Ищет, ищет; даже под кровать смотрел, совсем с ума сошел... Где она, должна быть! Нет ее. Тяжесть страшная, сел. Нет сил сидеть.

А за стеной — шум, веселятся. Глянул в зеркало (откуда, не висело там никогда), обомлел: гости, стол, музыка гремит. Свадьба? За столом — жена в фате, а рядом такой: глаз, носа нет, губищи шевелит, целует. «Горько!» — орут, их не видно. Такие же: «Разврат в них, дрянь — аж воняет!»

«Убью гадов!» — решает старик. Жарко, много сил; ясно, что делать! Но шевельнуться — нельзя, а те — все громче. «Сейчас!..» Тот уже поднял ее на руки,— и не жена вовсе, а дочь. «Что ты, дочка, куда смотрела, с кем!» — на кровать понес...

«Скрипеть они будут, скрипеть! — понимает старик, рвется, горе душит. А шевельнуться не дает: — Вот кто, главный, смотрит сзади... Черная дыра — рот, и оттуда глядит смерть. Его убить, и тогда — всё! Эх...»

И старик просыпается. Понимает: шевельнуться хочется наяву, а шум — за стеной.

Сумерки в комнате. «Кончить бы все это, господи... Как? Укол бы сделали, и все... Дождешься от них. Жилы вытянут, лечить будут. От смерти — лечить...» — и не может усмехнуться.

Музыка. «Гады, на костях пляшут...» Разговоры гудят, неясно. «Веселитесь? Совесть-то, эх... Где смерть?»

Что смерть? Не умел думать о ней. Будет — и все... Всегда думал мало, плохо; не умел. Приказывали — исполнял, поручали — делал. Работал много, деньги ценил, достаток, и все как-то тяжело, нудно, долго. Думать мог о том, что было; а смерти — пока не было. Когда же явилась в дом — оказалось, ее все равно не понять. На похоронах жены механически суетился и криво улыбался, сам о том не зная. Дочь сказала сквозь зубы: «Истукан! Черт!», сын зло молчал. Понял только одно, будто кто сказал на ходу: «Умерла жена. Горе теперь. Жена умерла». Вспоминал ее, говорил с ней часто, но горевать не умел; что прошло — не понимал и притворяться не хотел. И так — долго ждал, а чего — не знал.

«Всё... Чем жили с тобой, мать? К тебе хочу, все прахом пошло, на костях пляшут! Чем живут они — не могу сказать. Слава богу, не видала ты. Скоро уже. Что тянут, отпусти грех, туда хочу...»

Тихо. Угомонились. Расползлись по углам... «Что судить? Посеял — пожнешь. Так? Откуда это-то в них? Значит — было?» — путано думает старик.

По коридору носят посуду. Взад, вперед. Опять дым — курят на кухне.

«Пропало все. Эх... Не было — и пропало...»

— И что, Геннадий остается у нее? — сын, голос хмельной.

— Конечно. Что ж кругами ходить? Я ей так и сказала — действуй, созрел мужик! — хрипло, невестка.

— Решили его оженить?

— А куда он денется? Она же красивая баба, умница, что еще надо-то? С ребенком — одной? Будет муж.

— Трудно теперь сие.

— Ничего. Есть средство,— смеется, кашляет.

— А жить где будут? Нам-то что, зачем нам? — пьяно-тревожно сын.

— Не пыхти. Менять будем. У нее — комната, с ребенком, у него — квартира, точно. А две комнаты — наши. Сделаем отдельно. Четкий вариант.

— Две... А отец?

Старик замирает, перестает дышать: «Сейчас, скажет!»

— Куда... Ты же видишь. Всё уже...

Сын молчит. Говорит совсем пьяно, весело:

— Одни будем, а! Это же... Ну, пойди ко мне!

— Пусти,— ехидно отвечает его жена.— Я еще сто раз посмотрю, как мы будем. Найду еще раз помаду паршивую — смотри, ох, ты меня знаешь!

— Ладно, ладно,— бубнит сын.— Я ж тебе объяснял. Ты пойми...

«Всё уже»,— сказала, сука... Всё. Права она...»

Старик уже совсем плохо слышит, как сын с женой опасливо обсуждают, что делать, когда он умрет; как сын больше помалкивает, но потом увлекается, говорит, наконец: «Скорей бы уж»; вспоминает мать-покойницу, выставляет ее мученицей: «Теперь я ее понимаю...» И старик уже вовсе не слышит, как они тихо шепчутся: «Намекнуть врачу или сестре, с уколами — если отменить? Что тащить, мучить, все ясно...»

Мерно, на гигантском маятнике, старик то глубоко погружается в муть, то, задыхаясь, глотая ртом разреженный воздух, выплывает из нее; злость, обиду, горе, жалость — все мотает вверх-вниз и обессиливает.

«Внучка?! — вдруг понимает, видит ее.— Почему ты здесь, внучка?! Она-то, господи...»

— Деньги — ладно!.. В кровати он держит! — громко кричит сын.

«Она-то, она... Дедушка, деда... Всё». Муть.

На исходе ночи, когда начинает жидко, мертво светиться окно, старик вдруг выныривает с неведомой глубины, махом; вдыхает всей грудью про-

хладу из окна и чувствует прежнее тело, распятое жаркой болью; судорожно водит руками и дергает ртом: «Вот она, сила, есть. Есть еще сила! Встать, к ним, я вас — руками своими... Всё узнают, мать!»

Но сверху, тяжко дрогнув эхом, падает из мрака каменная плита, несет к земле и уже там плашмя, смертно бьет...

«Ах, вот она как?» — изумленно выдыхает старик, и плита врастает в землю. Его уже нет там. Его нет на свете.

Дети оформили смерть, вынули парадный костюм, собрали старика. В крематории невестка заплакала. Поминок не было — в старый дом не сообщали. Сын долго ругал похоронные порядки, напился. Наутро кровать старика вынесли во двор и бросили в строительный мусор. К вечеру кто-то забрал ее.

Правила игры. 7

Ховин выругался и бросил рассказ.

«Осмелели, все тащат в литературу! но если сегодня милостиво печатать такое — что завтра? где грань, за которой натурализм; правила игры — жесткость, но не жестокость...»

Он встал, раздраженно пошел к мерно гудящей печи; чертыхаясь, обжегся, открывая заслонку; сунул дров; затрещало.

«Не хочешь думать о том, что все чаще гонишь прочь, в далекое, чужое будущее: о смерти отца, матери... хотя испуганно видишь, как они на глазах сдают, как неумолимо быстро близятся к неотвратимому — и не можешь понять: рушится что-то главное, и рвущая душу жалость обнажает предчувствие такого одиночества, от которого нет на свете ни помощи, ни забвения, как нет и спасительных ответов укорам: ты мало, плохо, эгоистично любил их; ты забыл о том, что делало тебя человеком; ты нес им заботы, огорченья, обиды; ты... ничего уже не исправишь»

В печи страшно хрустнуло и жалобно завыло.

«Горечь беспомощной старости — разве ты думал об этом? а если ты сам (оставь, наконец, эту отвратительно модную черствость!) с невозвратно уходящими силами просыпаешься засветло; тяжко лежишь, слушаешь мерное исчезновение времени в старых настенных часах (жизнь короче, короче, короче — повторяют они сутки напролет); смиренно дожидаешься, когда встанут твои взрослые дети (да будут ли они? — вот что еще страшнее); неуклюже пытаешься днем никому не мешать, заняться видимостью дела; и — будто шорох, шепот по углам: «Что ты? зачем ты? кому ты нужен? зажился на этом свете...»; и все ближе дробный, коробчатый стук комьев мерзлой земли, там, на ждущем погосте,— от него все валится из рук, опостылело; в душе — дымящаяся пустошь; и лишь вспоминать, сладкой тоской вспоминать прошлое, ушедшее навсегда из-за безжалостного безразличия чужой памяти — вот удел...»

«Но разве нечего вспомнить старику? найти в своем уходящем времени хотя бы утешенье?»

«...(смутный перестук эха электрички); далекий воинский эшелон, что упорно полз туда, где творила свое ожесточенное дело смерть,— мимо разоренных станций, где едва шевелилась в черных выгоревших зданиях жизнь; «Куда везет этот эшелон?» — и есть верное, страшное, как удар штыком, слово: «На фронт»; но нет названия тому, что предстояло и слепым выбором оставило жить одних, а другие, еще живые, высыпали из теплушек, разминали ноги, справляли нужду, и доставал непременный белобрысый парень бархатную гармонику и жарил, вскрикивая козлиным голосом: «Ты ж моя подруга, Тоня...»; и—смутные мысли о жене, о старшем сыне — как там, в эвакуации? и о том, что впереди; щемило чувство дороги и неизвестности, путало мысли, прятало в туман лезвие тревоги; но сквозь этот туман все равно проступало родное женское лицо: озорное, с комсомольской ямочкой на левой щеке; бледное, потерянное в грохоте вокзала военных лет; спокойное, медленно плывущее по житейскому течению времени; последнее: восковое, с острыми мертвыми скулами...»

«Не только вспоминать, но и узнать то, от чего дрогнула душа и явились в клочьях тумана терзающие вопросы: «Для чего? для чего я жил?»; был ответ: «Я воевал, я работал, и я любил когда-то...» — но ждал не этих слов; упрямо не верил, но уже понимал — это другое, то, чем жил, а на главный вопрос нет и уже не будет ответа...»

И Ховин сидел, невидящим взглядом уставившись на глухое гудение печи.

На Парнасе

На мокром осеннем ветру после прокуренной комнаты дышалось глубоко, остро; в голове слегка звенело; и было неуютно: холод, дождь, ветер...

Константин — стриженый студент, Михаил Николаевич — типичный бухгалтер, Гарик — длинноволосый, без определенных занятий,— вышли последними с заседания литкружка и переминались под козырьком темно-бордового подъезда. Мокнуть не хотелось.

Михаил Николаевич отрешенно смотрел в даль бытия, в тучи; пухлая нижняя губа обиженно поджата. Сегодня в казенном помещении агитпункта обсуждали его длинную, «лебединую» (как жалко пошутил перед читкой) поэму о родной деревушке Горбыли. Ничего лебединого, однако, кроме смертного крика добиваемой браконьерами птицы, не получилось... Поэму обругали жестоко, с пристрастным остервенением. И кто?! Собраты по несчастью... Именно несомненным несчастьем представлялась теперь Михаилу Николаевичу дурная поэтическая страсть, вкрадчиво напавшая на него в солидном возрасте, с толстыми журналами и чужими сборничками стихов. Всюду, всюду он изумленно находил подтверждение: сам пишет вовсе не хуже того, что печатают...

Но о печати было скверно, противно думать: назад до сих пор отсылали все — чаще с отписками, а иногда и с издевательски-ругательными отзывами. В кружке ходили мрачные слухи о какой-то всесильной литературной мафии, влияние которой преодолеть местным талантам практически невозможно. Хотя каждый считал себя исключением, бодрился («надо закончить то-то, и показать этим: то-то!»), но Михаил Николаевич знал: все испытывали те же муки.

Он длинно вздохнул. Константин с жалостью подумал: «Федул, губы надул». Гарик же мучился одной мыслью: «С бухгалтера причитается. Хотя и разругали, есть традиция...»

А бухгалтер все думал об этом прóклятом богом литкружке — скверном месте, где (ясно видел теперь) собрались изгои, никому не понятные и потому непóнятые люди, и зарекался ходить сюда: «Хватит! Талант, если есть, зреет сам, довольно издевательств...»

— А в общем-то, Михаил Николаевич,— Гарик поскреб грязную голову,— там,— он пренебрежительно махнул рукой на бурую дверь,— все увлеклись, ну и пошлó. А поэма местами... весьма, поработать еще, кое-что поднять...

Бухгалтер обреченно засопел.

— «Моя деревня Горбыли, вы были или не были?» — Гарик с фальшивым чувством прочитал единственную строчку, которую запомнил (она повторялась в поэме раз двадцать), но в его голосе звучало такое очевидное томление и вранье, что Михаил Николаевич возмущенно поморщился.

— Я, вы же знаете, в другом ключе работаю (Гарик был нудно неистовым авангардистом) и потому так резко говорил, но если брать во внимание широту стилей...

«В другом ключе он работает! — с ненавистью думал бухгалтер.— Бездарь немытая...»

Он посмотрел на Константина с той же злобой, но увидел, что тому жаль его. Хотя это и унижало, но было все же каким-то пониманием. И Михаил Николаевич сказал ему бодро, так, что самому было тошно:

— Что, Константин? Ощипали меня, надо теперь горе избыть, как думаешь?

Тот понимающе кивнул.

— Гастроном еще открыт?

— Открыт, открыт, Михаил Николаевич, точно, плюньте, идите своей поэтической дорогой,— тут же обрадовался Гарик.— Я сбегаю?

Бухгалтер медленно достал, сурово дал деньги. Гарик деловито засуетился:

— Вы будьте на месте, дяде Мите скажите, а я мигом.

В соседнем доме, в бойлерной, хозяйничал дядя Митя. Он держал необходимую посуду и ржаной хлеб. Обычно смирно сидел в темном углу, попыхивая «Беломором», покачиваясь, лишь изредка поднимая слезящиеся глаза на странных гостей — никчемно заядлых спорщиков. А решать коренные проблемы литературы и жизни можно было здесь далеко за полночь: дядя Митя дежурил до утра.

Гарик колченого поскакал через лужи. Михаил Николаевич и студент пошли к бойлерной.

Константив тоже мучился: он хотел сказать что-нибудь доброе этому толстенькому, с собачьими глазами человеку, но поэма в самом деле была очень плохая.

«И такая длинная,— участливо думал студент,— сколько он страшных сил и времени положил... Так и сказал: «Мне трудно далась эта поэма, как говорят, лебединая песнь». Но тут же представил такого лебедя, как Михаил Николаевич, и не смог сдержать печальной улыбки.

Бухгалтер сам осторожно спросил:

— Что, Костя, скажи, только честно: в самом деле так плохо?

Студент помолчал. Много раз он давал себе слово не врать в вещах принципиальных, но язык никак не поворачивался сказать правду.

«Может быть, для бухгалтера и — наверняка! — уже воодушевлялся обманом,— это и не слишком важно: пишет человек и пишет, а зачем ему, если подумать, такой зуд?»

— Чувство, вернее сказать, желание есть, писали от души — это главное. А остальное ведь — техника...— И ему даже показалось, что не соврал, а сказал, что думал: небольшая, никому не мешающая слабость.

— Хорошо хоть так,— опять вздохнул Михаил Николаевич.

Постучали. Дядя Митя, кряхтя, поднялся из подвала по лестнице, клацнул щеколдой, опасливо приоткрыл дверь.

— Это мы, дядя Митя, суббота сегодня,— пояснил Константин.

— А... писатели! — Тот показал редкие коричневые зубы.— Ну, заходи, а где же этот, патлатый?

В бойлерной было тепло, уютно. Дядя Митя достал четвертушку ржаного хлеба, соль и пошел в свой угол, закурил вечный «Беломор».

Вскоре ворвался запыхавшийся Гарик и стал шумно врать про очередь, собственную изворотливость,— с ним всегда случались плохо выдуманные истории...

Курили. Разговор не клеился.

— А поэма ваша, Михаил Николаевич, я хочу добавить...— быстро, как суслик жуя, сказал Гарик.

Бухгалтер печально усмехнулся:

— Черт с ней, с поэмой! Наговорились уже о ней — вот! — И он жестоко провел ребром пухлой ладони по своему горлу (зарезанье лебедя).— Лучше, Костя,— Михаил Николаевич тут же больно хлопнул его по колену,— прочти что-нибудь! Я — люблю твои... Давно ничего не читал. Или не писал? То, что знаю,— настоящие,— он задумчиво пожевал хлебную корочку,— среди всех нас.

Честолюбивый Гарик заерзал на скрипучем табурете. Бухгалтер призывно вскинул очи:

— Прочти!

Константин смущенно думал: а что прочесть? Писал он последнее время все меньше, новых стихов — совсем мало, а в голове все повторялось бухгалтерское: «Деревня Горбыли, вы были или не были?»

— Есть у меня одно...— Константин пошарил по карманам, достал мятый лист бумаги и окончательно засомневался: читать ли?

— Читай! — Бухгалтер откинулся на спинку крашеного стула.

— Как называется? — презрительно спросил Гарик.

— Никак не называется...

Михаил Николаевич понимающе прикрыл глаза, и студент стал читать:

Вылиняли обои,
старые фотографии сняли.
В комнате жили двое,
комнату не меняли.
Но здесь переклеят обои,—
история эта страшна и проста:
въедут другие двое,
а на кладбище —
два креста...

Константин умолк, опустил бумагу на колени. Бухгалтер нахохлился, взял лист, волнуясь, надел очки и стал перечитывать, шевеля губами. Недоверчиво осмотрел студента, Гарика и начал читать снова; наконец торжественно обвел взглядом бойлерную:

— Ты... Это что? Было с кем?

— Было,— поморщился Константин.— С тетей моей, в другом городе, она вместе с мужем... Я тогда еще маленьким был, меня на похороны брали, а я...— и замолк на полуслове.

Он вдруг понял, как сильно, умышленно, ради бездумья рифм, солгал в этих стихах против того, что было в жизни. Белое удивленное лицо мертвой тети после звонка из морга, где с утра лежал ее муж, встало перед глазами. Оно изумлялось в гробу с ворохом соболезнующих цветов тому, что племянник, которого так любила и баловала, вдруг жестоко обманул ее, использовал страшное горе в своих пустых целях и даже не замечал низости, делал ее нарочно и еще рассказывал об этом чужим людям...

— Я тоже прочту! — взмахнул руками Гарик.— У меня есть новое: «Проба Апперкота»...

— Ничего ты не прочтешь,— глухо сказал Михаил Николаевич. Гарик вскинул оскорбленные брови, но благоразумно промолчал.— Ну, дай-то бог тебе дальше так,— благоговейно сказал бухгалтер Константину, отдавая мятый лист бумаги.

«Дай-то бог...— На студента нахлынуло запоздалое раскаянье: — Как раз не дай бог! Бог тетю взял и все видит...» Явно чудилось: кто-то огромный, мудрый сурово смотрит сверху, все знает и всех судит...

— Конечно, Михаил Николаевич...— Студент в торопливом испуге заговорил быстро, отрывисто: — Мы заняты, я точно знаю, черт знает чем! Стихи... О плохих — нечего говорить! О хороших — тоже, лишнее: в них и так все, что человек хотел и смог сказать. А мы все любим прояснять! Ну, да это оттого, что у нас стихи — плохие!

Бухгалтер недоуменно кривился.

— Плохие, да! — спешил студент.— Все это как болезнь. И дело даже не в этом,— пусть были бы и хорошие! Болезнь — все симптомы налицо: писать — раз, печатать — два; а три — кто-то и пишет и печатает, и, может быть, есть там и чувства и мысли его, а корень — вот: отчего ему упрямо кажется, что эти мненья-волненья интересны кому-то?!

Горело от стыда и хмеля лицо; получалось неясно, неточно...

— Такой уверенности нет и быть не может! И мы себя дурачим!

Дядя Митя посапывал в углу, его папироса потухла.

«Хотя бы этот самый дядя Митя... Если правду о нем — разве будут стихи?» — наконец понял Константин и резко встал:

— Все. Мне пора.

— Ложь! Все не так! — тонко, храбро выкрикнул Гарик; бухгалтер жалобно вытягивал руки, но Константин уже шел прочь, наружу.

Густо метались над кварталом ночные тучи, хлестал дождь. Константин натянул куртку на голову и широко, не замечая луж, зашагал домой. Мазками цветных огней плыли окна,— с ветром глаза слезились, и гудело в ушах. Идти было далеко, и студент почти бежал, уже не прячась от дождя и ветра, широко раскрыв глаза в темную небесную даль. В голове билась одна упрямая мысль: все уже написано, все есть, и ничего нового — не надо...

И уже трудно было привычно верить: всегда, до самого конца, который казался таким несбыточно далеким,— надо творить; нельзя только лгать — ни себе, ни верящим в правду и красоту людям.

Правила игры. 8

Ховин недобро усмехнулся:

«Не лгать ни себе, ни верящим людям? слухи о мафии, влияние которой преодолеть местным талантам невозможно? «местных» все больше, они уже и в самом деле пишут не хуже того, что печатают, а людей с подлинным даром, без рубрик, за ними не видно... не видно — земля ли оскудела? или бельма на глазах? стереотипы высидевших из ума в прежних креслах: «Это — можно, а это — нельзя»; на что же надеются эти, карабкающиеся к алтарю искусств, жаждущие хотя бы шепнуть пересохшим ртом миру — о чем? о чем? когда уже было:

«Навстречу студеному октябрьскому ветру давно, тяжело шел великий упрямый старец в сияньи мягких седых волос; холщовая рубаха, сердитые заросли бровей над глубиной одиноких глаз; вой ветра нес рваные голоса о предчувствии смерти, опрощении, семейном разладе, отречении от мирских сует, одряхлении, просветлении и раскаянии, усталости, поисках нового бога, безумии и освобождении...

(«Остановитесь хотя бы на минуту и подумайте о том, что вы делаете; подумайте о жизни...» — взывал старец.)

...он шел и шел, клонясь навстречу обдирающему ледяному ветру; шел прочь от одиночества, на которое обрек себя высотой духа...

(«Нельзя! — глотал он смертельную морось.— Чтобы жить честно — надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать и опять начинать».)

...а в доме осталась безумная от горя женщина, подвижница, мать его тринадцати детей; и он с терзаниями жалости думал: «Несчастная! Всех измучила и больше всего себя»; там остались и те, кто рылся в его бумагах, обвиняя друг друга и брызгая слюной в спорах о его наследстве — мыслях и чувствах! Осталась беззвездная ночь, когда спешно укладывали вещи, а он сбился в кромешной тьме с дорожки к флигелю, натыкаясь на кусты, упал, потерял шапку и наконец выбрался к конюшне, дрожа от холода и ожидания сцен, истерики,— назавтра, узнав обо всем, жена пыталась убить себя; осталось (летело далеко, по ветру истории) письмо с напоминанием о боге и совести человеку, которого называли царем его подданные; и с письмом — желание такого счастья, когда наденут саван, колпак и столкнут с облезлой скамьи, чтобы тяжестью тела затянулась на старческом горле намыленная петля...

...старец шел, а за его спиной оставалось время, которое он наполнил живыми людьми, их бессмертными мирами; время, еще дышащее в его опаленных стужей легких... И он встал, поднял голову, посмотрел строго, пристально:

«Много есть людей на свете. Но вы смотрите на одного Льва» (кто же откроет теперь тайну этих последних слов: смóтрите или смотри́те? — а он уже отвернулся и ушел дальше — в кружащую мглу, ослепительный свет иного бытия...»

И разве он не предостерег всех сразу:

«Вот я и сказал, что хотел сказать на этот раз. Но тяжелое раздумье одолевает меня. Может, не надо было говорить этого... Где выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому должно подражать?.. Герой же... во всей красоте его и который всегда был, есть и будет,— правда».

Пугало

— Где? Где?! — обиженно вскричал тощий человек, тряся полными сумками.

Загородный автобус угрожающе взревел, развернулся у опушки сосновой рощи, покачиваясь, показал пыльный зад. На стекле плясали кривые буквы: «METAL».

— Я — туда! Я — сюда! Никто ничего не знает! Где Марьино? Какой-то Сусанин повел...

Солнце стыдливо скользнуло за плоскую тучку, ветер мазнул по верхушкам сосен; всполошились пернатые крики; с опушки густо потянуло хвоей. Человек поставил сумки в пыль, восхищенно повел носом, поднял брови к залысинам:

— Воздух, а? Воздух...

— Миша, дорогой мой! — Гостеприимно разводя руки, навстречу плыл толстый хозяин здешней дачи.— Ты не так понял... Все добрались, слава богу,— на машинах. Ждем, ждем...

Гость оскорбленно изумился:

— Я? Я не так понял?! Смотри, что ты мне написал! Сейчас! — И он стал лихорадочно шарить по карманам, закатывая глаза.

— Ладно...— все шире улыбался хозяин; подошел, взял меньшую сумку.— Идем же. Пельмени...

Пошли по беспечно мелькающей за соснами тропинке. Гость горячо дышал в красный затылок:

— Красота у тебя... А тут — сохнешь в городе! В универсаме — очереди. Я с утра стоял — всем нужен один отдел. А здесь...

Хозяин неуверенно остановился.

— Вообще-то надо бы еще подождать.— Он недовольно задумался.— Кстати, для тебя дама. Я старался, а что-то нет ее. Да ведь ты один дачу не найдешь...

— Дама? Для меня? — резко встревожился гость.— Нет! Как же, Геннадий, надо ее подождать! Обязательно. Ведь ты пойми — тебя не найдешь! Знаешь, что ты мне написал! — И он снова зашарил по карманам.

— Да-а...— протянул хозяин.— Они ведь там. И сказали: будем ждать. Веруля моя сказала: пока Миша не приедет — надо ждать. Или идти в сельпо. Это далеко. Уже час лишний! Нет, видно, не приедет она...

— Ну почему ты так говоришь?! — трагически воскликнул Михаил.— Давай подождем. Я и сам мог позже приехать... Теперь автобус когда?

— Через полчаса,— с важным унынием ответил толстый.

— Давай. Неудобно же...

Хозяин осмотрел его лицо, затем небо; вздохнул.

— Ладно. Но их,— мотнул головой вдоль тропинки,— я спущу на тебя.

Михаил просветлел:

— Да... Воздух...— Тут же достал сигареты и, пряча огонь в узких горстях, жадно прикурил.

Хозяин пошел к пню. Тщательно оглядел его, подумал и сел; смиренно прикрыл глаза.

Михаил, вышагивая, как аист, заходил кругами по зарослям.

— Дай покурить, что ли,— вздохнул толстый.— Только Веруле моей не говори: взялась — запрещает.

— На! на! — обрадовался Михаил, подбежал с пачкой.

На дороге затарахтело. Он вытянул шею.

— Да еще нескоро,— с досадой сказал хозяин; прикурил, глубоко затянулся и изменился в лице.— Кажется, крепкие. А ведь некрепкие.

— Что за женщина, Геннадий? Скажи толком,— просительно заглядывал в его рыхлое лицо Михаил.

Тот затянулся еще длиннее, пустил синий клуб дыма, рассудительно поджал губы:

— Ничего бабенка. Тридцать два. Ну, тридцать шесть...

Михаил заиграл бровями.

— Живет, как ты, одна. Муж был, конечно, но вроде давно и один. Вот — духи у нее дорогие!

— А скажи,— не зная, что спросить, часто задышал Михаил,— она откуда?

— Как? — удивился хозяин.— В каком смысле? Работает в нашей конторе. Недавно. Там, правда, есть кое-кто, уже когти точит... Да это неважно.

Михаил потускнел:

— Неважно?..— И спохватился: — А ты обо мне-то, обо мне сказал? Кто, что... И вообще!

— Сказал. Да,— успокоил толстый. Осмотрел сигарету, поморщился

и обиженно бросил: — Сказал, есть идея: суббота, на даче, не-слабые люди, а один человек, такой...

Оба растерянно подумали: какой?

— Сказал, в общем, что книголюб ты. Теперь она будет у тебя книжки просить,— мелко засмеялся хозяин.

Михаил озадаченно почесал нос. На шоссе зашуршало.

— Нет. Не то,— уверенно сказал толстый.— А чего ты на автобусе маялся? Поехал бы с Соболевскими. Или с Леонидом и его подругой, они же на тачках.

Михаил недовольно облизал губы. Решил не отвечать, но тут же сказал:

— Понимаешь, как-то не люблю я на чужих машинах... Сядешь — не в свою тарелку. Хозяин восседает тузом, а жены... и говорить противно!

— Постой.— Лицо хозяина налилось медью.— Ведь ты всегда с нами ездил.

— Нет! Что ты! — умоляюще замахал Михаил.— Ты ведь...— Он быстро соображал: — У тебя же машина давно. Тебе она — тьфу... Кто недавно купил, это — да.

Толстый с жалостью посмотрел на брошенный окурок.

Ждали. Время вдруг потянулось медленно, с басовым гудением объявившихся лесных мух — меж сосен золотыми столбами встало солнце. На шоссе пустынно, тихо. Лицо Михаила вытягивалось, и он опять заходил кругами; хозяин недовольно сопел на пне.

— Сломался автобус, а! — хрипло сказал он.

— Почему же сломался? — робко глянув вдоль тропинки, возразил Михаил, все думая, как вести себя с незнакомой женщиной, и прибавил решительно: — Нет. Ждать так ждать!

Ждали еще.

Издалека загудело, все ближе, захрустели камешки на дороге, зашуршали шины. Михаил выбежал на опушку. Автобус встал, с лязгом открыл двери. Вышла старушка монашеского вида с огромной сумкой «Аэрофлот». В салоне — пусто. Двери снова безжалостно лязгнули, и автобус насмешливо покатил назад.

— Нет никого? — властно закричал с пня хозяин.

— Нет...— Михаил подбежал, с укоризной разводя руками.— Как же ты договорился?! А когда теперь...

— Всё! — Не слушая его, толстый вскочил, взвизгнул: — Теперь скорей! — подхватил меньшую сумку и быстро затопал по тропинке.

Михаил едва поспевал за ним; узкие губы его недовольно отвисли. Наконец, тяжело дыша, встали у плохо выкрашенного забора. Хозяин объявил:

— Пришли.

— Э-эй! — закричали с террасы.— Гляди, кого он привел! — И все смотрели оттуда на стоящего циркулем у калитки, хмуро улыбающегося Михаила.

Ели-пили много, шумно. Усердно хвалили природу, дощатый дом, пресные пельмени, тощую зелень с огорода. Хозяин, красный, пухнущий от счастья, повел осматривать участок. Там важно обсуждали сорта жидких яблонь, хилого крыжовника, прелесть сезонных работ.

Михаил все думал о женщине, которая не приехала, но тоже пытался вставить слово, туго вспоминая, как мальчиком был в деревне, у бабки. Слушали его плохо. Натужно смеялся, громче других, взмахивая худыми руками и косясь на женщин.

У тихо воняющей будки, на соседнем участке, стояло высокое пугало.

— Смотрите! Смотрите, пугало! — счастливо завизжала лихо стриженная девица, виснущая на плотном джинсовом Леониде.

Все стали смотреть. Соболевская, с холодными черными глазами, повела холеной рукой и что-то низко, грудью сказала.

Все обернулись к Михаилу. Он медленно поднял глаза.

На пугале, под ржавым чугунком с туго натянутой льняной фуражкой, косо висел, как и на Михаиле, клетчатый пиджак, драный, рыжий от солнца и дождей; но материал и покрой были похожи, и сидел — похоже.

Сухой Соболевский сжал округлый локоть жены, ядовито заметил:

— Мода есть мода.

— С ого-ро-да! — подавился хохотом Леонид и выпучил глаза: — Дорогой, не обижайся, а? Не надо, но вот бывает смешно, бывает, а?..

— С чего ты взял! — особенно весело ответил Михаил. Одернул свой пиджак, скривился и тайно, смертельно обиделся.

— А там у меня — яма компостная! — торжественно объявил хозяин.

— Ладно, что ты! — опомнилась хозяйка.— Пельмени-то! Там еще полтораста штук...

Потянулись к дому. Михаил с ненавистью глянул на пугало, на свой пиджак и с каменным лицом пошел следом.

Ели-пили и хвалили то же, что и прежде. Соболевский долго, озабоченно вытягивал шею к окнам, наконец встал, высунулся и приторно закричал:

— Мальчик, мальчик! Не на-адо, отойди от машины!.. Не на-адо!

— Это — соседа,— извиняясь, пояснил хозяин.— Бандит. К нам в сад лазит.

Заговорили о машинах.

Михаил косо оглядывал стол, молча глотал пельмени. В груди стояла обида. В животе заныло.

— Резина была дефицит, теперь — аккумуляторы. У соседа ночью на что пошли! Разбили стекло, открыли дверь, там — капот, и сняли! А тачка — прямо под окном! — кипел Леонид.

Его подруга хмельно следила за кружащей над пельменями сине-зеленой мухой, кивала.

— Из-за мелочи, полтинник цена,— на воровство идут!

— Да,— скорбно вставил Соболевский.— У нас гараж кооперативный. У нас есть деньги, и что вы думаете?

— И сосед, знаю,— мается! Ни-ко-го не нашли! — рычал Леонид.

Стриженая девица по-кошачьи замерцала глазами и цапнула муху. Разжала ладонь и надула губы — мухи не было.

— Колеса, скажу, если дача, без них никак нельзя,— подтвердил хозяин, поглядывая на сигареты и жену.— Скажи, Веруля... Цемент вози, кирпич вози, доски вози, гвоздь — и тот вози, а мастера?! — Ему хотелось еще поговорить о своей даче.

— В прошлый сезон Лидия сама,— кивал Соболевский,— представьте, как заправский водитель, ездила в Юрмалу.

Глаза его жены затуманились — она вспомнила о чем-то, сладко улыбнулась.

Михаил глянул на нее и стал снова думать о несбывшейся женщине: «У нее дорогие духи...»

— Я сам вылетал в Тбилиси, обслуживали симпозиум,— продолжал Соболевский,— и, признаюсь, волновался: как она? И ни одной царапины, поломки! Ее даже никто ни разу не остановил, от самой Москвы! — и он гордо осмотрел жену.

— А вот у него свой взгляд на сей предмет,— лукаво объявил хозяин, щурясь на Михаила.

— У кого? — изумилась Соболевская.

— У Михаила Леонидовича.

— Он у нас и стихи писал, да,— ласково вставила Веруля.

— Это интересно... послушать,— постно улыбаясь, сказал Соболевский.

В животе ныло сильнее. Михаил отодвинул пельмени, сделал надменное, и вышло — пустое лицо:

— Да. У меня есть мнение. Один мой знакомый... недавно купил машину...

Казалось, все смотрят иронически, после пугала, и он назло улыбнулся криво, независимо:

— Это — погибший человек!

Михаил подождал — для бурной реакции. Но ее не было.

— С тех пор, как купил... Я не говорю обо всех этих запчастях и деньгах: то, что вы...— Он покосился на Соболевского.— Садишься к нему в машину... нет, тачку, вот! И он не купил ее, а взял! Да, все так и говорят: «Я беру, я взял!» — С восторгом от своей проницательности он возвысил голос: — И теперь — откуда что берется: барство, хамство... Так и прет!

Леонид густо засопел, возложил тяжелую руку на плечо стриженой.

— Так сидит, так рука, так нога, так живот...— Михаил карикатурно показывал и сам зло, с дребезгом смеялся.— Сидишь, чувствуешь: ты здесь из милости какой-то, тебя везут, а ну — высадят! И начинается униженье, лезут вопросы: а какая модель, а за сколько покупал... брал? Про очередь, и противное сочувствие: бензин, как дорого, ой-ой! А он сидит важно, цедит ответы, пухнет, а все заискивают... Всегда душно и жарко в этой машине, а уж если курить: царь-барин курит, но вот ты куришь, а пепел? Куда пепел? — Он захлебнулся особенно злыми подробностями.

— Вы придумываете,— сонно сказала Соболевская.— Дело в культуре. Машина — это...

— Что же я выдумываю? — Михаил впился глазами в ее молочную шею.— Сами хоть немного подумайте, возьмите любых знакомых... А жены, жены!

И он похолодел. Наконец вспомнил, что и у Соболевских, и у Леонида, и у хозяев за забором — машины. Но обида, с пугалом, злость возликовали:

— Платят пять тысяч!

— Больше,— глухо вставил Леонид.

— Вот! Чтобы ездить одному, вдвоем,— об этом даже писали. Портить среду́... А опасность?! Это что?! За деньги? Идешь тихо, мирно, и вот — вылетает, а уж дороги не жди, ты ведь как пигмей, из банки этой консервной,— а сколько давят?! — окончательно побледнел Михаил.

— А у тебя-то есть тачка? — хрипло, с презрением остановил его голос стриженой.— Нет? Так что вякать?.. Пугало! — счастливо выпалила она.

Михаил задохнулся, вскочил, гремя ногами. Хозяева часто, мелко замахали руками перед его носом:

— Миша, что же ты, шуток не понимаешь, Михаил, ты тоже, сказать, хорош, нельзя так, мненье-сомненье, а подумать? Ладно, мы тебя знаем, сядь, сядь, тебе говорят! Кому говорят!

Боль в животе разлилась горячей волной, в глазах помутнело. И Михаил поспешил с террасы к будке.

Когда он с унылым лицом вышел, за домом натужно гудел мотор. «Уезжают»,— с вялым злорадством понял Михаил. Посмотрел на пугало. Ветер качнул пустые рукава злосчастного пиджака — казалось, пугало хотело и не могло протянуть беспомощные руки. Чугунок обреченно глядел в грядки, и что-то виноватое было в косых плечах.

Михаил взошел на террасу, понял: уехали Соболевские. Хозяйка сердито поджала губы, глядела в сторону:

— Всегда ты так, друг разлюбезный, думать надо! Пора им — ясно же, это пора!

Хозяин шумно, неодобрительно сморкался в огромный цветастый платок.

— Нет! А я люблю его, сукина сына! — захрипел Леонид. Стриженая трескуче смеялась.— Нечего! Верно говорил, я сам таких знаю, сволочи!

Михаил пошел в угол, утонул в продавленном кресле.

Молчали.

Хозяин уныло, по обязанности, рассказал анекдот, другой. Леонид начал, но в конце забыл. Наконец, стриженая выдала такое, что все переглянулись,— и тогда оживились, сели тесней, забыли про Михаила и продолжили трапезу.

Михаил сидел недвижно, обиженно, молча. Живот все еще ныл. Становилось жалко себя: «Женщина, что должна была приехать, не приехала; все вместе — и опять один, как пугало,— верно сказала эта стриженая, довольно смазливая она».

Стало виновато:

«Зачем нес всю эту чушь, когда машина, видимо, нужна, если человек так долго хотел ее и купил. Мало ли что противно? Зачем судить других, когда сам?..»

Что сам? — не знал, снисходительно задумался уже над этим, но чувствовал одно: одиноко,— но ни причин, ни вины чьей-то найти не мог.

«Почему пугало — пугало?.. Назвали, так и есть»,— в этом была тоска, но и определенность.

За окном быстро темнело, на террасе становилось уютно. За столом — смех, за окнами — такие же дома, и в них такие же столы, за ними — такие же люди, и так же светились лампы. И, наверное, даже одинокому пугалу было чуть веселее глядеть из хладеющей темноты на живые огни террас, силуэты дачных людей, отгадывать их разговоры, тайны отношений,— хотя и оставалась извечная грусть жизни: нельзя было пойти к ним, этим чужим людям, быть рядом, вместе, стать такими же, как они...

— ...и тогда доктор ему говорит: «Покажите...» — И опять за столом грохнул хохот.

Живот еще ныл. Михаил тихо встал, вышел с террасы, побрел к будке.

Шел через участок, слепо глядя по сторонам, и! — встал, как вкопанный, замер...

Пугало печально смотрело на свет в доме и вдруг — зашевелилось, неуклюже двинулось навстречу; засипел простуженный голос:

— Закурить не найдется, извините...

Михаил облизал трескающиеся губы.

Пугало опять задвигалось, подбиралось к забору:

— Закурить, если есть...

— Кто там? — высоко, с жутью крикнул Михаил.

— Сосед... Не бойтесь...— закряхтело в ответ.— Вышло, понимаете, курево, а вижу — свет в доме и вроде гости,— зайти неудобно...

— Сосед? — счастливо задышал Михаил.— Я... плохо вижу.— Он быстро зашарил по карманам: — Вот, есть!

Пугало разделилось на две тени; одна встала у забора. Михаил подошел и все еще опасливо протянул пачку:

— Берите, берите все, у нас там есть!

— Вот спасибо.

Постояли молча. Тень закашлялась, захрустела спичками и пошла вдоль забора, к дому.

«Миша!.. Миша... Ми-ша-а...» — далеко, из темного леса, заплутавшим эхом плыл в нежном тумане одинокий женский голос.

Правила игры. 9

«Да и нет — не говорить, черного и белого не называть... Так что делать с этой рукописью? «Заключение напишите коротко, определенно, чтобы ни нам, ни выше автор уже голову не морочил»,— так морщился заведующий?»

Ховин встал, аналитически походил по ехидно скрипучему полу:

«Ты, бескорыстный радетель славы литературы отечественной, отчаянный подвижник безвестных во глубине российской талантов, бескомпромиссной объективности профессионал, артистичный дегустатор текстов; а заодно — хладнокровный убийца слова, лицемер на жалованьи... вспомни, как воодушевленно вскричал, слепо напутствуя таких, как ты, в большую жизнь, седовласый филологический профессор, вечно молодой душой трагик, не принимавший худосочных сценариев будущего бытия: «Не все вы войдете в литературу! Но все вы будете делать ее!»; так что же ты будешь делать?»

И опять остро захотелось уйти к роще, дальнему оврагу, думать о высоком и оттого печальном; «река времен в своем стремленьи уносит все дела людей...»

«Скверный вопрос: что? а что делает автор? отчего он не хочет соблюдать правил игры? дилетантски не знает о них? или это плохо прикрытое стремление сразу, одним ходом добиться скандала, столкновения вычисленных мнений, громкого (на месяц, другой, а там будет видно) имени; заявить о себе в эпатажно желтой кофте: «Нате!» — или это сознательно вылупившийся, к сроку, из скорлупы благоразумного молчания риск? — кто не рискует, тот... именно тот до последних времен тихо-верно публиковал гонорарно выгодным тиражом свои шитые гладью сочинения и становился «членом союза членов союза писателей», и — глядишь: уже все менее скромно поучал (тащить и не пущать!) неудачливых в этих жестоких играх...»

Ховин усмехался:

«Вопрос шире, и что за вопрос: почему мало новых интересных имен? Кому же это выгодно? (если оставить на время нравственную сторону дела, хотя, будем реалистами, это удается все хуже); в безудержном почтовом самотеке опухший от головоломного чтения редактор получает рукопись — никому не известное имя; допустим (а все великие в своей беспомощности теории начинаются именно с допущений), и все же допустим: это остро, необычно, смело — таким и бывает талант; но есть на столе и скромно-добротный, в привычке традиции, «от и до», опус; автор его — человек в книжном кругу небезызвестный (не говоря уже — сам издатель); место же в не-резиновом плане — одно; что же это за вопрос — кого печатать? что за странный вопрос? но, будем искреннее, еще искреннее, хотя бы до разумных пределов: положим, книга с неизвестным именем на унылой обложке даже выйдет (еще одно сомнительное допущение,— выше редактора хватает вежливого начальства со своими крепко отстоянными взглядами и обязательствами); то, что вышло,— люди прочтут; хорошая книга — автор умница, молодец! плохая — редактор и его начальство (что еще хуже) — не-умницы и не-молодцы; вероятность же (и в том, и в другом исходе) получить по плотно нахлобученной служебной шапке самая высокая... а со вторым автором все заранее успокоительно (упоительно) ясно: «no problems»; так кого же выгодно видеть в плане? вот — правила игры...»

«Это — безнравственно? так мы же вместе на время отставляли нравственную сторону дела в противоположную...»

«В людях в самом деле что-то изменилось, они обретают голос? тогда что такое теперь это странное редакторское дело, малооплачиваемое служение изменчивой истине: права, обязанности — что изменилось? «Заключение напишите коротко, определенно (на погибель)...»—заведующий к старым словам освоил новые, вставляет их к месту (служебному) и не к месту — и всё?»

«Хозрасчет, все прогорят, плохое не купят? у нас всё купят! одних библиотек на любой тираж хватит...»

«Да, стыдно, весьма стыдно (еще вспоминается забытое чувство); а куда деть не-добрую половину дежурных претензий: темы-проблемы-идеи, герои, позиция, быт или бытие?.. хорошо, допустим, я даже готов поддержать рукопись — и что из этого выйдет?..»

Ховин не знал, что выйдет, хотя ничего хорошего по воспитанной с детства привычке не ожидал. Он еще долго скрипел задумчивыми половицами, наконец сел и размышлял уже обо всем и ни о чем, с остановившимся в углу взглядом: спасительное оцепенение одиноких раздумий...

Осенние краски шли на убыль, тени вытягивались на покой; и когда Ховин машинально поставил, заварил, испил скверного чаю и вернулся к рукописи — уже густо темнело.

Амазонки

— Это я. Слышишь? Хорошо. Я перезвоню... Вот так. Я сижу, реву... Всё — сил больше нет.

— Что? Опять?

— Да... Он, видишь ли, простил, он все готов простить, но обман — нет! Сам — все врет, не моргнет, заврался...

— Ясно.

— Приезжай!.. Злости моей не хватает! Права ты была, как права!

— После обеда.

— Я жду, я сижу... Я ванну приняла, надо что-то делать, не могу больше!

— Успокойся. Не ты первая. Нервы... Он где? Не хнычь!

— Укатил...

— Всё.

Из высотного, с огромными пыльными стеклами учреждения элегантно вышла молодая женщина. Молочные мягкие сапожки на порочно тонкой шпильке, кремовая плиссированная юбка, серебристо-палевые колготки, шоколадно-замшевый жакет, атласно-бежевая кофта. Волосы цвета кофе,

с подпалиной на короткой стрижке, модные губы в сладко-матовой помаде. Сверкнула влажно-карими глазами и, прижимая к высокому бедру сумку с золотым тиснением, дивно пошла вдаль. Шлейф заморских духов пряно тянулся за ней.

Мужчины замедляли шаги, откровенно и тайно разглядывали ее, восхищенно оборачивались; или, пряча небритые, жирные, сизые, дряблые и заветренные лица, угрюмо ныряли мимо.

Но она шла, ровно цокая каблуками, и рассеянно смотрела в марево города, не замечая никого. И было ясно — она никого не заметит.

— Такси!..

К тротуару подкатили частные «Жигули», зазывно распахнулась дверца:

— Вам далеко? — Молодой мужчина в кожаном пиджаке, запах лаванды.

Женщина холодно посмотрела на него. («Лаванда, горная лаванда...» — быстро забытый мотив.)

— Я хотел бы подвезти. Вас...

— Нет. Впрочем...— И она гордо, независимо села.

— Куда вам?

— Прямо. В конце я покажу.

Выжидающе молчали. Мужчина томительно искал — что сказать. Наконец принужденно рассмеялся:

— Знаете... Вы так красивы, а я совсем не умею заводить знакомства...

Она по-прежнему молчала, но взгляд стал темнее.

— Совсем не умею. И чем красивее женщина...— Он досадливо вскинул руки над меховым рулем.— А так хотелось бы...

— Не надо,— со скукой ответила она.

— Как? — Лицо его вытянулось, и сразу стало видно, каким капризным он был в детстве.

— Заводить. Уметь. И чтобы хотелось — не надо.

Дальше ехали тягостно молча. Наконец женщина деловито указала:

— Здесь направо, высокий дом, и за ним — остановите...

Приехали. Она стала открывать сумку, кошелек.

— Что вы! — уныло возмутился мужчина.— Ну... как вас зовут? Может быть, телефон?

— Не берите в голову.— Она небрежно улыбнулась и быстро, красиво пошла к дому.

Он длинно смотрел ей вслед:

«Как хороша... Откуда такие женщины? Где и с кем они?..» — Вздохнул и включил зажигание. Лицо — кисло-сладкое.

А женщина беззвучно смеялась, поднимаясь в лифте, и нежно разглядывала в стекле свое модное дорогое лицо.

— Ты! О!..

Хозяйка — длинный, синего атласа халат с золотыми отворотами и монограммой «Л»; волосы — «блондоран ликвид»; тонкое, обиженное лицо, нервные карминные губы.

Сели в кресла, закурили.

— Он мерзко ревнует! — И блондинка гневно пригубила гранатовый сок.— Хороший...

— К... Игнацкому? — Гостья откинулась, посмотрела прямо, нехорошо.

— Ну да, к нему...

— Но повод есть?

Блондинка осторожно засмеялась:

— Есть, конечно... Но при чем это? Он же ничего не знает и никогда не узнает.

— А я говорила тебе! — расширились зрачки напротив.— Вспомни, когда ты сама совала голову в петлю. Весь этот балаган с фатой, слюнявыми родственниками...

— Ах, ты была права! Как ты была права!

— И чем кончилось?

— Так... ничем. Но он устраивает гадкие сцены, бубнит о любви... А главное: как я поеду теперь?

— С Игнацким?

— Ну да. Там заказаны номера, уже есть билеты, его друзья ждут. Такие милые, и, знаешь, один латыш...
— Можешь не ездить.
Блондинка округлила синие глаза; гостья дернула плечом:
— Да, да! Глаза невинные... Игнацкий — такая же глупость, он такой же, милая, как все они... Славное печенье. Сама пекла?
— Да. Я испекла,— неловко, уезжаю. Он как будто страдает, хотела сделать приятное, а тут скандал! Ничтожество!
— Игнацкий... конечно, получше, да ненадолго. Морочит голову, его скоро не хватит.
— Тебе легко говорить...
— Мне легко?! — Гостья свирепо исказила одухотворенное лицо.— Ты взгляни, кто меня окружает! На работе — сторублевые инженеры, безмозглые, им и сто рублей много! Пошлость, серятина, и все — хотят, будто их держали на привязи!
Ее взгляд стремительно темнел, скулы мстительно заострялись.
— А эти — другие, ты думаешь? Я ездила — дом творчества: графоманы, грязные бородачи, нищие хлюпики, дрянные старики!.. Сейчас вез: переросток слюнявый, «мне хочется, будем знакомы...» — все похотливые козлы!
— Как я тебя понимаю! — со сладкой мукой морщилась блондинка.— Но что делать?
— Мужчина — мамонт, ископаемый. Вымер!
— Знаешь,— блондинка нервно рассмеялась, небрежно запахнула халатом безукоризненную ногу.— Я еще в детстве страшно хотела пойти куда-нибудь в археологию...
Гостья молча подошла к окну. Мрачно смотрела вниз, пуская роскошные клубы дыма.
— Открыть окно и крикнуть: «Мужчина!.. Не ты, и не ты!.. Где ты?!» И — прыгнуть. Видишь, как высоко?
Блондинка с деланным испугом спохватилась:
— Ради бога, отойди от окна...

И еще долго сидели, тщательно пили кофе, слушали мертвых Дассена и Высоцкого, говорили о редких фильмах, переводных романах, новых кроях (сказки «Бурда-Моден»), аэробике, сексе, медицине, экстрасенсах и диетах... И — о мужчинах.
Долго, горько и весело.

Правила игры. 10

Ховин печально улыбался:
«Витиеватое коварство описаний! «Вышла молодая женщина, прелестная видом, стройная, совершенная, с сияющим ликом, глазами пугливых серн, бровями, подобными луку новой луны; ее щеки — анемоны, рот — цветок лилии, алые губы — коралл, и зубы — стройно нанизанный жемчуг; шея газели и грудь словно мрамор; божествен гибкий стан ее — буква алиф; и как сказал поэт: «О женщина! я раб и господин твой!..»
«Собственные стихи: «Пробежит по переулку, глянет бойко, цокнет гулко металлической набойкой, и рассыплется искра из-под каблука... Электрически лукава, эллиптически модна, элегически одна...» Или: «На мини-пьедестале — стоит на тротуаре... Реформы моды, модные реформы — капризнее погоды... Посмотрит черноoко — распахнуты глаза, до холода глубоко затаена слеза...» — фотофрески»
Бóльшая половина слабой половины издательства, где работал Ховин,— милые сотрудницы, даже обладая кое-какими из подобных декоративных достоинств, влачили судьбу печальных амазонок, тщетно ожидающих нежных чувств (последний квартал двадцатого века, дипломированные женщины без любви).
«Дело женщины — есть дело любви»,— так говорил Лев Толстой?
«Вот они и маются без этого главного для себя дела — тема зрелого женского одиночества для проникновенных газетных статей...»

«Но отчего им одиноко? есть вечера «Кому за тридцать» (а лучше прийти заранее), чудеса клубной работы, где выйдет, профессионально притоптывая, массовик-затейник и решит все проблемы; есть самодеятельные драмкружки, где после работы можно отчаянно заломить руки в образе Катерины, а электросварщик, надежда театра, простуженно возгласит: «Маменька, вы ее погубили! Вы, вы... Вы ее погубили!» (А. Н. Островский, «Гроза», действие пятое; безвольный Тихон); есть странно красивые слова, без которых с трудом обходились раньше — «икебана», «макраме», и клубы их любителей при домоуправлениях: «Вот моя икебана», «А это мое макраме», «Я плету все, что можно плести» (впрочем, там не бывает достаточно противоположного пола)...»
«Но! есть же достойные мужчины (друзья сослуживцев), в безукоризненных серых костюмах, вдохновенным баритоном проникновенно читающие философскую лирику в интимных гостях; прощаются они ровно в десять вечера — глаза и помыслы их чисты; есть и слегка грубоватые, коренастые, с обветренными лицами (но не ветреной душой), молчаливые — слов на ветер не бросают,— надежные первопроходцы будущих трасс в районах Крайнего Севера, Сибири и приравненных к ним; есть и активные реорганизаторы производства на новые рельсы, экономически грамотные люди с инициативой, широким кругозором и стилем мышления; есть, наконец, просто добрые семьянины, души не чающие в детях, и — пять, семь, девять сыновей, и одна, две, три дочки — мать-героиня (если получится), и отец тоже героически улыбается привалившему счастью...»
«Так отчего же им одиноко? и кто сказал, что одиноко? — регулярные занятия спортом, умеренность в еде, духовная и физическая активность, полноценный сон — залоги бодрости и здоровья; «Все — на старт!», «Я выбираю — бег!»; аэробика (или это вредно?), ритмическая гимнастика и... терпение, терпение: взгляни в зеркало! — появляются изумительно длинные стройные ноги кинозвезды, кошачья пластика движений; вообще все — упруго, молодо, желанно и — смелый, чуть лукавый взгляд в будущее!»
«Так чего же им не хватает?!»
Ховин не раз поражался вдвойне: редкой красоте редких русских женщин и тому, кто и как сопровождал их по жизни, и часто это оставляло ощущение надругательства над природой вещей (и отчего-то личной обиды).
«Не ценим; разве женская красота не национальное достояние? в пику Западу творим наоборот: и даже актрис возносим пострашнее, позамотаннее — правда жизни; а правда искусства? и... может быть, дело все же в мужчинах?»
Ховин закурил и думал уже о себе: почему сам он, когда вокруг было столько свободных, с надеждой ожидающих любви молодых женщин,— после печальной памяти женитьбы, первого же неудачного опыта — жил без любви, случайным гостем, один. Вновь вспоминал о бывшей (далось это слово!) жене, которая обращалась именно в роскошную амазонку; морщился.
«Обратная сторона медали; то, какими мы хотели их видеть, с женским упорством доведенное до логического конца; искательницы кинолюбви и вкусной жизни... ухоженно-высокомерно-показное одиночество в кругу таких же подруг; но отчего входит в позорную моду эта демонстративная борьба полов? что за правила игры? и чего ради?»
Но ответа не было.

Дар

Эту правдивую историю следует начать с предварительного выяснения того, что такое «третий глаз».
Третий глаз... Впрочем, всегда вернее начать с героя...
Произошло все это с одним скромным сотрудником (дадим ему инициал Д., ибо подлинное имя нет нужды открывать) одного скромного учреждения, в ту пору, когда вокруг объявлялось все большее число экстрасенсов, медиумов, чудо-целителей, телепатов, знатоков эзотерического и людей, достигающих видения высших миров... Собственно, этих дивных людей и их поразительное искусство Д. не доводилось видеть воочию, но у каждого из знакомых Д. были знакомые с такими достоверно известными людьми. Ибо мир тесен. Все они творили подлинные чудеса (легкие сомнения Д. на этот счет не в счет).

Один из широко образованных сослуживцев Д. самолично избрал (после стрессового видения НЛО из окна своей дачной уборной) нелегкую, но заманчивую стезю теоретика невиданных явлений. Он-то в бескорыстном побуждении миссионера, несущего свет в лоно тьмы невежества, и дал Д. рукопись (из которой явствовало столь многое, что тема рассказа не позволяет, к сожалению, так далеко отклониться в сторону). Именно там, на листах папиросной бумаги, дальней родственницы папирусов, и встретил Д. пространные сведения о третьем глазе.

Из рукописи (ее азов) следовало, что: а) третий глаз предназначен для видения сокровенного; б) третьим глазом наделены все люди; г) третий глаз у подавляющего большинства людей спит; д) третий глаз пробуждают особые упражнения.

«И во лбу — звезда горит!» — вспомнил Д., как ему казалось, фольклорное, а значит, веками народной мудрости проверенное подтверждение читанному и впервые за последние годы своей скромной жизни не поленился — выписал эти упражнения (за недостатком места вынуждены их опустить).

Зачем Д. был необходим после прежних лет безбедной жизни третий глаз, он не мог бы ответить. Хотелось, конечно, неожиданно увидеть что-то сокровенное, но был ли он к тому психологически готов, не ожидали ли его на неведомом духовном пути суровые испытания, которых он, конечно, тотчас бы устрашился; наконец, достоин ли он, Д., такого опыта посвященных,— вопросы эти (по его неразвитости в трансцедентальных сферах) не возникали, и он принялся без страха и сомнений добросовестно упражняться.

Его хватило дня на три, и это было много для Д. Но то ли в слепой текст по воле провидения закрались опечатки, то ли он неверно (по той же воле) переписал необходимое, то ли исполнял все с недостаточным тщанием, а скорее всего такой путь к избранничеству был для него вовсе закрыт, но третий глаз не функционировал.

Правда, лоб чесался, и Д. с тягостной обидой почесывал его: «Неужели все сокровенное во мне стало рудиментарным?»

Он был бы ближе всего к тайной истине, если бы не иные обстоятельства. Жизнь продолжалась и без третьего глаза, а в благоприятном ее течении всякая горькая утрата смягчалась сладкой надеждой на известную компенсацию.

Так и случилось. Жизнь без бодрствующего третьего глаза, что была суждена Д., открыла ему... третье ухо.

(Здесь не место распространяться о природе этого удивительного явления. Еще со школы даже Д. было что-то известно о среднем ухе, не имеющем, впрочем, отношения к описанному ниже. Сам термин тоже принадлежит Д. «Есть третий глаз... значит, у меня третье ухо»,— решил он впоследствии.)

Произошло же все это именно так, как и должно (теоретически) происходить внутреннее обретение особых свойств личности: в момент наивысшего для индивида напряжения сил духовных, страстного желания, веры и целеустремленности. А главное — благоприятного поворота, благоволения судьбы. Вряд ли Д. мог бы обрести столь счастливый миг в своей обыденной жизни, размеренной службе, но тут и вмешалось провидение.

В учреждении, где работал Д., неожиданно удалось отправить на пенсию (и, по всей видимости, не без эзотерических средств) вечную сотрудницу отдела, старшую коллегу Д., который доселе был младшим. (Профессия здесь и далее по беллетристическим причинам опущена.) Это, само по себе чудесное, открывало перед Д. нежданные возможности, что в этом учреждении можно было смело назвать вещью из разряда сверхъестественных. Чудесное и в самом деле оказывалось рядом.

«Я — младший. Но теперь я буду — старший!» — торжественно объявил Д. трепетной жене, посвящая и ее в подробности составления соответствующей бумаги и ободряюще-благосклонных слов заведующего отделом (по слухам, сильнейшего, но тайного экстрасенса, чему приходилось, изо дня в день наблюдая его магическую работу, верить).

Прошла неделя, другая, но... решение вопроса оставалось загадкой. Д. был близок к нервной лихорадке — верное преддверие преображения. Вместе с ним в курительном углу сдерживала дрожь молодая сотрудница Б., служившая самой младшей,— для нее с переходом Д. на должность старшего открывалась не менее счастливая возможность стать не самой младшей.

А в полутемном кабинете заведующего и других солидных кабинетах, за плотно затворенными дверьми шли эзотерические разговоры, неведомые никому из непосвященных,— они довольствовались лишь бледными слухами.

Наконец Д. не выдержал и пренебрег наставлениями опытных коллег — пошел в отдел кадров. Открыл дверь смело, бодро, как и подобало перспективному молодому сотруднику на хорошем счету. Улыбка его была светла и честна:

— Добрый день.

— День добрый,— вопросительно поднял глаза от весьма важных бумаг педантичный начальник.

— Как мой приказ?

— Чей приказ? — тонко улыбнулся строгий начальник.

— Обо мне... Чтобы я стал старшим,— все еще бодрился Д., хотя уже чувствовал, как на лице, помимо слабой воли, проступает заискивающая улыбочка.

— Ах, вот что... Что же, я — за,— осторожно задвигал бумагами начальник, словно бы отыскивая куда-то запропастившийся приказ, и вдруг замер, немигающе уставился на Д., нервно сглотнул слюну. Д. испуганно оцепенел. Неожиданно начальник стал чем-то сильно расстроен, требовал взглядом сочувствия и заявил: — Но... надо немного подождать. Вы же в курсе — у нас работает комиссия. Вы... сами понимаете...

Д. поспешно, с недоуменной понятливостью закивал, презирая себя, и, пятясь, вышел задом, прикрыл обитую дерматином дверь. Хмуро глядя в даль коридора, он медленно шел в курительный угол, размышляя о тайнах служебного бытия, когда... к голове горячей волной прилило и отлило — открылось! Это и было — третье ухо.

Д. явственно, хотя и тихо, издалека или изнутри, услышал тайное эхо — голос начальника и свой собственный:

— Добрый день...

— Черт тебя подери, уже притащился...

— Как мой приказ?

— Что за народ! Комиссия копает, директор, зам — все горят синим пламенем, с меня спрос, а ему — старшего подавай! Уйди с глаз моих!

— Чтобы я стал старшим...

— Вот гад! Никто не станет сейчас подписывать твою дурацкую бумагу. И если на то пошло, на эту ставку давно есть человек в соседнем отделе. Не для тебя старались. Уйди, кому говорят, уйди подобру-поздорову!

Д. прислонился к стене, едва не падая от хлынувшего в третье ухо, помотал гудящей головой.

— Вам плохо? — участливо тронула его за плечо вышедшая из туалетной двери новенькая сотрудница, взрослая девочка, из техникума.

Эхо:

— Почему ты до сих пор никакого внимания на меня не обращаешь? Больной, что ли?.. Ну и женихи здесь, мрак! — тут же услышал Д. ее теплый, нежный голосок.

В курительном углу, изумленно открывая глаза после каждой затяжки, словно от предчувствия крадущейся погибели, его ждала Б.

— Был. Заминка какая-то,— горестно выдохнул Д.

— Да? Ничего... Главное — бумага пошла в ход.

И Д. с павшим на лицо жаром услышал:

— Был... Заминка...

— Я так и думала... Черт бы тебя побрал с заведующим вместе! Тебя не хотят двигать, а я, значит, на месте сиди? Ублюдок! И еще на что-то надеешься со мной?.. Иметь дело с таким, как ты,— ха!

Б. элегантно затушила сигарету, со значением подмигнула ему и, цокая высокими каблуками дорогих сапожек на заманчивых ногах, удалилась по коридору.

Д. стоял, курил, думал. Тошнило. По лестничной клетке пробежал вечно веселый знакомый из смежного отдела:

— Привет!

— Привет...

Вечно веселый знакомый убежал, а Д. со страхом вслушался в звенящую тишину, откуда являлось эхо, но различил только собственное:

— Привет.

«Ясно. Я для него вообще не существую — вот и тишина»,— наконец понял Д., печально вздыхая, но тут донеслось-таки слабо:

— Везет же дуракам — старшим будет...

Д. направился в отдел. Оставалось зайти к заведующему — тот должен был, по своим скрытым способностям, знать подлинный ход дел.

— Можно?

— Да, дорогой, заходите.

— С моим вопросом, кажется, заминка.

— А ничего страшного, не все так скоро... Я — за! — с нервной радостью заявил заведующий.

И Д., уже уныло обмирая от правды чувств и дел человеческих, слышал:

— Можно?

— Можно-то можно, да зачем? Ты ведь опять, подлец, курил вместе с Б., и, видно, правду о вас болтают.

— С моим вопросом, кажется, заминка.

— Вот оно что. Уже бегал в кадры — этого следовало ожидать... Но что ты можешь знать?! Директор летит — раз, зам — два, другой — три, страшные дела, и вот — шатается мой стул, меня при них брали! А теперь такие вещи решают скоро — хлоп! и готово! И ты в такой исторический момент лезешь со своим паршивым интересом? Зря я был «за», и зря — сколько раз зарекался! — любая бумага «за», сразу на голову сядут! А ведь работаешь ты погано... А дисциплина? Погоди, припомню я тебе, дай срок пересидеть катаклизм, храни господь, все — и Б. припомню!

Д. со смертной тоской поглядел на заведующего и потянулся к двери:

— Спасибо. Я понял...

— Ну, за что же спасибо? — иезуитски улыбнулся заведующий.

А на самом деле это было:

— Пионер, волшебное слово вспомнил... И еще пялится на меня! Марш на рабочее место! Распустились... И кто распустил — я, я!.. Неужели полечу? Надо, надо звонить тов. Непомнящему, если он еще сидит, он меня помнит... Только где он теперь сидит?

Д. сделал над собой усилие, чувствуя новый прилив тупой боли в затылке, пролепетал:

— Я, собственно... Плохо себя чувствую... Можно мне уйти сейчас, пораньше?

— Заболеваете?.. Ну-ну...

Эхо — гулко:

— Начинается! Лишь бы не работать! Вид, и правда, паршивый... Иди, иди, не до тебя мне, погубит меня гуманизм... Дохляк, и что в таком могла найти Б.?

Как в горячечном бреду Д. ехал домой в автобусе — голова раскалывалась, глаза и уши ломило. Дикие мысли путались: «Если не посадят в сумасшедший дом... А если найти себе применение? Шпионов ловить! Разоблачать!.. Вводят его, он гнусно лжет: «Я Иван Сидоров, рядовой инженер, имею почетные грамоты в соцсоревновании, работаю над рацпредложениями». А тут — я, для протокола: «Я, то есть он — Билл Джонс, матерый шпион, проник с коварными целями, прошел подготовку, по заданию резидентуры намеревался...»

Но и эти мысли сбивали случайные реплики в транспорте:

— Точно буду, звони ровно в семь!

А это было:

— Черта лысого ты меня застанешь, вот и лови по телефону!

Или:

— Неужели вы еще не были на этой выставке? Жа-аль... А я бы еще раз, с эстетическим удовольствием сходил...

А на деле:

— Жа-аль, что никак не заманишь тебя, хотя бы на эту паршивую выставку... Там бы начал морочить мозги, эс-те-ти-чес-ки, потом — в кабачок, а тогда...— И дальше такое, что вызвало у Д. уже нестерпимую дурноту.

Наконец Д., с трудом стоя на ватных ногах, доехал — и медлил у двери своего дома, сдерживая страх перед неведомой встречей с женой. Его и там ожидало — эхо...

Но жены еще не было дома. Д. разделся, подошел к зеркалу и понял — творится совсем неладное: щеки пылали пунцовым, глаза горели угольями, багровые уши набухли.

«У меня жар... божий дар...» — спутанно подумал Д. Пошел за градусником, в унынии сел с ним, и тут, в тумане, вернулась с работы жена.

— У меня, кажется, жар...— жалобно вытянул навстречу ей шею Д., со страхом ожидая ответа — и эхо, эхо!

Но жена подошла молча, пристально поглядела, потрогала рукой его раскаленный лоб и, вынув из подмышки Д. градусник, посмотрела. Зрачки ее сузились.

— Что... жар? — умирающим голосом застенал Д., понимая: чему быть, того не миновать... эхо, эхо...

— Надо врача! — решительно ответила жена, и тут перед глазами Д. поплыло, смешалось; эхо металось по комнате, и он все не мог расслышать, что же на самом деле сказала жена.

«Неужели?.. Неужели — правда?! И у нее ко мне нет задних мыслей?»

«Врача... Врача!»

Д. проболел почти месяц. Говорили — грипп, с осложнением на уши; боялись воспаления среднего уха. Когда же Д. стал осторожно выздоравливать, выяснилось, что странный дар им утрачен, и хорошо бы ему просто слышать не хуже, чем до этих, правдиво описанных событий.

«А был ли дар? Или был жар?..» — Д. еще некоторое время задавался этим вопросом и жалел лишь об одном: что так и не удалось выслушать третьим ухом любимую жену и родной телевизор...

На службе директора и замов сняли; заведующий ухитрился благодаря трансцендентальным связям в астральном мире оформить себе благопристойный перевод в место потише, а Д. вновь обещали, и уже твердо, сделать его старшим.

Значит, надо было ждать обещанного, как положено, три года.

Правила игры. 11

Ховин хотел подумать серьезнее — о причинах обывательской тоски по мистике, моды на духовное безрассудство, о том, что выдумка Ильина была бы эффектна для сатирической повести, но, машинально перевернув страницу, обнаружил еще один лист, со странным текстом:

«...после чего встал странник с желтыми глазами и рассказал такое:

Недалеко от Черного Леса (гиблое место!), там, где по ночам часто слышны нагоняющие ужас крики с болота, решил поселиться один человек по имени Го. Многие отговаривали его, но он никого не слушал — слыл храбрецом.

И вот как-то на исходе осени, в полнолуние, сквозь сон слышит Го: на болоте — жалобный девичий голос, взывает к нему: «Го-о... Го-о!..»

Он почесал в затылке, вышел из дому, видит: поодаль, в трясине, стонет прекрасная девушка в мертвом лунном свете и в отчаянии тянет руки. Го храбро поглядел на нее, сплюнул и молвил:

— Что?! Ждешь, проклятая ведьма, я брошусь к тебе на помощь и сгину в болоте?! Не на того напала!

Сказал — как отрезал и вернулся в свой дом; от плача и зова заткнул уши тряпками и лег спать, приговаривая: «Как бы не так... Го не проведешь на хилом колдовстве!»

А наутро вышел — видит: на болоте и в самом деле замерзла несчастная девушка. Дивной красоты...

Потом уже люди узнали, что это заблудилась ночью и забрела в гиблое место красавица Ни. А шла она в поисках храбреца Го,— ей ведь как раз такого мужа надо было...»

Ховин недоуменно повертел эту страницу, проверил нумерацию, понял: лист попал в рукопись случайно. И тут же вспомнил бродячую студенческую историю: спор, в доказательство которого один дерзкий выпускник вставил в середину инженерного диплома, после строгих технических выкладок, провокационную фразу: «В связи с чем трансформатор Тр. 2.1 предлагается изготовить методом бифилярной намотки из трухлявого пня — все равно никто дипломные работы не читает и они никому не нужны»,— что было, однако, обнаружено, хотя и в самом деле случайно, в рассеянном перелистывании кем-то из солидных членов комиссии экземпляра диплома в самом конце успешной защиты... Скандал, по легенде, замяли...

Ховин качнул головой:

«Коварство... И чем глупее притча — тем мудрее...»

Видео

Грохот города, марево лета, духота кафе. Спортивный, с буддийским лицом бармен. Мерно мигает видеомагнитофон. Шоу: с рекламно-туристскими видами, сверхновыми звездами рок-музыки, прыгающим весельем варьете.

За столиком — трое.

— Как отпуск? Собираешься?

— Отпуск? Никак не собираюсь. Вроде и некуда...

— Не скажи. Горящие путевки — самое милое дело.

— Э... Нет таких путевок.

— Советую: ехать надо в инфарктный санаторий. Женщины там...

— Какой же смысл?

— Ты не понял. Кто болен, тот болен. Значит — скука, мало мужиков... А сестры, врачихи...

— У меня была знакомая врачиха. Умрешь, а она оживит...

Пили кофе, курили, молчали, смотрели видео.

На ядовито-желтый песок сюрпризом выскочила мулатка в красно-кожаном купальнике. Ловко, гибко завращала бедрами, щурясь от тропического солнца; запела, высоко обнажая жемчужные зубы. По кромке воды резво побежали одинаковые ухоженно-бородатые красавцы в полосатых купальных костюмах-ретро, встали полукругом, задергались в такт. Мулатка то призывно раскидывала руки и тянула их с экрана, то зябко обнимала себя, прикрывая глаза в поволоке. Ртуть воды сверкала к горизонту. Камера — выше, в сиреневый дым неба, и стал виден далеко мчащийся белоснежный катер, а за ним, на тросе, парочка, летящая в обнимку, на оранжево-зеленом парашюте. А дальше, на изгибе дивного пляжа,— экзотически одинаковые пальмы, марсианские корпуса дорогих отелей, и всюду — загорелые, довольные собой тела.

— Загадывать нельзя. Надо так: вошел в поток, вышел из потока. Все. Великая пустота. Остальное — суета.

— Восток...

— Не знаю... Я езжу третий год — дело верное. Хороша мулатка, а? А ты?

— Я в игры эти теперь не игрок. Еду к родичам, с женой и с девочкой.

— А вздыхаешь?..

По экрану резво поскакали дежурно счастливые, небывало длинноногие девицы в купальниках, гетрах и повязках на лбу — аэробика. Прыгал и пел экспрессивный негр.

— Да ведь уже сейчас начинается: всем что-то вези — назаказывали! Ищи. А все равно никто доволен не будет. Но кого забыть — все, обида навсегда. Хорошо. Приезжаешь — родители: «Ох, девочка такая худенькая, и на тебе лица нет, один нос торчит, а жена, что же ты, на ней воду возишь? А как она за тобой смотрит, что да как...» Это — первый день. Родичи...

По экрану помчались, распугивая мирных прохожих, скорченные в три погибели за высоким рулем мотоциклов подростки — отчаянные глаза горят в длинных волосах, кожаные жилетки на голое тело; за спиной — в хохоте вцепились круглозадые подружки. Крупно — на алом бензобаке: «Ямаха».

— Второй день... Гости. Еще хуже. Все тебя каким-то дядюшкой американским видят, и все равно ты — жмот: на столе — не то, подарки — не то... Застолье бесконечное. А говорить не о чем, катастрофически. Да еще какую-нибудь старую любовь с собой притащат: «Как ты, что ты? Расска-азывай...» — жена тут, господи!

Из ретро-беседки, увитой плющом, высунул голову, блестящую бриолином, трагический красавец, дрогнул бровями. В левом глазу — рубиновая звездочка. Завороженно глядя на нее, пошла в романтическом полусне, хрупкая в пене кружев, с губами сочным сердечком, барышня. Поцеловались длинно, сладко; запели.

— И начинаешь, конечно, хвастать: должность, деньги... Или еще какой-нибудь референт ты — непонятно, как раз годится... Забудешься, а жена смотрит: она-то все знает, видит, стыд! А тебя ведет — они ждут этого! Назавтра — то же самое, и все долго договариваются: прямо с утра встречаемся и на какое-то озеро... И никуда, конечно, не едем. Вранье, дружба до гроба. Не был ни на каком озере...

И — вверх ногами выпрыгнул в кульбите сумасшедший лыжник, с алыми подошвами лыж, весело хлопнул по снегу, затанцевал вниз по склону. И еще, еще: три оборота в медленных брызгах снега и синем пылании неба над крутой горой.

— Еще хуже: умные разговоры. Как же, тоже не лыком шиты... Тут уже только стенографируй: что ни слово — Цицерон: «Да... существует мнение... «там» недавно говорили...» — и врешь, врешь; остановиться — нельзя.

— Верно! И я так ездил. Теперь не езжу.

— Едем со мной. На пару — еще лучше. Всегда есть подружка. А вдвоем проще, утомляться не надо: то один ля-ля, то другой...

— Суета. Все. Зачем? Куда ехать? Разве можно куда-нибудь уехать или приехать? Все — одно. Пустое.

В мечущихся цветных столбах, бегущих огнях надвигалась угрюмая рок-группа. Слайды на заднике — вспышками: огромная кроваво-алая пасть акулы; длинные, бьющиеся на изумрудной траве женские ноги в ажурных чулках; африканский ужас деревянного идола; чьи-то сладострастные губы в язвительной улыбке; вертолет в огне, рухнувший в ущелье небоскребов. И, перечеркивая все это, цветной спиралью вился лазер, рассыпался веером, пронзал игольчато алым и зеленым жирные клубы дыма, валившего из-под ног музыкантов. Крупно — лицо одного из них: накрашено белым и черным, длинная серьга в ухе с заглушками; презрительно шевелятся от пения или жвачки губы. И — посыпались клавиши синтезаторов, переключатели, мигающие лампочки...— из слайда, накрывая черным кружком дула ползала, стрелял мужчина без губ и бровей, с квадратной, желваками ходящей челюстью.

— Не слабо!

— Может, еще кофе?

От дальнего столика подошли две высокие, с узкими бедрами в полотняных «бананах» девочки — рты приоткрыты:

— Можно огоньку?

— Огоньку? Как же так? А цвет лица? А неги полное дыханье?

Во весь экран хохотал клоун-карлик с погибшим, синим лицом.

Девочки прикурили, вернулись за свой столик, хихикали.

— Смотри, как скучают...

— Брось, они школьницы.

Из-за игрушечных карликовых деревьев, у раскрашенного деревянного домика с золотыми скатами крыш, тихо вышла крохотная японка с фарфоровым кукольным личиком. Открылись узкие глазки цвета мокрой сливы и влажно-вишневая точечка рта; нежно запела, медленно поднимая ручки с ласковой мольбой. Камера поплыла по традиционному японскому садику; маленький ручей, сверкая, прятался за большими рядом с детской ступней японки валунчиками. Когда все было тщательно показано, за домом встала изысканно сизая громада снежной на дымчатой вершине горы. О ней томительно пела японка, к ней тянула ухоженные узкие ручки...

— А программа на вечер?

— Надо думать.

Шоу продолжалось.

Желтая вилла в тропическом буйстве зелени. Навстречу, по ослепительно-белому песку, пошел широкоплечий мужчина в шортах и рубашке хаки.

Подошел вплотную, дернул рукой, будто вырвал чеку у гранаты, заводил губами, сообщая что-то страшное. Нехотя пружинил на мощных ногах в голубых кроссовках; жестоко удивляясь, поднимал брови. На густо волосатой (в распахнутой рубашке) груди серебром мерцала тяжелая цепь. Пел долго, все с бо́льшим ожесточением, и камера впивалась в сухие, злые губы. Сверху, с плавно кружащего вертолета показывали весь зеленый атолл, с белой прибрежной каймой у рифов. Ожесточение на бордовом лице достигло предела, мужчина дико открыл рот, закричал; развернулся и вскинул руки к небесам. Небо над синей зеленью побагровело, вспыхнуло бело-желтым, дрогнуло. Фигура стала черной, красной, снова черной. И — над голым песчаным плато, на месте атолла, медленно, в курчаво плывущих завитках потянулся вверх бурый, выворачивающийся наизнанку гибельный гриб. Стоял долго, мертвенно мерцая.

— Вон чего! А ты суетишься: отпуск...

— И что? Ерунда это. Ничего не будет.

— Если что — то всё.

В экран неожиданно всунулось усатое лицо, призывно залопотало, косясь на плывущую из страшного гриба пачку длинных сигарет. Реклама. Манерные сигареты задымились в руках и во рту у всех — каруселью: смазливые девочки в спортивных авто; суперсолдат в баре с рыжеволосой пухлой подругой; узколобые студенты на пикнике; деловой человек — серый костюм, персональный компьютер; мягкая домохозяйка в нейлоновом фартучке, с кухонной чудо-машиной; лысый финансовый старик в дубовом кабинете: цепкие глаза, кофе, газета...

Еще раз багрово-синим вспыхнула марка сигарет; гриб всосался назад,— усатое лицо захохотало; экран остановился и погас.

Бармен с прежним, буддийски невозмутимым лицом поставил новую кассету — отечественное эстрадное веселье. Трое за столиком насмешливо переговорили и ушли с девочками в «бананах».

Грохот города, марево лета...

Видео.

Правила игры. 12

Ховин встал, подошел к допотопной ламповой радиоле с облупившейся полировкой и потемневшим латунным золотом окантовок (погибший дизайн); приемник исправно дослуживал свой век на даче, несмотря на суровые зимовки (ср.: чеховский Фирс, заколоченный в покинутом доме); осторожно включил сеть.

Магически ожил бледно-зеленый кошачий глаз настройки, мягко, отдаленным океаном мирового эфира зашумел прибой в осипшем динамике, и наконец раздался чуть сдавленный, словно от скрытой печали, женский голос:

«...получили многочисленные отклики на последнюю передачу. Пришло в редакцию и письмо от Виктории Г.:

«Встречаясь или знакомясь с мужчинами, я всегда сталкивалась с тем, что они бегут от всякой ответственности. Из-за этого я ушла и от мужа, мне надоело быть мужчиной в доме, решать многочисленные проблемы. Это у сильного пола бывают неприятности на работе и плохое настроение, это им позволено целыми днями валяться на диване перед телевизором или магнитофоном, это их, видите ли, надо беречь да еще не дай бог при этом задеть их самолюбие... Не говорю уже о моральном облике многих великовозрастных шалопаев... Не скажу, что мне теперь живется гораздо легче, но душой я даже отдыхаю, зная, что надеяться мне не на кого, кроме как на себя, и никто меня не подведет. И я еще не разучилась мечтать. Надеюсь все-таки встретить мужчину — не столько красивого, обаятельного, умного, а такого, на которого можно было бы положиться в жизни. Вот к такому скромному идеалу я пришла».

Прокомментировать это письмо мы попросили...» И уже бодрый мужской голос с тщательно скрываемой иронией начал:

«Не случайно в народе бытует такое выражение: «От любви до ненависти — один шаг». И еще: «Жизнь пройти — не поле перейти...» По данным же последних социологических исследований...»

Ховин усмехнулся и выключил приемник (тот покорно, с прощальной обидой утих), вернулся к столу и снова полистал рассказ. «Видео» возвращало прежние сомнения: «что можно? что нельзя? и что нужно?» «Разрешено всё, что не запрещено?..»

«Символ, электронная иллюстрация к хроническому без-мыслию с фальшиво-красивыми и тем желанными выдумками? диагноз грядущей видеоболезни душ? стереотипы модной жизни: нега фешенебельных курортов, бумажные цветы китча, рекламно-зрелищный спорт безумцев, рок-отдушина для инстинктов, псевдовосточная изысканность тайн, ужас презрения к человеческой жизни и лихое отчаяние перед концом света — все это с ветром видеоразвлечений уже накатывает крутой волной на скучающую от полутрудов, полубезделья публику и на жаждущую протеста (для самоутверждения) молодежь... зрелищ! — давние правила игры...»

«А главное — выдержит ли беспардонную конкуренцию с химически ароматной тележвачкой литература, требующая старомодного, нелюбимого взрослыми детьми достоинства: неспешности в работе собственной души? и самое главное — сохранится ли сама душа, ненужный придаток к дисплеям несомневающихся компьютеров, посрамивших цифровым умом своих одержимых создателей?..»

Ховин взял красный карандаш, над заголовком «Видео» поставил крест и, чуть помедлив,— аккуратный вопросительный знак.

Час апокалипсиса

За хилой оградой ветхого деревянного дома на опушке пригородного леса, возле бурого земляного бугра возился с лопатой старик в драном ватнике. Мимо, гулко смеясь, шли четверо, экипированные по-загородному,— дачники.

— Вот, вот!.. Взгляните, это у нас достопримечательность,— зловеще зашептала жена Боброва.— Он не в себе... Он бункер строит. Убежище.

Гости с любопытством посмотрели. Старик тяжело оперся на лопату, горестно оглядел бугор и медленно поднял глаза на прохожих. Взгляд его был странен. Что-то похожее на презрительную ухмылку: «Гуляете? Ну-ну... Догуляетесь. Поздно будет»,— застыло на его лице в седой щетине.

Бобров надменно надул губы, высокомерно смотрел на старика.

— Здравствуйте! — неожиданно крикнул Селезнев, поравнявшись с забором,— вспомнил, что в деревне, кажется, принято со всеми здороваться.

— Гуля-аете? — Старик неожиданно пустил петуха и смерил всех колючим взглядом: — Ну, ну...— и снова взялся за лопату.

Молча прошли мимо, с неясным ощущением вины.

В лесу Селезнев недовольно заметил:

— Какой бункер? Разоружаться начали... Погреб, наверное, роет... Еду хранить.

Жена Боброва убедительно замахала:

— Нет! Точно, все знают,— бункер! Уже заканчивает... Там, под бугром...

Жена Селезнева, услышав явное сомнение в голосе мужа, тоже скептически изогнула губы:

— Что за бункер? Зачем ему?

Бобров задумчиво огляделся на поляне и громко, гулко сказал:

— Бом-ба. Шарахнет — а он в бункере. Жить хочет.

Селезнев с женой мелко, нервно рассмеялись. С опушки сыро потянул и утих в ветвях хмурый весенний ветер; стало зябко, неуютно.

Шли по просеке. Разговор не клеился. Селезнев с большими паузами, словно обдумывая вопросы во всей их важности, спрашивал:

— И что, солидно построил?

Бобров так же, не торопясь, обдумывал ответы:

— Ну... Я у него там не был. Но, говорят, плиты бетонные, левые — автокраном ставил. Тут недалеко птицефабрику строят.

— И что, у него там запасы?

— Я видела! — выкатив карие глаза, ужаснулась жена Боброва.— Как в сельпо идет — берет крупу.

— Да. Крупу,— важно кивнул Бобров и привычно крепко обнял жену ниже талии.

— Вот, в самом деле, полоумный старик! — раздраженно заявила жена Селезнева; ее не обнимали.

— И что, он и ночует там? Ведь если... шарахнет — наверное, ночью? — робко осведомился Селезнев.

— Не знаю. Может быть, и ночует,— замогильно протянул Бобров; остановился и развернул жену.— Там грязь. Пойдемте назад. Сыро.

Пошли назад. Селезнев тяжело вздыхал — на душе стало скверно. «Разоружаются... а сорвется? Жить хочет... А мы—погибай?»

Бобров добавил:

— Ты, если хочешь, с ним поговори. У него, правда, каша в голове. Все какую-то комиссию ждет... Объясни: так и так, сам, мол, хочу построить, нужен совет.

— И ты с ним говорил? Ты что, собираешься строить? — заволновался от своей беспечности Селезнев, нашел руку жены и сжал, ища защиты.

— Что ты... Дачу, и то некогда подновить — разваливается...

Но что-то в его голосе показалось Селезневу странным, и он не поверил: «Видно, тоже... Шкуры свои спасают...»

И в туманной дали просеки будущее представилось страшным:

город в развалинах, радиоактивные ливни, ни души живой на сотни километров пепелищ... Все мертвы, и мертв — вспыхнул, как спичка,— и он, Селезнев. Его — вообще нет, горстка пепла. Но он отчего-то видит: все погибло, а в бетонном коробе, под бугром, при свете карманного фонарика сидит старик. И жует — крупу. Сидит, ворочает глазами, усмехается и жует.

— Чушь все это! — тонко выкрикнул Селезнев с ненавистью к этому перехитрившему всех старику.

— Полоумный, точно! — радостно закивала жена Боброва.

— Как знать...— рассудительно смотрел туда же, в даль просеки, Бобров.— Может, и будет жить... Потом умрет.

— Да что же это за жизнь? — в тон Селезневу воскликнула жена.— Если все погибло — тут уж... все погибло!

И Селезнев, услышав это из уст жены, вдруг понял холодеющим нутром: «Тут уж все погибло».

«Значит, книги мои и пластинки... я ведь только собирался...» — ожесточаясь, представлял он, как огненным смерчем охватило и швырнуло седыми хлопьями его любимую библиотеку, как черной жижей пролились, испарились в дым заветные пластинки («О, Моцарт!») — словно забывая, что прежде всего сгорел, погиб он сам, близкие, друзья, весь город, все на свете, а значит — все остальное уже не имеет никакого смысла... А в клубящихся грибом грозовых облаках проступали ледяные очи старика — он что-то страшно бормотал, но вой апокалипсиса сокрушал все слова на свете, и Селезневу становилось ясно: старик не говорил — он молча жевал. И жевал он — крупу.

«Не должно и не может быть ничего, иначе — лечь и умереть...»

Вышли на опушку. Встали. Старика за оградой уже не было.

«Пошел в бункер,— со злорадной проницательностью решил Селезнев.— Шарахнуть может в любой миг. Старик это знает. Скорее и пошел».

Он поднял ноющую голову, обвиняюще поглядел в небо. Серые облака безучастно плыли над лесом и деревушкой в сторону города, где погибель в час апокалипсиса была бы неминуема и откуда никому не было исхода...

— Ушел старик. Прячется,— загудел бас Боброва.— А то бы поговорил ты с ним. Меня он что-то не любит. Я ему прямо намекнул, что он — того... Все какую-то комиссию ждет...

— Какую комиссию?! — У Селезнева вся обида вдруг сбратилась на Боброва, заманившего в гости в это гадкое место, где кличет погибель старик. И он, горячась, стал возражать, лишь бы возражать всему этому: — Что же в нем сумасшедшего? Скорей мы полоумные!

Жена осторожно положила руку на его плечо: «Что ты?» Но Селезнев снял руку и с болью посмотрел в ее глаза: «Еще живые, а если... тогда сразу выкипят...» — и сам ужаснулся таким жутким мыслям.

— Да! Сумасшествие — делать то, что мы,— гулять по лесу, покупать машину, дачу, собирать книги, пластинки, когда все до сих пор висит на волоске! Страусы — вот! Голову — в песок, а что там, с задницы,— ладно. Главное, чтоб не так страшно?!

Бобров с вялым любопытством посмотрел на него:

— Так ведь не страшно...— Он улыбнулся, жена его весело закивала.— Ну... старик странный, конечно, да ведь это его дело. Ты сам подумай — тебе страшно? Вчера — было страшно? Ночью — как спал? А тебе, Лена?

Жена Селезнева вспомнила, что было ночью, улыбнулась и кокетливо пожала плечами:

— Ну, я же понимаю все значение... и переговоры... Хотя так — отчего-то нет, не страшно.

— Как же не страшно?! Жутко! — возмутился Селезнев, спешно отыскивая в себе: каково? Но прежние картины погибели уже меркли, и ледяными клещами жавшие душу предчувствия не возвращались. «Черт разберет! И в самом деле — не очень...»

— Ничего страшного,— жизнеутверждающе улыбался Бобров.— Все равно все когда-то умрем. Не бегать же в панике.

— Нет! Это — другое,— по инерции еще возражал Селезнев.

— То же самое...— Бобров мощной дланью привлек к себе жену, словно призывая ее в свидетельницы: «Ну что, разве мы с тобой не умрем? Еще как умрем-то!» — и горделиво добавил: — Охранительный рефлекс. Иногда накатывает неприятное... Накатило, так? Это все старик. Я тоже размышлял. Я тебя понимаю. Пусть роет! — Бобров еще немного подумал и добавил с величайшей серьезностью: — А вообще-то надо за мир бороться.

— Как бороться? — вовсе вяло возразил Селезнев.— Ну, скажи, как мы с Леной, если не для галочки, можем бороться?

— А так и бороться,— без тени сомнения продолжал Бобров.— Я, например, пару песен написал — против.

(Он работал инспектором в управлении культуры и был плодовитым, денежным «текстовиком».)

Но Селезнев нашел наконец, как ясно казалось, уязвимое:

— Перестань! Неужели ты в самом деле считаешь?.. Видел я по телевизору: собрались горлопаны длинноволосые, да за казенный счет, «мы — за мир!», а шпарят обычный рок, разве что слова другие, да ведь слов все равно не слышно — грохот! Приспособились...

— А что? — недовольно удивилась жена Боброва.— Песни Георгия, во всяком случае, теперь очень хорошо приняли, говорят — еще приносите.

— Да. И принесу,— торжественно заверил ее муж.— Ты же грамотный человек. Газеты читаешь? — уже откровенно съязвил он.

— Нет, не понимаю я этого,— обиженно буркнул Селезнев, заметив укоризну даже во взгляде своей жены: «Как же ты не понимаешь, да еще перед ними!», но упрямо повторил: — Старик по крайней мере к этому готов.

— К чему? К борьбе за мир? — усмехался Бобров.— Готов тот, кому положено: «всегда готов!». А с мрачными мыслями и делать ничего нельзя. Сесть сиднем — и пропадай! Или сразу — повеситься. Ведь ждать хуже всего... А надо — вкалывать!

Селезнев хмуро глянул на него: «Это песенки-то твои — вкалывать?» — и почувствовал, как глухо, бессильно ненавидит всех за то, что им неясно, как ему было страшно, а еще неизвестно — вдруг этот страх станет возвращаться?.. И дернул же черт приехать сюда! Но — благоразумно промолчал.

У ограды вновь появился старик и вдруг поманил пальцем.

«Что он? Что ему надо?» — враждебно глядел Селезнев, но, поколебавшись, пошел к забору.

Старик взялся сухими морщинистыми руками за серый штакетник, медленно поднял глаза с красными прожилками: «Что, боишься? Понял теперь?» — но неожиданно тонким, козлиным голосом сказал, приседая:

— Вы, простите, не из комиссии ли будете?

— Из комиссии? — поднял отяжелевшие брови Селезнев.— Из какой?

Старик хитро отводил глаза:

— Нет так нет. Извините, значит... А то я гляжу — ходят, а вроде люди чужие... У забора встали.

— А в чем дело? Вы говорите! — осмелел и уже не отступал Селезнев.

— Да тут... Зачем вам?.. Пишут на меня,— и старик покосился на соседний участок.— Есть тут один, нехристь, он и пишет: погреб, мол, у меня... материалы не те...

— Так у вас это — погреб? — показал на бугор Селезнев.

— Погреб. Хороший погреб — первое дело,— хозяйски кивнул старик и опять засуетился: — Так вы из комиссии? А то заходите, у меня и квитанция кой-какая есть... Что стоять так?

— Нет. Нет! Из комиссии, да не из той,— веселея, слукавил Селезнев.

— Ну, а то...— И старик громко высморкался, протер слезящиеся глаза и побрел за свой бугор.

Селезнев с просиявшим лицом отошел от забора и бодро направился к жене и Бобровым.

— Что он? — с нежной опаской спросила жена.

— Погреб это! Погреб! — счастливо объявил Селезнев.— Нет никакого бункера! Нормальный старик... И зачем — бункер? Смешно подумать...

Бобров с удовольствием ущипнул свою жену и раскатисто захохотал. Его тоненько поддержала жена. И так, по-прежнему смеясь, они пошли дальше.

А старик, опершись на лопату, смотрел на них из-за бугра. Но издалека все равно казалось, что смотрит он странно:

«Гуляете? Ну-ну, гуляйте. Догуляетесь... Поздно будет».

Правила игры. 13

Ховин перевернул последнюю страницу, взял чистый лист бумаги, открыл ручку, написал и подчеркнул: «Редакционное заключение. (В. Ильин. Рассказы)» — и надолго задумался.

«Проблема «finita la comedia»; так что делать теперь? Гулять по лесу, покупать машину, дачу, собирать книги, когда все — на волоске?.. Страусы — голову в песок, чтоб не страшно... так ведь не страшно; и в самом деле — умом все понимают, а в душе?»

Он понял — хотя грань апокалипсиса существовала реально, но принималась словно бы в отвлеченной, абстрактной возможности, ибо стоило хоть на миг сердцем, а не рассудком принять ее — из глубины души парализующим холодом поднимался неизбывный страх отчаяния.

«Но ведь все это не означает, что исчезает причина страха; и чем оборачивается вся мелочь интересов, скудных дел, ленивых желаний перед зияньем всеобщего конца? неужели человек способен привыкнуть ко всему — и даже висящий в собственном доме дамоклов меч воспринимает как надоевшую деталь интерьера? какими же словами нужно говорить, повторять набившую оскомину горькую правду?»

Ховин встал, подошел к окну — густо-синяя тьма. Вспомнил о приглашении соседа, глянул на часы и вдруг с пронизывающей остротой отчаянной надежды почувствовал: каждый ничтожный («тридцать три, тридцать четыре...») шаг секундной стрелки — последний?

«Река времен в своем стремленьи...»

Ночью, в вязкой усталости и пустом раздражении вернувшись от соседа — куцый футбол и скудные разговоры ни о чем спутали последние разрозненные мысли,— Ховин лег, долго, шумно ворочался; пытаясь заснуть, считал до сорока, вспоминал бесполезные аутогенные формулы; чутко слушал внезапный лай дачных собак и, кажется, впервые в своей должностной жизни тупо думал о прочитанной рукописи:

«Что теперь? «Заключение напишите коротко...» что можно? что нельзя? «а от страха наследного все боясь поверять свои мысли неясные времени,— даже рядом стоящего не понять»... но что за страх? перед кем и чем?»

Он вспоминал обрывки фраз, логику сюжетов, дважды курил; наконец, вздыхая, встал, зажег свет, пошел к столу, словно бы намереваясь перечитать все заново или и в самом деле написать короткий, определенный отзыв («подписано — и с рук долой!»), но, открыв рукопись, долго, оцепенело сидел, разглядывая в забытом зеленом свете старой настольной лампы первую страницу:

«Когда впервые в иной жизни встретил в палевом октябрьском сквере, в дымке стынущего утра, грустную нерешительность Твоего невесомого шага, хрупкое эхо каблуков, прощальный шелест плаща; в огромном мгновении, когда горячей осторожностью глаз коснулись друг друга; в милом овале девичьего лица, непокорной скромности локона и зовущей нежности маленьких губ — я узнал Твои юные черты, Любовь.

Гордо и строго несла Ты в бережных ладонях и долгое томленье времени и смутное желанье счастья будущего,— Ты одна знала, что рождена для неведомого пути, светом своим возвышала жизнь, и в глазах Твоих отражалась тайна неба...

Разве мы повторяли то, что было с океаном людей от века?

Все впервые.

Так начиналась наша долгая краткая жизнь».

Эпилог

Ховин проснулся поздно, с налитой сургучом головой и, зябко умываясь, понял — ни работать над своим, неожиданно постылым, ни собирать вчерашние мысли для заключения по рукописи не удастся. На даче было уже не по-творчески холодно и одиноко, а скверно — тоскливо, неприкаянно.

Глядя в бледное окно, Ховин выкурил кислую натощак сигарету, побродил по террасе, плавающей в мутном полуденном свете, вяло раздумывал: «Уехать — нет?», заранее зная ответ; связал рукописи: Ильина, двух солидно-скучных авторов и свою; надел неприязненно шуршащую куртку и, заперев дом, отправился на станцию, потерянно глядя по сторонам.

За дачным поселком — пестро желтеющие пролески; в поле — ни души; небо к горизонту бледнело и набирало все большую высоту. Ховин прошел через остро пахнущую влажной корой и грибами рощу, вышел к дальней опушке и, помедлив, двинулся в обход на склон крутого оврага.

Наверху встал, бросил связку с папками и сумку на бурый пригорок, огляделся. Было видно далеко в той особой прозрачности, что медленно выстуживала осень. Неожиданно пахнул еще теплый, с запахом увядающих трав, ветерок, и Ховин всей грудью вдохнул, подумал: «Если бы в книгах — хоть немного похоже — хлебнул этой радости? грусти?»

На обрыве торчал кустик зацепившейся за жизнь на песке травы; ниже, по склону, таинственно молчали маленькие норки насекомых, и в этой близости земли были свое спокойствие и своя правда...

«Правда; так что теперь делать? если прыгнуть — как высоко! вот и все правила, выйти из игры! что за страх?» — вернулось эхом ночное раздумье, но он тут же представил себя там, внизу,— жалкого, заляпанного глиной, с глупо вывихнутой ногой и ссадинами на болезненно сморщенном лбу,— и скривился над тем, что «и не думал прыгать, и вообще — пóшло театральным способом выходить из этой мучительной, но такой привычной игры... да и нет не говорить, черное и белое не называть,— круг замкнулся».

И Ховин пошел прочь, к гулкому перестуку поезда, без видимого сожаления мерно уходившего от осеннего дыхания леса и поля — к деловому грохоту города.

На станции ждал недолго.

Сел в торопливую электричку, пристроил связку рукописей на скамье, глянул в пыльное окно и нервно зевнул. Вновь всё — в вагоне, на станции, в мире — показалось странно связанным: «Людей много — миллионы, миллиарды... Или — одни и те же?»

Зашипели двери, закряхтел динамик, перрон быстро поплыл назад.

«Река времен в своем стремленьи...»

В вагон, долго, суетливо осматриваясь, вошел и, наконец, сел напротив Ховина щуплый старик с ехидным прищуром колючих глаз.

— Макулатура? — ухмыльнулся он, поглядывая на связку рукописей.

— Что? — очнулся Ховин.

— Я спрашиваю: на талоны, книги на макулатуру? У меня зять тоже собирает...

Ховин неопределенно пожал плечами («Прав старик?»).

Электричка деловито набирала ход.

— Вот вы мне скажите... Я вижу, вы человек интеллигентного труда, так? — придвинулся старик.

— Так,— рассеянно вздохнул Ховин.

— Хорошо. Почему же на макулатуру эту дают книги, не скажу — плохие, а все больше, как это,— чтиво?

Ховин оглядел его видавшее виды драповое пальтецо, обтрепанную дерматиновую сумку, поморщился:

— Да ведь чтиво, если подумать, тоже нужно. Вот в электричке...

«Может быть, большинству и нужно только чтиво: остренький сюжетец, выдуманная тайна, водянистая клубничка... (Мысль была старая, болезненная.) А литература?..»

— Согласен,— кивнул, хрустнув шеей, старик.— Пусть. Да ведь есть другие люди? Есть?

«Или нет? Все люди — одно и не одно...»

— Тогда и для них тоже — давай! Где книги-то взять?!

— Хорошо. А вы что хотели бы читать? — хмуро вставил Ховин. («Сейчас скажет...»)

— Я?.. Правду! — неожиданно разозлился старик.— Или, например, был такой светлый ум, голова, философ Гегель? Ленин говорил — был. Вот. Дай, а я прочту и скажу: вот он, Гегель!..

Ховин ядовито улыбнулся:

— Да вы предложите кому-нибудь на талоны Гегеля. Тут, на месте, и прибьют. А Гегеля выпускают. Для специалистов. В библиотеках есть. Читайте, только зачем вам?

— Вот! — насупился старик, глядя цепко, с неприязнью.— Для специалистов! Теперь все — спе-ци-а-лис-ты... Каждый одно знает, остальное не тронь? Специалист я, по Гегелю, а... кран в доме течет — меня не тронь! А где человек-то? Специалисты...

Ховин понял: он собирается ехидно спорить,— и промолчал. Старик обиженно глядел в окно:

— Или выпускают... Пришел я в магазин, зять послал: ты, говорит, ветеран, пошуруй там. Прошу: есть, дочки, книжки поинтересней, мне надо. Они смеются: выбирайте любую... А там поэзия эта! — Сухо подкашливая, он зло усмехался: — Я понимаю: Пушкин или Есенин — поэты. А тут? Лишь бы не работать! По телевизору видел: вышли, гурьбой. Не хочет на трактор, а все гудит в нос: «Поле родимое, березку тут поцелую и там поцелую...» А деньги — гребут!..

Ховин вспомнил уже слегка известного сокурсника: тот долго рядился в деревенского увальня, писал длинно, со словечками, супил брови, вечно ходил с грязными ногтями; катал небылицы из жизни своей бабки, потом ловко женился в столице, пообтерся, приосанился и уже с прежним крестьянским упорством «заколачивал деньгу»...

«Может, и прав старик...» — Ховин отрешенно поглядел в окно.

«Правду. Правду хочу прочитать... Старик... Знает, зачем книги».

Было отчего-то все тревожнее, и упрямо толкались тайно вызревшие мысли. Одна — выйти из игры, жить, наконец, своей, личной, для-самого-себя жизнью; другая — «довольно! хватит, позорно увиливая, размышлять чужим умом, а надо встать в рост, наперекор всему, хотя бы за эту обреченную рукопись, за собственное достоинство, наконец!.. нужны не правила игры, а правила жизни...». И третья, странно безответная: «А что нужно? Какую правду?»

Ховин вышел в лязг тамбура, жадно курил, все путанее думал об этом; вернулся и резко спросил задремывающего старика:

— А что вы читаете, книги какие?

— Я? — Тот осоловело заморгал.— Я... ничего не читаю. И глаза не те. Зять собирает. Иногда-а га-азетку освою...— Старик зевнул.— Я к слову говорил. Мне за народ обидно!

Ховин задохнулся и стал безнадежно смотреть в окно.

Электричка сбавляла ход, мелькали грязно-белёные постройки; опять закряхтел и пусто щелкнул динамик.

«Правила игры...»

Город.

●

Николай КОТЕНКО

Два стихотворения

* * *

Все вскачь:
по городам и весям,
А если правду — мимо них,
И не грязищу — небо месим
Отнюдь не на своих двоих.
Мелькают в окнах
хаты, мамы,
Друзья летят, как на пожар.
И вытесняют телеграммы
Эпистолярный ветхий жанр.
Толстого — по диагонали,
Из третьих уст — Сковороду...
А уж природу доконали —
Как злую мачеху в аду!..
И вместо разговора — ропот,
Непостижимый, как судьба.
Несясь галопом по европам,
Не слышим н самих себя.
Для скорби
будет ли причина,
Когда,
как в дьявольском кино,
Промчимся мы и мимо жизни,
И мимо смерти заодно?..

Ночь в Малеевке

Как хорошо:
дымится чаек,
н тлеет в окурках
шальной уголек,
и тнхой беседы
журчит ручеек,
и нынче никто из нас
не одинок.

Как славно, Андрюша,
что мы — как друзья,
что стежек окольных
не ищут глаза,
и если блеснет
ненароком слеза,—
так это от дыма
и, в общем, роса.
Все ладно у нас,
и проблем
никаких,
и даже приемник над нами
затих;
и если продлить
этот редкостный миг,—
созреет в душе
самый ласковый стих...

●

Борис СЛУЦКИЙ

Из литературного наследия

* * *

Жалкой жажды славы — не выкажу —
ни в победу, ни в беду.
Я свои луга
еще выкошу.
Я свои алмазы —
найду.

Честь и слава. Никогда еще
это не было так далеко.
Словно сытому с голодающим,
им друг друга понять нелегко.

Словно сельский учитель пения,
сорок лет голоса ищу.
И поганую доблесть терпения,
как лимон — в горшке ращу.

* * *

Я, по-моему, вышел из моды,
и уже со вчерашнего дня
прощелыги и обормоты
больше не уважают меня,
и отваливается, как шелуха,
липкий пластик их уваженья
при любом движеньи стнха,
при любом даже телодвиженьи.

* * *

Все ее хвалили, возносили,
на руках носили,
а жалеть ее считалось стыдно,
дерзко и обидно.
Для меня она была дивизией
в полном окружении,
молча продолжающей сражение.
Для меня она была дорогой,
по которой танки рвутся к счастью,
раздирая грудь ее на части.
Очередь стоит у сельской почты —
длинная — без краю и межей.
Это — бабы получают то, что
за убитых следует мужей.
Однннокая, словно труба
на подворье, что дотла сгорело,
руки отвердели от труда,
голодуха изнурила тело.
Вот она — с тремя полсотнями.
Больше нету. Остальное — отняли.
Остальное забрала судьба.

* * *

Я строю на песке, а тот песок
еще недавно мне скалой казался.
Он был скалой, для всех скалой остался,
а для меня распался и потек.

Я мог бы руки долу опустить,
я мог бы отдых пальцам дать корявым.
Я мог бы возмутиться и спросить,
за что меня и по какому праву...

Но верен я строительной программе.
Прижат к стене, вися на волоске,
я строю на плывущем под ногами,
на уходящем из-под ног песке.

1952

«Не!»

Арионы высушат на солнышке
мокрые и драные отрепья.
Арионы посидят на пенышке,
оглядят великолепье
мира, после бури в самом деле
мирного, и света светлого.
— Высушили! Ну, теперь надели!
Бури, урагана, ветра
хочется попробовать вам снова
в нашей или дальней стороне? —
Арионы, сжавшись от озноба,
отвечают: — Не!

* * *

Ценности сорок первого года:
я не желаю, чтобы льгота,
я не хочу, чтобы броня
распространялась на меня.

Ценности сорок пятого года:
я не хочу козырять ему,
я не хочу козырять никому.

Ценности шестьдесят пятого года:
дело не сделается само.
Дайте мне подписать письмо.

Ценности нынешнего дня:
уценяйтесь, переоценяйтесь,
реформируйтесь, деформируйтесь,
пародируйте, деградируйте,
но без меня, без меня, без меня.

* * *

Виноватые без вины
виноваты за это особо,
потому что они должны
виноватыми быть до гроба.

Ну субъект, ну персона, особа!
Виноват ведь! А без вины!
Вот за кем приглядывать в оба,
глаз с кого спускать не должны!
Потому что бушует злоба
в виноватом без вины.

* * *

Никто не объяснил,
кто был умней и старше.
А вождь — ошибся. С ним

и я ошибся также.
Он допустил. И я.
И все мои друзья.
Мы тоже допустили
и это не простили
себе. И не простим.

* * *

Мариэтта и Маргарита
и к тому же Ольга Берггольц —
это не перекатная голь!
Это тоже не будет забыто.

Не учитывая обстановки
в данном пункте планеты Земли,
надевали свои обновки,
на прием в правительство шли.

Исходили из сердобольности,
из старинной женской вольности,
из каких-то неписаных прав,
из того, что честный прав.

Как учили их уму-разуму!
Как не выучили ничему!
Никогда, совершенно, ни разу!
Нет, ни разуму, ни уму!

Если органы директивные,
ощутив побужденья активные
повлиять на наш коллектив
или что-то еще ощутив,

созовут нас на собеседованье,
на банкет нас пригласят,
вновь услышится это сетованье,
эти вопли зал огласят.

Маргарита губы подмажет
и опять что-нибудь да скажет.
Мариэтта, свой аппарат
слуховой отключив от спора,
вовлечет весь аппарат
государственный в дебри спора.
Ольга выпьет и не закусит,
снова выпьет и повторит,
а потом удила закусит,
вряд ли ведая, что творит,
что творит и что говорит.

Выступленья их неуместные
не предупредить, как чуму,
а писательницы — известные!
А не могут понять, что к чему!

* * *

Повторение — мать учения
и, наверное, дочь мучения...
Ничему меня не научит
то, что тычет, талдычит, жучит,
ржет, когтит, хохочет, гогочет
и, конечно, учить — не хочет.
В первый раз жестоко, но сносно,
бессердечно, но выносимо.
Во второй же раз — несносно
и, конечно, невыносимо.
Разразится подобно грому
и рассеется, как зараза,
повторенное по второму,
по жестокому, злому разу.

* * *

Просто так!
Словно отпуск от логики,
от общественной педагогики
взял
и в щель качусь, как пятак, —
просто так.

Закачусь, засяду, залягу
и оттуда ни взгляда, ни шагу.
Просто буду лежать. Я мастак
отдыхать без идей. Просто так.
Без идей — и людей чтобы мало.

Собеседник? Не более двух.
Чтоб друг в друга переливало
дух в дух.
В интервале, в прочерке, в пропуске,
т. е. в отпуске.

20-й век

Есть время еще исправиться:
осталась целая четверть —
исправиться и поправиться,
устроить и знать и челядь.

Но я не хочу иного.
Я век по себе нашел,
и если б родиться снова,
я б снова в него пошел.

Начала его не заставши,
конца не увижу его.
Из тех, кто немного старше,
уж нету почти никого.

А он еще в самом разгаре,
а он раскален добела,
и, крепкие зубы оскаля,
готов на слова и дела.

Недоумение

Как ты вышел?
Не было выхода —
ни щелей, ни дыр, ни дверей,
но ты вышел и мелкие выгоды
начал приобретать поскорей.

И не то чтобы мощною силищей
или острым умом обладал:
чуть толковей был
и чуть жилистей,
легче голодал, холодал,

и сносил невыносимое,
и не слишком ругал казну,
и не очень глядел на синюю,
на небесную голубизну.

* * *

Ты сворачиваешь направо,
я сворачиваю налево.
Может, лучше — вместе и прямо?
Нет, не выйдет без грусти и гнева.
Так что лучше мы разойдемся —
я налево, а ты направо.
Этим способом обойдемся
без ущерба для нашего нрава!

* * *

Человечеству любо храбриться.
Людям любо греметь и бряцать,
и за это нельзя порицать,
потому что пожалуйте бриться —
и уныло бредет фанфарон,
говорун торопливо смолкает:
часовые с обеих сторон,
судьи перья в чернила макают.

Так неужто приврать нам нельзя
между пьяных друзей и веселых,
если жизненная стезя —
ординарный разбитый проселок?
Биографию отлакируешь,
на анкету блеск наведешь —
сердце, стало быть, очаруешь,
душу, стало быть, отведешь.

Доброта дня

Что касается меня —
надоела злоба дня,
злобная,
как всякая иная злоба.
Не попробовать ли ту,
сладостную доброту?
Доброе
не испытать ли слово?

К нам секунды так и льнут.
Не жалеет день минут,
и часов
он также не жалеет.

Мы испытывать должны
чувство радостной вины.
Вот оно!
И копится и зреет.

Люди, будьте же добры,
потому что все дары
возмещенными сторицей
вы найдете.
Добрым — легче. Злым — трудней.
С добротой и только с ней
вы нигде
и никогда не пропадете.

Отстой

Не расскажу, не оглашу,
тисненью не предам.
В далекий ящик положу
и отстояться дам.

Отстаивайся, как река
в отстойнике, отста-
ивайся так же, как века
рембрандтова холста!

От ста ли дней,
от ста ли лет
таланту худа нет.
Отстаивайся, словно свет
звезд
или блеск планет.

Какой надежный и простой
отбора путь — отстой!
Отстаиваясь, отстоишь
и глубину и тишь.

Я завершил свои труды,
готовый сдал продукт.
Теперь пускай
путем воды
в отстойники
пройдут.

* * *

А вы смотрели, как архивы жгут?
Как серый снег, который просто пепел,
то оседает под бомбежки гуд,
то сыплется неслышимыми хлопьями?

Бумаги за эпоху набралось!
Беда! Как будто за зиму сугробов!
И жалостно трещит земная ось,
и жженым веком, бывшим веком пахнет.

А мы — остались и бредем, топча
тот снег, тот век, ту эру, тот период,
чужие афоризмы лепеча,
шепча проклятья и благословенья.

Оказывается, звенья цепи — мы.
Бумага же — а что она, бумага, —
как вылезем, как выбредем из тьмы,
без отлагательств новые напишем.

* * *

Это — мелочи. Так сказать, блохи.
Изведем. Уничтожим дотла.
Но дела удивительно плохи.
Поразительно плохи дела.

Мы — поправим, наладим, отладим,
будем пыль из старья колотить
и проценты, быть может, заплатим.
Долг не сможем ни в жисть заплатить.

Улучшается все, поправляется,
с ежедневным заданьем справляется,
но задача, когда-то поставленная, —
нерешенная, как была,
и стоит она — старая, старенькая,
и по-прежнему плохи дела.

Публикация Ю. БОЛДЫРЕВА

Советской Армии — 70 лет

М. ГАРЕЕВ,
генерал-полковник

Великий Октябрь и защита Отечества

70 лет стоят Советские Вооруженные Силы на защите завоеваний Великой Октябрьской социалистической революции. Оглядываясь на пройденный путь, мы с высоты сегодняшнего дня как бы заново осмысливаем и ленинские заветы о защите социалистического Отечества, уроки гражданской и Великой Отечественной войн и современный опыт строительства и подготовки Советской Армии и Военно-Морского Флота.

Идеалом социализма всегда был мир без войн и оружия. Еще в период первой мировой войны партия большевиков призывала покончить с империалистической войной, заключить справедливый демократический мир. На второй день после победы Октябрьской революции был принят Декрет о мире, определивший основную направленность внешней политики Коммунистической партии и Советского правительства на все последующие годы.

В драматические месяцы конца 1917-го и начала 1918 года был заключен Брестский мир. В. И. Ленин и основной состав руководства нашей партии выступили против лозунга троцкистов об «экспорте революции» и, несмотря на тяжелейшие условия, пошли на заключение мира. Они исходили из того, что наиболее действенной формой интернациональной помощи международному пролетариату является сохранение и укрепление Советской власти. Уже тогда были заложены основы ленинской концепции мирного сосуществования с капиталистическими странами, которой Советский Союз последовательно придерживался все годы.

Исходя из ленинской миролюбивой политики определялось отношение к вооруженной защите завоеваний революции.

Как известно, классики марксизма-ленинизма первоначально считали необходимым слом буржуазной государственной машины, в том числе таких ее атрибутов, как армия и полиция. Они были убеждены, что вооруженной защитой революции станет народная милиция.

Однако условия, в которых создавались Вооруженные Силы нашей страны после победы Октябрьской революции, значительно отличались от тех, какими они представлялись в конце XIX — начале XX в. Главная особенность состояла в том, что социалистическая революция, как это и предвидел В. И. Ленин, победила лишь в одной стране, оказавшейся с первых же дней существования во враждебном капиталистическом окружении. Империалистические государства навязали нам интервенцию и гражданскую войну, необходимость другого подхода к организации защиты завоеваний социализма.

После первой мировой войны значительно осложнилось военное дело. В этих условиях малочисленные, слабо обученные и плохо вооруженные добровольческие части, формирования милиции не в состоянии были противостоять превосходящим и хорошо организованным силам многочисленных врагов революции.

Учитывая создавшееся положение, партия приходит к выводу, что в сложившейся чрезвычайной обстановке для защиты Советской власти есть лишь один путь — создание регулярной, массовой, хорошо организованной и обученной армии. Такая армия не могла строиться на добровольческом принципе; надо было переходить к обязательной военной службе мужского населения и вводить всеобщее военное обучение рабочих и крестьян. Это было принципиально новое решение вопроса об организации Вооруженных Сил социалистического государства.

VIII съезд РКП(б) одобрил ленинский курс военного строительства и создание классовой, централизованно управляемой регулярной армии.

Создание такой армии явилось одним из важнейших слагаемых того, что поход 14 иностранных государств и внутренней контрреволюции против Советской власти был сорван.

Как отмечал М. С. Горбачев в докладе в честь 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции, «партия сплотила и мобилизовала народ на оборону социалистического Отечества, завоеваний Октября. Голодные, раздетые и разутые, плохо вооруженные красные бойцы разгромили хорошо обученную и вооруженную контрреволюционную армию, которую обильно подкармливали империалисты Запада и Востока».

Наша военная доктрина уже тогда в политическом плане носила оборонительный характер, поскольку Красная Армия никогда ни на кого не нападала, а была вынуждена защищать завоевания революции. М. В. Фрунзе на XI съезде партии сказал: «Я считаю вреднейшей, глупейшей и ребячьей затеей говорить теперь о наступательных войнах с нашей стороны».

Высшим социально-политическим принципом военного строительства В. И. Ленин считал руководство Коммунистической партии Вооруженными Силами и всем делом укрепления обороноспособности страны.

Партия уделяла также большое внимание разработке и практическому осуществлению принципов единства армии и народа, дружбы народов и пролетарского интернационализма, что явилось одним из важнейших источников внутренней сплоченности и боевой мощи Советских Вооруженных Сил. Обращаясь к представителям различных народов и бойцам-интернационалистам, В. И. Ленин говорил: «Вам выпала великая честь с оружием в руках защищать святые идеи и... на деле осуществлять интернациональное братство народов».

В отличие от буржуазных партий и государств, лицемерно маскирующих антинародную сущность империалистических армий, наша партия, Советская власть с самого начала открыто провозгласили принцип классового подхода к строительству Вооруженных Сил, призванных защищать интересы трудящихся. Вместе с тем партия рассматривала классовый подход к комплектованию армии как временное явление, имея в виду, что после ликвидации эксплуататорских классов и победы социализма она превратится в общенародную армию, что в последующем и произошло.

Важнейшими из принципов советского военного строительства являются централизм, единоначалие, железная воинская дисциплина как непременные условия боеспособности Вооруженных Сил, без чего армия и флот не могут выступать как сплоченная, организованная сила.

В. И. Ленин ставил вопрос о централизме и единоначалии принципиально и без всяких оговорок. «Безответственность,— говорил он,— прикрываемая ссылками на коллегиальность, есть самое опасное зло, которое грозит всем, не имеющим очень большого опыта в деловой коллегиальной работе, и которое в военном деле сплошь и рядом ведет неизбежно к катастрофе, хаосу, панике, многовластию, поражению».

Введение института военных комиссаров в период гражданской войны он рассматривал как временную, вынужденную меру в сложившихся чрезвычайных исторических условиях, когда не было достаточного количества идейно закаленных и преданных революции командных кадров и приходилось привлекать военных специалистов старой армии, когда в Красную Армию могли проникать враждебные элементы. Преобразования, проведенные в Красной Армии в 1924—1925 гг., укрепление органов военного управления опытными партийными кадрами и очищение их от троцкистов создали условия для введения в армии и на флоте единоначалия.

Отказ от единоначалия и возвращение к институту военных комиссаров в 30-е годы и в 1941 году, как показал исторический опыт, не были достаточно оправданными. Суровая действительность войны заставляла каждый раз восстанавливать единоначалие, которое осуществлялось у нас всегда на партийной основе. Ленинское понимание единоначалия как единственно правильной постановки работы, как наиболее целесообразного метода управления войсками остается незыблемым и в современных условиях.

Придавая большое значение централизму и единоначалию в Советских Вооруженных Силах, с самого начала их создания уделялось много внимания воспитанию личного состава в духе сознательной воинской дисциплины, развитию демократических принципов.

Элементы демократизма в наших Вооруженных Силах во все времена были сильны, но по ряду различных причин они не всегда правильно проявлялись и в полной мере использовались. В период гражданской войны, а порой и в 20—30-е годы это сказывалось в недопонимании необходимости беспрекословного повиновения приказам командиров, что пришлось решительно поправлять после советско-финской войны 1939—1940 гг. В свою очередь, командиры-единоначальники не всегда умели опираться на партийные и комсомольские организации, активизировать и в полной мере использовать творчество и инициативу личного состава.

В современных условиях, когда в стране, в Вооруженных Силах осуществляется перестройка, наряду с дальнейшим укреплением единоначалия требуется всемерно активизировать и полнее использовать человеческий фактор. В связи с этим встает задача перестройки и большей демократизации методов работы военных советов, партийных и комсомольских организаций, офицерских собраний, спортивных комитетов, женсоветов и других общественных организаций.

После окончания гражданской войны, в 1921 году, ЦК нашей партии обратился с письмом ко всем партийным организациям, в котором говорилось: «Партия решила... что армия должна быть сохранена, что ее боеспособность должна быть повышена... Мы совершим страшное преступление против революции, если забудем об этом». Тогда предусматривалось введение такой военной организации, которая бы наиболее полно учитывала как опасность империалистической агрессии, так и внутренние возможности Советского государства.

X съезд партии отверг установки Троцкого и его сторонников на немедленный перевод Вооруженных Сил на милиционную систему, признав их неправильными и крайне опасными в условиях сложной международной обстановки и непрекращающихся попыток империализма задушить молодую Советскую республику.

В 1924—1925 гг. по решению ЦК партии и Советского правительства проводились крупные преобразования в Вооруженных Силах в целях повышения их боеготовности. По поручению партии их проведением непосредственно руководил М. В. Фрунзе.

Строительство Красной Армии шло по двум направлениям: во-первых, по линии совершенствования организационной структуры и повышения боевой готовности кадровых соединений и частей; во-вторых, по линии разработки и внедрения территориально-милиционной системы.

К 1925 году численность Советских Вооруженных Сил была сокращена с 5,5 миллиона человек до 562 тысяч человек. Однако если в организационном отношении Красная Армия уже не уступала крупнейшим армиям капиталистических стран, то она все еще оставалась крайне малочисленной и особенно слабой в техническом отношении.

Настойчивая работа по совершенствованию строительства Вооруженных Сил продолжалась и в последующие годы. Возраставшая угроза войны требовала срочных мер по дальнейшему повышению боеспособности и боевой готовности Советских Вооруженных Сил, и прежде всего их технической оснащенности. История поставила этот вопрос очень сурово: или надо было преодолеть в кратчайший срок экономическое и техническое отставание страны и укрепить оборону, или мы не смогли бы сохранить свободу и независимость Советской республики. Героическими усилиями партии и советского народа эта задача была в основном решена. Советский Союз был кровно заинтересован в том, чтобы содержать небольшие вооруженные силы, но усиленная подготовка ко второй мировой войне Германии и других империалистических государств вынудила нас постепенно увеличивать их численность.

Как показала в последующем Великая Отечественная война, в большинстве главных, наиболее принципиальных вопросов основная направленность строительства наших Вооруженных Сил была заложена верно и осуществлялась с учетом характера будущей войны. Решающее значение имел дальновидный, научно обоснованный подход к таким проблемам, как мобилизация всех сил государства для укрепления обороны страны, создание массовой регулярной армии, рациональное сочетание и пропорциональное развитие всех видов Вооруженных Сил и родов войск, соотношение человека и техники на войне и др. Однако до начала войны многое из того, что намечалось, не удалось полностью выполнить, особенно по массовому производству новых танков, самолетов и других видов оружия.

Вместе с тем было бы неправильно утверждать, что все положения нашей теории и практики были безупречными и всесторонне разработанными еще до войны. Во многих трудах, посвященных истории Великой Отечественной войны, говорится, что накануне ее советская военная теория не учитывала возможности внезапного вторжения крупных вражеских сил и недостаточно разрабатывала формы и способы ведения стратегической обороны, вопросы обороны в оперативно-стратегическом масштабе крайне слабо отрабатывались практически. Однако одной из самых сложных задач, которую пришлось решать советскому Верховному Главнокомандованию в первые же дни войны, явилась организация и ведение стратегической обороны.

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков по этому поводу писал: «При переработке оперативных планов весной 1941 года практически не были полностью учтены особенности ведения современной войны в ее начальном периоде. Нарком обороны и Генштаб считали, что война между такими крупными державами, как Германия и Советский Союз, должна начаться по ранее существовавшей схеме: главные силы вступают в сражение через несколько дней после приграничных сражений. Фашистская Германия в отношении сроков сосредоточения и развертывания ставилась в одинаковые условия с нами. На самом деле и силы и условия были далеко не равными».

В этих условиях накануне войны требовалось принять ряд неотложных мер по заблаговременному скрытному развертыванию вооруженных сил и подготовки их к отражению агрессии. В первой половине 1941 года Нарком обороны, Генштаб дважды обращались к И. В. Сталину с предложением по этим вопросам, но они не были приняты, исходя, как тогда говорили, из «высших политических соображений». Сталин еще надеялся, что войны в тот период удастся избежать.

Роковую роль сыграло также сообщение ТАСС от 14 июня 1941 года, в котором официально опровергались «слухи» о возможном нападении фашистской Германии на Советский Союз и выражалась уверенность, что Германия будет продолжать соблюдать договор о ненападении.

После войны объясняли, что это был

политический зондаж с целью узнать, как на это сообщение будет реагировать руководство гитлеровской Германии. Если рассматривать эту акцию отвлеченно, только с точки зрения дипломатических соображений, казалось бы, что это обычное дело. Почему нельзя еще раз прозондировать складывающуюся обстановку? Но при этом не учитывалось, что всякое официальное заявление в нашей печати воспринимается как директивная линия политического руководства, а каких-либо других указаний по этому поводу командованию округов и флотов не было дано.

Многое можно было сделать по инициативе командующих войсками округов, флотов. Но необоснованные репрессии в 30-е годы вырвали из армии наиболее опытных, способных командиров и политработников, на их место пришли недостаточно подготовленные молодые кадры. К тому же они были запуганы, скованы и опасались предпринимать какие-либо крупные меры без разрешения вышестоящих инстанций.

В отрыве от всего этого нельзя судить о неудачах 1941 года. Суровые уроки прошлого свидетельствуют о том, что отвлеченной политики в чистом виде не существует и не может существовать. Политика, в том числе и внешняя политика, может быть жизненной лишь тогда, когда она учитывает в комплексе все условия обстановки: международные, экономические, идеологические и не в последнюю очередь — интересы решения оборонных задач.

Накануне войны в какой-то момент было упущено из виду то важнейшее обстоятельство, что в случае начала военных действий и в политическом и в военном отношении нельзя исходить только из собственных пожеланий и побуждений, не учитывая, что противник будет стремиться делать все так и тогда, когда это удобно и выгодно ему.

Всем понятно, что в ту пору для Советского Союза было очень важно оттянуть время, выиграть хотя бы год-два для подготовки государства к обороне. Но и фашистские заправилы, безусловно, понимали, что через год-два, даже по их авантюристическим расчетам, шансов на успех у них будет значительно меньше. Поэтому главная ставка делалась на внезапность нападения, на использование тех временных преимуществ, которыми они располагали.

На практике все это привело к тому, что к моменту нападения фашистской Германии на СССР наши дивизии первого эшелона находились в пунктах постоянной дислокации и только с началом военных действий начали выдвигаться к госгранице навстречу наступающим танковым группировкам противника. К чему все это привело, хорошо известно.

И в этой тяжелейшей обстановке, обусловленной как объективными, так и субъективными причинами, весь ход и исход войны предопределили преимущества марксистско-ленинской идеологии, социалистического общественного и государственного строя. В основе этих решающих факторов, обеспечивших нашу победу, лежала глубокая вера большинства советских людей в правоту идей Октябрьской революции, ибо они в результате социалистических преобразований нашего общества на практике своей жизни убеждались, что Советская власть — это действительно их власть, отражающая коренные интересы трудящихся.

Если вспомнить всю тяжесть угнетения и нищеты большинства народа царской России, то нетрудно понять, как ценил простой советский гражданин ликвидацию эксплуатации человека человеком, безработицы и гарантированное право на труд, получение крестьянами земли от Советской власти, реальное обеспечение равноправия наций, широкий доступ народных масс к культуре, бесплатное здравоохранение, образование и многое другое.

Никакие извращения принципов социализма и несправедливости не могли перечеркнуть всех этих революционных завоеваний. И поэтому народ и его Вооруженные Силы под руководством Коммунистической партии действительно самоотверженно сражались за честь и независимость своей Родины, во имя защиты дела Октябрьской революции.

И в 1941 и в 1942 годах, несмотря на все невзгоды, а порой и отчаянные моменты, именно стойкость наших солдат, командиров и политработников, их вера в правоту нашего дела позволили выстоять и остановить наступление врага. Но после битв под Москвой и Сталинградом мы воевали уже совсем по-другому. Страна увеличила производство оружия и техники, командные кадры и весь личный состав, пройдя суровую боевую закалку, все больше стали превосходить врага по уровню военного искусства и боевого мастерства.

Как всегда, в трудную пору народ и армия выдвинули из своей среды таких талантливых полководцев, как Г. К. Жуков, А. М. Василевский, И. С. Конев, К. К. Рокоссовский, Р. Я. Малиновский, И. Д. Черняховский, и многих других, прославивших своим мужеством и военным творчеством нашу Родину и Советские Вооруженные Силы.

Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин, много сделавший для победы своей целеустремленностью, волей, умением дисциплинировать людей, все больше стал понимать, что и военное дело имеет свои особые закономерности, не все здесь лежит на поверхности и, как завещал В. И. Ленин, его надо по-настоящему изучать.

Примерно к середине войны в Ставке Верховного Главнокомандования выработалась четкая система принятия решений на проведение важнейших операций с активным участием Генерального штаба, командующих родами войск, фронтов и флотов. Это позволяло трезво оцени-

вать противника, возможности своих войск и находить наиболее целесообразные решения и способы ведения операций с учетом конкретных условий обстановки, обеспечивших выдающиеся победы под Курском в 1943 году, проведение ряда блестящих операций 1944 года, Висло-Одерской, Берлинской и Маньчжурской операций в 1945 году.

Советская Армия в ходе войны провела десятки различных операций, и все они, как правило, отличались новизной применяемых способов действий, оказались неожиданными для противника. Разработка гибких форм подготовки и ведения оборонительных операций с последующим переходом в контрнаступление, теория стратегической наступательной операции, решение проблемы оперативного и стратегического прорыва вражеской обороны с последующим окружением, новых способов боевого применения и взаимодействия различных видов Вооруженных Сил и родов войск, такой эффективной формы огневого поражения противника, как артиллерийское и авиационное наступление, новых форм и способов построения боевых порядков, всестороннего обеспечения операций и твердого управления войсками — эти и многие другие вопросы, по-новому решенные в ходе войны, в определенной степени сохраняют свою ценность в современных условиях.

В результате разгрома фашизма и победы во второй мировой войне, решающую роль в которой сыграли Советский Союз и его Вооруженные Силы, в корне изменилась вся международная обстановка. Вместо единственной страны социализма появилось целое содружество социалистических стран. Рухнула колониальная система, и многие народы получили свободу и встали на путь самостоятельного развития. Возросли экономическое могущество и международный авторитет Советского Союза.

Но все это не устраивало империалистические круги. Поэтому в самом конце войны без всякой военной надобности, с далеко идущими политическими целями были сброшены ядерные бомбы на мирные города Японии, а сразу после войны развязана «холодная война».

Исторический опыт и современная жизнь все новыми фактами подтверждают ленинское положение о том, что «политически империализм есть вообще стремление к насилию и к реакции».

В новой редакции Программы КПСС подчеркивается, что «империализм — виновник двух мировых войн, унесших многие десятки миллионов жизней. Он создает угрозу третьей мировой войны». На встрече представителей партий и движений в ноябре 1987 года Гэс Холл и другие руководители компартий со всей определенностью подтвердили этот вывод. В современных условиях произошла некоторая трансформация капитализма, руководители капиталистических стран не могут не считаться с реальностями ядерного века. С учетом всего этого империализм может маневрировать и приспосабливаться к новым условиям. Но он по своей природе не может сделать мир и безопасность народов конечной целью своей политики.

Главной целью современной военной доктрины США провозглашается уничтожение мировой системы социализма и утверждение гегемонии США. Она была провозглашена еще в 1945 году в послании Трумэна конгрессу, когда он утверждал, что победа во второй мировой войне поставила американский народ перед лицом постоянной и жгучей необходимости руководства миром. В последние годы эта установка подтверждалась всеми президентами в различной форме. Империализм всегда стремился и будет стремиться к тому, чтобы взять социальный реванш, изменить сложившееся соотношение сил и неблагоприятный для него ход событий, потеснить, а в конечном счете, как заявил Рейган, и ликвидировать социализм как общественную систему.

Все эти причины и объективные факторы способны вызывать опасность возникновения войны или военных конфликтов, которые в любой момент могут принять самый неожиданный оборот, близко затрагивая государственные интересы СССР и других социалистических стран. Однако в современных условиях нет фатальной неизбежности войны. В Программе КПСС делается определенный вывод, что предотвратить войну, уберечь человечество от катастрофы можно.

То, что современную ракетно-ядерную войну невозможно выиграть, не раз публично признавали и руководители США. На что же тогда рассчитывают империалистические круги США и других стран НАТО, проводя агрессивную политику и курс на подготовку к войне? Они стремятся путем гонки вооружений стимулировать свою экономику и подорвать экономику СССР и других социалистических стран, сломать военно-стратегический паритет, добиться решающего военно-технического превосходства и оказывать давление на другие страны, диктовать свою волю. Вынашиваются планы достижения политических целей войны применением только обычных средств поражения.

В своих военных приготовлениях Пентагон еще не отказался полностью и от иллюзий возможности достижения победы в ядерной войне. Военная доктрина США до сих пор основывалась на нанесении упреждающего ядерного удара. Так, в президентской директиве № 59 1980 года цель США была сформулирована совершенно определенно: уничтожение социализма как общественно-политической системы, применение ядерного оружия первыми, достижение превосходства над СССР в ядерной войне и ее завершение на выгодных для США условиях. Достижению этой цели призвана служить «стратегическая оборонная ини-

циатива США», объявленная президентом США 23 марта 1983 года, которая рассчитана не только на создание широкомасштабной противоракетной обороны с элементами космического базирования, обеспечивающей, по расчетам Пентагона, безнаказанное нанесение первого ядерного удара, но и на вывод в космос ударного космического оружия, способного поражать объекты на Земле. Убедившись, что в совершенствовании стратегических наступательных сил они не могут добиться решающего превосходства, военно-политическое руководство США решило перенести гонку вооружения в космос.

Не случайными являются также предпринятые в последнее время попытки доказать, что после обмена сторон ядерными ударами не обязательно должна наступить «ядерная зима». Некоторые американские «исследователи» высказались в том духе, что применение воздушных взрывов и нейтронных боеприпасов уменьшит отрицательные последствия применения ядерного оружия. Тем самым делается попытка обосновать, что при определенных обстоятельствах можно выиграть ядерную войну. По всем направлениям идет практическая подготовка к такой войне, наращиваются военные приготовления.

Причем все эти военные приготовления осуществляются каждый раз под прикрытием лживых демагогических криков о «советской военной угрозе». В. И. Ленин еще в 1919 году говорил о тех глупых людях, которые верят в «красную» опасность и кричат о «красном милитаризме». «Это,— подчеркивал он,— политические мошенники, которые делают вид, будто бы они в эту глупость верят».

Как уже отмечалось, после гражданской войны Советская республика сократила Красную Армию в десять раз и имела в 1924—1925 гг. сравнительно самую небольшую армию в мире (по количеству военнослужащих на один миллион населения). Но и тогда кричали о «красном» милитаризме. В 30-е годы западные страны без конца шумели об угрозе со стороны СССР и под этим прикрытием вооружали и готовили фашистскую агрессию против нашей страны. И в послевоенные годы каждый тур гонки вооружения сопровождался и сопровождается в наши дни истерическими воплями о чрезмерных вооружениях стран Варшавского Договора, хотя известно, что США, а не Советский Союз являются инициатором гонки вооружений.

Если это так (а отрицать эти очевидные, широкоизвестные факты невозможно), то для чего нужны все эти мифы о «советской военной угрозе»? На это со всей определенностью ответил один из вдохновителей «холодной войны» Джон Даллес: «Чтобы заставить страну взять на себя бремя, которого требует содержание мощных вооруженных сил, надо создать эмоциональную атмосферу, близкую к военной истерии. Надо вызывать страх перед опасностью извне». Следовательно, «секрет» состоит в том, что для непрерывно развивающейся гонки вооружений необходимо политическое оправдание, и поэтому военно-промышленные магнаты требуют усиления агрессивной политики, постоянного применения угроз и авантюр, чреватых перерастанием в войну.

Все это, конечно, никак не вяжется с новым мышлением по вопросам войны и мира. В противоположность агрессивной политике империалистических государств Советский Союз и другие социалистические страны проводят последовательную миролюбивую политику. Советская военная доктрина исходит из того, что, как ни велика угроза миру в современных условиях, создаваемая политикой агрессивных кругов империализма, предотвратить войну можно. Социалистические страны являются убежденными противниками войны в любой ее форме. В ядерно-космический век невозможно обеспечить безопасность отдельного государства или группы государств только военно-техническими средствами. В обеспечении безопасности все большее значение приобретают политические средства и действия.

На совещании Политического консультативного комитета государств — участников Варшавского Договора в Берлине в мае 1987 года со всей остротой был поставлен вопрос о том, что наступил такой исторический момент, когда необходимо отказаться от концепции «ядерного сдерживания», согласно которой ядерное оружие является гарантом безопасности государств. Социалистические страны предлагают государствам НАТО отказаться на взаимной основе от применения военной силы и принять на себя обязательства поддерживать между собой отношения мира. Исходя из этого, провозглашена доктрина государств — участников Варшавского Договора. Вновь были подтверждены предложения СССР и других социалистических стран, направленные на полную ликвидацию ядерного и других видов оружия массового уничтожения, сокращение вооружений, радикальное сокращение стратегических наступательных вооруженных сил и обычных вооружений СССР и США при одновременном укреплении режима Договора по ПРО, отказ от размещения в космосе оружия, запрещение химического оружия и ядерных испытаний, роспуск военных блоков, ликвидацию иностранных баз и отвод размещенных на них войск в пределы национальных границ.

Встреча Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева с президентом США Р. Рейганом, настойчивые усилия советского руководства и реалистичная позиция руководителей США уже дали первые положительные результаты, которые имеют большое историческое значение. Достижением соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности практически положено начало строительству мира без ядерного оружия. Достигнуто значительное продвижение по проблеме радикального сокращения стратегических наступательных вооружений в условиях соблюдения Договора по ПРО. Советский Союз полон решимости при взаимной договоренности последовательно проводить в жизнь и все другие предложения по сокращению вооружений.

Однако в условиях, когда реальная военная угроза, исходящая от империализма, не снижается, СССР и другие государства — участники Варшавского Договора вынуждены укреплять свою обороноспособность, повышать боевую готовность вооруженных сил с тем, чтобы обеспечить надежную защиту завоеваний социализма.

В новой редакции Программы КПСС сказано: «Коммунистическая партия Советского Союза рассматривает защиту социалистического Отечества, укрепление обороны страны и обеспечение государственной безопасности как одну из важнейших функций Советского государства». Как требуют Конституция СССР, Устав партии, каждый коммунист, каждый советский человек обязаны делать все от них зависящее для поддержания на должном уровне обороноспособности страны.

Целям миролюбивой политики стран социалистического содружества, интересам обеспечения их безопасности полностью соответствуют основное содержание и направленность военной доктрины государств — участников Варшавского Договора: не допустить ядерной войны, обезопасить и защитить свои страны от посягательств империализма, обеспечить народам возможность трудиться в условиях мира. Все их мероприятия в военной области пронизаны исключительно интересами решения этой главной оборонной задачи. Военная доктрина государств — участников Варшавского Договора имеет сугубо оборонительную направленность, состоящую в том, что оборонные мероприятия и военное строительство в союзных странах проводятся в пределах военного равновесия и необходимой достаточности и рассчитаны исключительно на ответные действия и защиту от возможной агрессии.

На упоминавшемся совещании Политического консультативного комитета государств — участников Варшавского Договора было еще раз подтверждено, что они ни при каких обстоятельствах не начнут войны — ни ядерной, ни обычной — против любого государства, будь то в Европе или в другом районе мира, если они сами не станут объектом нападения. Страны социалистического содружества заявляют, что не имеют территориальных притязаний ни к одному государству ни в Европе, ни вне Европы. Ни к одному государству или народу они не относятся как к своему врагу. Интересам государств — участников Варшавского Договора отвечало бы достижение наиболее низкого уровня военного противостояния сторон. Поддержание военного равновесия на возможно более низком уровне — важнейшее условие обеспечения безопасности и мира. Подлинная равная безопасность в наш век гарантируется не высоким, а предельно низким уровнем стратегического баланса. Продолжение гонки ядерных вооружений может привести к тому, что даже паритет (равновесие) перестанет быть фактором военно-политического сдерживания.

Но поскольку уровень этих пределов лимитируется военными приготовлениями империалистических государств, то оборонная мощь социалистических стран должна строиться с учетом того, что в отношении к СССР и США, СВД и НАТО она должна быть равной, одинаковой; их безопасность — взаимной, а в международном отношении в целом — всеобщей. «Отдавая себе отчет в масштабах военной угрозы,— указывает М. С. Горбачев,— сознавая свою ответственность за судьбы мира, мы не допустим слома военно-стратегического равновесия между СССР и США, Организацией Варшавского Договора и НАТО. Мы и впредь будем придерживаться этой политики, ибо крепко, раз и навсегда усвоили то, чему нас научило прошлое».

Оборонительный характер нашей военной доктрины предопределяет особенно высокие требования к боевой готовности армий и флотов. Воины социалистических стран должны проявлять высокую бдительность, всегда быть готовыми к пресечению происков империализма. Это особенно важно, если учесть, что в деятельности военных кадров по поддержанию высокой боевой готовности войск немало и серьезных недостатков, на что строго и справедливо указало Политбюро ЦК КПСС в связи с нарушением воздушного пространства СССР иностранным самолетом в конце мая прошлого года. Политбюро ЦК КПСС еще раз подчеркнуло принципиальную важность задачи решительного повышения уровня боевой готовности и дисциплины Вооруженных Сил, умелого управления войсками, обеспечения их постоянной способности к пресечению любых посягательств на суверенитет Советского государства.

Сила наших Вооруженных Сил в неразрывном единстве с народом. Один из самых важных уроков войны состоит в том, что только усилиями всего народа под руководством партии можно обеспечить надежную защиту социалистического Отечества. Огромное значение для дальнейшего укрепления обороны страны имеют намеченная XXVII съездом КПСС и осуществляемая в нашей стране перестройка, глубокие социально-экономические, духовные и культурные преобразования, происходящие в нашем обществе. Улучшение идейно-политического

и военно-патриотического воспитания, интеллектуального и физического развития, рост общеобразовательного и технического уровня молодежи позволяют добиться еще более глубокого понимания воинами своего патриотического и воинского долга, личной ответственности каждого советского гражданина за защиту социалистической Родины. Развитие демократии, гласности, оздоровление нравственной атмосферы в обществе наполняют более глубоким смыслом идеалы социализма, которые необходимо защищать. Кроме того, все эти преобразования создают благоприятные условия для более успешного овладения в короткие сроки военной специальностью, сложной военной техникой и оружием, что способствует дальнейшему повышению боевой готовности Вооруженных Сил.

Следует иметь в виду, что строительство и подготовка Вооруженных Сил происходят сегодня в сложной международной обстановке. С одной стороны, идет настойчивая борьба за мир, разоружение, все большую убедительность и силу приобретает идея предотвращения войны. С другой стороны, продолжает существовать угроза войны. В такой динамичной и противоречивой обстановке органическое соединение и успешное решение двуединой задачи укрепления мира и обороноспособности страны приобретают некоторые новые черты и становятся делом более сложным, чем это было до Великой Отечественной войны. В этих условиях вся работа по подготовке молодежи для службы в Вооруженных Силах и военно-патриотическому воспитанию должна быть значительно более глубокой, аргументированной и убедительной.

В связи с этим хотелось бы обратить внимание на такое обстоятельство. В нашей печати и других органах массовой информации широко показывают мероприятия по ослаблению напряженности и укреплению доверия между народами. И это правильно. Из затянувшегося круговорота конфронтации нам надо выходить. Если удалось объединить усилия Китая, США, Англии, Франции и других народов в борьбе с фашизмом, то еще более объективной потребностью становится объединение усилий в борьбе с ядерной опасностью, грозящей всему человечеству. Но вместе с тем, если не отвлекаться от существующей реальности, нельзя недооценивать угрозу, исходящую от империализма, и необходимость подготовки своего народа к обороне страны.

В связи с этим недопустимо, когда в отдельных статьях, публикуемых в нашей печати, высказываются суждения об одностороннем разоружении. Ставится под сомнение необходимость защиты Отечества и военной профессии.

Сложнейшее дело борьбы за сокращение вооружений, в которую столько самоотверженного труда, настойчивости и энергии вкладывает руководство нашей партии во главе с М. С. Горбачевым, некоторые журналисты изображают слишком упрощенно, лишь как психологическую инерцию погони друг за другом. Дело доходит до таких безответственных заявлений, когда некоторые писатели, по существу, призывают наших воинов не наносить ответного удара по противнику, если даже он первым начнет войну против нас. Но такая позиция не имеет ничего общего с подлинными интересами борьбы за мир. Ибо это не только не сдерживает, но даже поощряет агрессора к нападению. Причем нередко такие писания исходят от коммунистов, которые не могут не знать, что есть принятые XXVII съездом решения, Устав партии, Конституция СССР, где определены обязательные для всех коммунистов и советских граждан задачи и обязанности по укреплению обороны страны и выполнению воинского долга перед Родиной. Предлагают Советскому Союзу смело идти на одностороннее разоружение, сокращение срока военной службы. Но самое примечательное состоит в том (и в этом главная суть их позиций), что они, как правило, не вносят никаких предложений относительно сокращения вооружений стран НАТО. В одной из статей «Литературной газеты» известный писатель не переживает вместе с нами, а буквально злорадствует по поводу посадки западногерманского самолета в Москве.

Некоторые уже ставят под сомнение нашу Победу в Великой Отечественной войне, поскольку, мол, было слишком много потерь и сражения мы выигрывали не так, как надо было; предлагают отказаться от понятия «справедливые» и «несправедливые» войны, чтобы не было различия между агрессором и его жертвой.

Невольно думаешь: ведь и в 1812 году русской армии пришлось отступать и даже сдать Москву. В русско-турецкой войне 1877—1878 гг., принесшей свободу балканским народам, было еще больше неурядиц. Но все эти войны остались в памяти народа в ореоле славы, и никто никогда не пытался поставить под сомнение эти победы русской армии. А тут, мягко говоря, недоброжелательность к своим Вооруженным Силам, одержавшим такие великие победы и так много сделавших для защиты свободы и независимости своей Родины. В связи с этим возникает вопрос: с какой целью и откуда все это идет?

Видимо, все это объясняется тремя обстоятельствами. Во-первых, — и это главное — большинство заблуждений происходит от недооценки сложности борьбы за мир и реально существующей военной угрозы. И в этой области появились своего рода «авангардисты», которые, исходя, конечно, из добрых намерений, выдают желаемое всеми нами за действительное. Во-вторых, это просто наши недоброжелатели. Таких людей мы никогда ни в чем не переубедим, но недооценивать вред, который они могут

принести, тоже, видимо, нельзя. К тому же, как стало известно, в некоторых ведущих империалистических государствах разработана целая система мер по ослаблению боеспособности армий социалистических стран путем распространения идей пацифизма. Работа ими ведется довольно активно, и на эту удочку попадаются некоторые наивные люди, помогающие лить воду на их мельницу, не понимая того, что в реально существующей международной обстановке борьба за мир и готовность его отстаивать с оружием в руках не противоречат, а дополняют друг друга. Иначе это будет не философия мира, а философия капитуляции перед агрессором. В-третьих, подавляющее большинство личного состава армии и флота честно и самоотверженно выполняют свой долг перед Родиной. Однако (и это тоже мы должны самокритично признать), многие негативные явления, накопившиеся в обществе, проникли и в Вооруженные Силы. Советские люди привыкли видеть в наших офицерах образец честности, высокой нравственности, самоотверженности, и всякое отклонение от этих норм встречает протест и справедливое осуждение.

Гласность коснулась и военной среды, становятся известными факты, которые до этого не всегда были открытыми. Наряду с объективной и правильной критикой нередко они сопровождаются обывательским смакованием. Широкая гласность (в пределах соблюдения государственной и военной тайны) ничего, кроме пользы, не принесет, и не следует ее бояться. Но, как мы полагаем, критика недостатков, имеющихся в армии и на флоте, должна быть доброжелательной и способствовать укреплению их боеспособности.

Вспоминается такой случай (о подобном уже писалось в газетах). Дело происходило еще до войны. Один паренек из-под Могилева перед поступлением в училище написал матери письмо, спрашивая совета: «Стоит ли мне, мама, поступать в военное училище?» Малограмотная, но понимающая толк во всей сложности нашей жизни женщина отвечала: «Иди, конечно, сынок, в военное училище, не иностранцев же нам нанимать, чтобы Родину защищать». И хотелось бы пожелать, чтобы все советские люди так же глубоко понимали значение своего воинского долга, как эта умудренная жизненным опытом белорусская женщина.

В. КАМЯНОВ

Что мешает чувствам?

Тяготы одиночества и спасительность «роя»

Поэт Андрей Белый, по свидетельству Марины Цветаевой, однажды с горячим чувством воскликнул: «Как я хотел бы быть офицером... Даже солдатом! Противник, свои, черное, белое — какой покой».

Мотив знакомый. Хотя в тот момент Андрей Белый вряд ли искал подходящие к случаю примеры, он отчасти вторит толстовскому Пьеру Безухову, которого после Бородина охватило желание «быть просто солдатом!.. Войти в эту общую жизнь всем существом...»

Для людей непростого, с крутыми подъемами и спусками, внутреннего пути характерны минуты острой зависти к тем, кто не приучен ломать голову над мудреными вопросами, ревизовать основы мироустройства.

Одинокому правдоискателю, духовному труженику и тяготы солдатчины подчас видятся благом, раз позволяют рассеяться, забыться, вздохнуть с облегчением: «Какой покой!»

Давно ли такого рода настроениям предавались натуры ярко одаренные, у которых особый счет и к себе, и к миру? Сегодня предаются и те, чьи жизненные запросы поскромнее.

В повести Владимира Маканина «Один и одна» скромный сотрудник столичного НИИ Геннадий Павлович лелеет в уме идею людского «роя», способного, по его мнению, избавить личность от внутренних тягот («особенного не ищи, ни о чем особенном не думай, войди в рой, прилепись и будешь спасен»).

Недавно опубликованный роман молодого прозаика Сергея Алексеева озаглавлен «Рой». Действие происходит в современной сибирской деревне, где крестьяне занялись пасечным хозяйством. Перед глазами пчеловодов — налаженный уклад пчелиных семей как постоянный укор и контраст их собственному расшатавшемуся укладу. А расшатан он действием многих факторов. Среди них и чехарда административных новаций на сельской ниве, и падение престижности крестьянского труда, и отток деревенского населения в города.

Одну из сюжетных линий романа составляет история крестьянского сына Сергея Заварзина, которого отнесло от родного «роя», прибило к чуждой среде околонаучных дельцов. Перед ним уже замаячила степень доктора филологии, когда на крутом подъеме он остановился, оглянулся на себя и пришел к трезвому заключению, что филология не его призвание. Тут-то душой крестьянского сына овладела великая смута, и прибежищем от моральных тягот ему уже видится родная таежная деревня, где брезжит память о «роевых» связях и есть надежда прилепиться к землячеству.

Но существует ли он нынче, крепко сбитый людской монолит, способный распорядиться внутренним укладом личности, пронизать ее токами «роевого» согласия? А если надеждам на врачующую силу землячества сбыться не суждено, где тогда алексеевскому филологу искать душевную опору?..

Когда Андрей Белый вспомнил о преимуществах п р о с т о т ы и запросил покоя, это был жест утомления, жалоба путника, заждавшегося привала. Но ему, питомцу муз, не дано усмирить мысль с помощью нехитрых двучленов: противник — свои, черное — белое. В минуту усталости о том можно и пожалеть.

Нехудожникам, или шире — людям без ярко выраженного творческого дарования, намного сложнее отыскивать внутреннюю опору. Особенно если нет надежд прилепиться к «рою».

А как быть? Литература задумалась. И это отрадно, ибо велик соблазн предложить каждому, кто озадачен, типовой совет: дескать, проштудируй основополагающие труды, укрепись в путеводной идее — и дело пойдет на лад. Такие воспитательные советы хороши, когда они внове и когда умы сами жаждут воспринять яркую идею, дабы тут же поделиться ею с сердцем, окрылить фантазию, взбодрить темперамент.

Подобное верховодство ума, мобилизованного передовой идеей, характерно для времен романтических, огневых и «роевых». А во времена иные дать пищу уму еще не значит насытить душу.

Наша литература привычно находит путь к читательскому сознанию, тревожа его наглядными примерами идейных разногласий, заблуждений или, напротив,

прозрений, мировоззренческих кризисов, верных либо ошибочных представлений о трудовой и семейной этике.

Как-то Маяковский сравнил себя и своих товарищей по поэтическому цеху с деревообделочниками: «Голов людских обделываем дубы». Шутка, конечно. Но ведь и в самом деле «рашпилем языка» обтесывалось малоискушенное сознание, которому предстояло освоиться во вздыбленном революцией мире.

Навык прямых переговоров литературы с нашим гражданским сознанием за десятилетия настолько окреп, что и в нежно-лирические, даже альковные эпизоды начал порой проникать дух производственной летучки, социологического семинара или диспута по вопросам этики. Персонажи усвоили привычку бойко реферировать свои переживания и строить внутренний монолог по образцу публичного выступления.

Ничего удивительного: именно к человеку рассудительной души, готовой живо отозваться на новый почин общественности, адресовалась советская литература периода ее становления.

Не рассудительностью единой...

Один из уважаемых наших прозаиков, Сергей Антонов, давая интервью «Литературной газете», досадует на распространенность в повествовательном искусстве персонажей «с ампутированным подсознанием» и уверяет собеседника-корреспондента: «У положительного героя тоже существует свое, советское подсознание».

Даже если эпитет «советское» произнесен с улыбкой, ему доверено серьезное дело — легализовать, включить, что называется, в литературный севооборот давнюю залежь — область до-сознательного, куда не должен быть заказан вход музам. Но какими эпитетами ни украшай слово «подсознание», оно отдает сухостью психоаналитических или психиатрических штудий и плохо сопрягается с понятием «поэзия».

Попробуем на слух: «Подсознание Наташи Ростовой». Диковато, не правда ли? Имя и термин знать друг друга не желают. Мир толстовской героини един и расщеплению на «верх» и «низ» не поддается. Тут нет простора ни для загадочных, спрятанных от дневного света сил, ни для своеволия рассудка. О Наташе недаром сказано: «Она не удостоивает быть умной». Для нее разум не поводырь. Но и капризная «психология» ей не указчица. Есть солнце, ветер, поле, усадьба, круг близких людей, и есть она, Наташа, умеющая видимое и слышимое соединять в одно переживание, в одну мелодию радостного приятия жизни.

Наташа вводит нас в особое царство, где верховная власть принадлежит силам души, а рассудочные мерки недействительны. Скажем ли о современном персонаже: «Не удостоивает быть умным»? Неизвестно, за счет каких преимуществ мог бы он «не удостоивать».

В новейшую пору отечественные музы заметно охладели к тому качеству душевной зоркости, поэтической интуиции, которое украшало толстовскую Наташу. Как-то не до того стало. И вот сегодня видного прозаика не устраивают персонажи «с ампутированным подсознанием». Законное недовольство.

Только рейды в область подсознания не так и затруднительны для нашей литературной мысли, привыкшей сличать и различать типы общественного сознания, варианты нравственного выбора, опять же восходящие к сознанию. Конечно, на то оно и под-сознание, что в глаза не бросается, расположено ниже «ватерлинии», в трюмных, скажем так, отсеках. Но отчего бы не обревизовать упомянутые отсеки, сохраняя при этом рациональную ясность взгляда на иррациональное? В конце концов подсознательными процессами интересуется и наука, обозначающая их с помощью специальных терминов. Что, собственно, мешает и прозаику подходить к подсознательному с рациональной меркой? Именно так к нему и подходят во многих образцах современной мифологизированной или «остраненной» прозы.

Подсознание, которому объяснили, что без него картина психики неполна, готово выглянуть из своего «трюма», подстроиться к сознанию четкому и деловому, зашагать с ним в ногу — по крайней мере на страницах книг. Но окажется ли при этом в выигрыше нынешний гражданин, угнетенный собственной сложностью, мечтающий «прилепиться» к «рою»? То есть вправе ли он рассчитывать, что музы помогут ему одолеть душевную маету, раз выучились,— либо учатся,— сопрягать сознание с подсознанием? Нет, складывая одно с другим, нельзя обольщаться полнотой суммы. Недаром же гуманитарной традицией мир человека признан подобием Вселенной.

Послушная законам макромира, эта малая Вселенная не остается внутри себя неизменной, пульсирует, то сжимаясь, то расширяясь. Если она застигнута искусством в момент уплотнения, сжатия, когда человеком безраздельно правят порыв, диктат коллективной воли, то никакой Вселенной вроде бы и нет, а есть особь, втянутая в орбиту дела, чуткая к его запросам либо недостаточно зрелая и оттого спотыкливая на поворотах.

Но вот по прошествии сроков, быть может, длительных, в поле зрения литературы оказывается одинокий человек, которому не терпится отыскать компактную людскую массу («рой»), чтобы «прилепиться». Его появление и озабоченность — верный признак того, что духовное пространство личности, его космос или Вселенная раздались вширь и прежние мерки времен «сжатия» надо менять.

Велика, однако, инерция навыков, на-

работанных в ту пору, когда местоимение «мы» без остатка поглощало «я». И литературе совсем не просто привыкать к мысли о духовной бесконечности человека, «маленькой монады», по Блоку, переключаться с энергичного «обделывания» людских голов на постижение мира личности.

Мир личности теперь не то чтобы иной — в ином состоянии. Человеку из сомкнутого строя естественно равняться на правофлангового (отсюда настойчивые призывы к писателям разыскать в жизни и представить публике образцового героя; предполагается, что ее приверженность к эталонным героям работе времени не подвластна). А как быть, если строй расступился и каждый доверен себе? Если труд самоорганизации для нас в новинку? Куда обращаться за подмогой? Опять к герою «активного действия», который в вопросах, не отменимых для души, неспециалист?..

Сложилась ситуация, когда литература, прошедшая строгую газетную выучку, по-прежнему настроена на собеседование с умом, гражданским сознанием читателя и редко находит общий язык с душой, а еще верней — не догадывается его искать.

Одним из наиболее острых в художественной практике становится сейчас вопрос о том, каким видится искусству внутренний мир личности.

Сошлюсь на признание Леонида Леонова, сделанное в недавней беседе с критиком Инной Ростовцевой: «Сейчас экологически запущена душа, она низведена до низшего ранга, экологически перегружена политикой. Все пропитано ею, от нас требуют наслаждаться красотой, которая подсвечивается политикой. Это все делается в ущерб большой человечности».

Тут задет щекотливый и тревожный сюжет, имеющий близкую аналогию в сфере управления экономикой. Пользуясь словарем перестройки, его можно обозначить как драму чрезмерной централизации. На сей раз дело идет о властной повадке и центральном положении авторитетного тезиса или девиза, перекочевавшего с газетной полосы на страницы беллетристического сочинения, где ему, властному тезису, ничто не прекословит — ни логика образов, ни интонация, ни стиль.

Но художественная мысль утверждает себя лишь при условии, что на занятом ею пространстве она распорядительница, верховная власть; никакой призывной формуле, декларации или доктрине не дано входить сюда со своим уставом. Если же они по-хозяйски входят, объявляя свой устав верховным, то это бунт на корабле, чреватый кораблекрушением.

В таких системах политика одолевает эстетику не числом задетых или, скажем, заостренных автором злободневных вопросов («Уж слишком много про политику!»), а умением переломить волю поэзии, навязав ей прагматический счет ценностей.

Снова вспомнив слова Л. Леонова о душе, экологически перегруженной политикой, заметим, что результат такой перегруженности — наша немедленная реакция на знакомые позывные: угадывая в авторской речи политико-воспитательные обертоны, мы чувствуем себя, будто на торжественном заседании, которое надо отсидеть, сохраняя благопристойную мину и гадая, будет ли потом художественная часть.

Отчего во время торжественных мероприятий у приглашенных слегка осоловелые лица? Оттого хотя бы, что жизнь на отмеренные регламентом часы утрачивает непредсказуемость; весь церемониал расписан наперед, включая горячее одобрение зала.

При чтении беллетристических книг, где предусмотрена своя «торжественная часть», мы тоже заметно соловеем, изнывая от духовной праздности. Но стоит нарушиться обряду, посвежеть голосу автора — мигом оживает аудитория, как если бы в том же зале заседаний после унылого глашатая прописей на трибуну поднялся порывистый правдоискатель и без утайки повел речь о наболевшем.

Жажда правдивого слова

Нечто похожее случилось у нас с началом перестройки: литературное благочиние нарушил целый хор возбужденных писательских голосов. Публика услышала правду, которой заждалась — о застойных явлениях в экономике, опасном загрязнении общественной атмосферы ложью, пустой парадной словесностью, наркомании среди подростков, злоупотреблении властью на всех ее этажах и еще о многом из того же ряда, о чем было принято знать да помалкивать. Жажда правдивого слова так долго не получала утоления, что теперь ее стали утолять залпом.

Вероятно, и люди, подобные маканинскому герою из повести «Один и одна», уставшие от душевных неурядиц, обнадежены переменами, спешат раздобыть номера журналов с новыми вещами Распутина, Айтматова, с «Исчезновением» Трифонова, «Стуком в дверь» Герасимова. То есть и для них, самоуглубленных граждан, открыт доступ на праздник солидарности читателей-правдолюбов с авторами-правдоглашатаями.

Но всему своя мера. Темы, лишь вчера рассекреченные, завтра утратят возбуждающую остроту; литературное вольномыслие, уже не сопряженное с риском, перейдет в разряд почти академической добродетели. Краски праздника станут блекнуть. Выяснится, что люди братались и поздравляли друг друга с обретением статуса вольных граждан, а вовсе не с духовным открытием и приобщением к истине: большинство жгучих сюжетов нашей общественной жизни им были известны и раньше, когда по слепой машинописи многие знакомились с «потайными» Булгаковым, Гроссманом,

Платоновым, главами из «Детей Арбата»...

Теперь неразрешенное и гонимое сделалось легальным. Шлюзы отворились, и первой по расчищенным каналам средств информации устремилась мобильная публицистика. Изящная словесность — та уже следом. Причем и она раньше всего предъявила миру публицистичность, прямоту, яркий гражданский темперамент. Качества прекрасные. Литература, вооруженная ими, вправе рассчитывать на тесный контакт с аудиторией. И возможны ли тут какие-нибудь оговорки?

Вполне. Особенно если не упускать из виду запросы все тех же одиноких граждан, потерявших внутреннюю опору.

Предположим, они, не откладывая на потом, берут свежие номера журналов и проглатывают распутинский «Пожар», «Плаху» Айтматова, «Стук в дверь» И. Герасимова. И что же? Духовный голод этих читателей утолен? Скорее, утолена жажда гласности. А утолению голода способна помешать предсказуемость итогов, к которым движется читатель под водительством автора, обещание последней остановки, различимой издали на всем протяжении пути. Или почти на всем.

В «Плахе» есть вставная новелла о чекисте-грузине, который, выполняя оперативное задание, взвалил на себя неподъемный для души груз; приказ выполнил, но жить дальше не смог. Содержание новеллы не ждет перевода на язык сентенций, не затвердевает в нравственный «урок», как, впрочем, и любой подлинно трагический сюжет. А истории Авдия Каллистратова, добытчиков анаши, уголовников, истреблявших сайгачьи стада, легко затвердевают.

Когда читатель с автором братаются по случаю торжества гласности, краткость пути от образа к сентенции как будто не слишком приметна; когда же для читателя настал час сосредоточенной духовной работы, такую краткость он вряд ли сочтет благом.

Читатель «Пожара» или «Плахи», едва успев преодолеть стадию завязки и одиндва сюжетных поворота, уже слышит звоночки с конечной станции, догадываясь, что автор решил над ним, читателем, поработать: задеть его гражданскую совесть, побудить ум к сопоставлению тревожных симптомов непреодоленного застоя.

Повторяю: если атмосфера времени благоприятствует и для таких «побудок» назрел момент, автору простится прямота его воспитательных приемов. Но часть аудитории, и не думавшая дремать перед «побудкой», вероятней всего испытает «чувство недоверия и отпора, которые вызываются видимой преднамеренностью автора» (Л. Толстой). Готовая воспринять поэтическую правду, эта часть публики почувствует себя на «мероприятии», где ее собрались просвещать, нацеливать, совестить, используя средства поэзии для пущей доходчивости, то есть не вполне по назначению.

Впрочем, дух поэзии способен неплохо ладить с остро заточенной публицистичностью. Только музы разборчивы и первым долгом выведывают у писателя его заветное желание: что его писательскому сердцу милее — искать неоткрытое, «дойти до самой сути» или популяризировать найденное?..

Алесь Адамович (если брать резкий пример) написал документально-публицистическую повесть о заплечных дел мастерах — предателях, нацистах, уголовниках в эсэсовской форме, чьи преступления скрупулезно запротоколированы («Каратели»). Значит, в обвинительном акте нацизму появились веские добавления? Если угодно. Однако автор документальной повести — изыскатель, а не эксплуатационник. И, вчитываясь в следственные материалы, он задается вопросами о природе человека, застигнутого на последней крутизне его падения.

Не будь такая документалистика несколько «непрактичной», не напрягайся она в стремлении уловить трудноуловимое, слабей была бы ее власть над сердцами читателей, да и место в текущей прозе поскромней. Не в пример поучающей беллетристике документальная, то есть по внешним признакам «деловая», проза Адамовича или С. Алексиевич обращается к нам как к равным, предлагая сосредоточиться не на одной лишь социологии документа — на онтологии. Для читательской души, которой важно укрепить и организовать себя полезным трудом, разница в жанрах (документалистика или художественный вымысел в «чистом» виде) малосущественна — был бы ей предложен труд, что называется, по специальности. А резко акцентированные проблемы экологии, сбережения памятников старины, наркомании среди подростков и т. п. образуют в художественных системах, если воспользоваться словами М. Бахтина, «нерастворимые смысловые примеси», которые, взбадривая нашу рассудительность, мешают окрепнуть переживанию.

Искусство и жизнестроительство

Критик Вл. Гусев бросил нашим прозаикам упрек в творческой несвободе (статья «Любовь и тайная свобода...», «ЛГ» № 20, 1987), обнаруживая в их созданиях «умышленность, осторожность, себе на уме». Процитированные слова самому критику не принадлежат. Он выписал их из повести Чехова «Скучная история», где о несвободе отечественных литераторов размышляет старый профессор Николай Степанович.

Суждения чеховского персонажа стали подспорьем для Вл. Гусева, которому здесь важен лишь прямой смысл цитаты из классика. Прямому смыслу, конечно, честь и место. Но стоит коснуться и существа истории, рассказанной Чеховым.

Интересно, отчего автор с готовностью предоставляет право профессору-медику порассуждать о театре и литературе? По признанию Николая Степановича, он пробовал строить свою жизнь, как красивую композицию. Но, подводя последние итоги, приходит к выводу: «Я побежден».

Его сердечным побуждениям всегда не хватало высоты и напряженности, силам души — мобилизующего, властного призыва. И когда Николай Степанович объявляет новейшую отечественную словесность кустарным промыслом, корит ее за робость, оглядчивость, предумышленность, он менее всего критиканствует, больше исповедуется, правда, в косвенной форме. Такое в обычае чеховских интеллигентов: рассуждая об отвлеченном, они делят свое внимание между темой, занимающей ум, и душевной заботой, которая держится в тени, прячась за словами, сказанными совсем про другое.

Героя «Скучной истории» не отпускает дума-сокрушение о дробности собственных сил, так и не отыскавших центра, о немощи перед лицом рутины, о жизни, которая не сложилась в красивую композицию. А его упреки современному искусству разве сильно отличаются от упреков самому себе? Речь, по сути, об одном и том же — о духовной робости, внутренней скованности, несвободе. И еще об отсутствии о б щ е й и д е и.

В каком из разборов «Скучной истории», считая от первых откликов народнической критики, слова «общая идея» не признавались ключевыми? Для нашего тренированного слуха они — как звуки трубы для боевого коня: путь к замыслу автора открыт, и можно все излагать прямым текстом, не опасаясь сбиться,— про пагубность беспорядка в мыслях, пользу целостного мировоззрения...

Но что мешает Николаю Степановичу, ученому с мировым именем, просвещенному человеку, самоопределиться среди философских систем, экономических и политических течений, сделать выбор? Несогласие ни с одной из них? Привлекательность сразу нескольких? Никаких попыток профессора поближе присмотреться к авторитетным учениям не отмечено. Да и не того он склада человек, чтобы искать прибежище в сбалансированных системах взглядов.

Как и многих чеховских интеллигентов, его удручает душевная разноголосица, тщета усилий выровнять строй своих чувств, разрешить глубоко личную тяжбу с необратимым Временем.

Сокровенную драму духа профессор обозначает с помощью формулы, взятой из обихода его коллег по университету — философов: нет «общей идеи». Но, обходя стороной рациональные системы, он пробует что-то важное выведать у искусства, во всяком случае, обнаруживает особый интерес к этой сфере, где началам гармонии — власть и простор.

Собственно, душа российского интеллигента всегда чутко ловила камертонные сигналы искусства. И не случайно чеховский герой пробовал строить свою жизнь по законам художества, как красивую композицию. Но и «композиция» не сложилась, и в сочинениях соотечественников он находит следы авторской робости.

С конца восьмидесятых (пора написания и публикации «Скучной истории») минуло столетие, и неожиданно оттуда, с того исторического берега, над которым висела хмарь безвременья, нас окликнули. И мы отозвались. К примеру, Вл. Гусев отозвался, взяв себе в союзники чеховского профессора, сославшись на его литературные суждения.

Они оказались к месту именно в те дни, когда нас угнетает память о двадцатилетнем застое (полоса безвременья на исходе минувшего века длилась, кстати, столько же), прояснили состояние нынешних дел.

Когда рыхлое, закисающее время отпускало людские души на все четыре стороны, те отдавали себе отчет, что четырех сторон для них слишком много, необходима духовная опора, дабы справиться с разнобоем, аритмией чувств.

«Общая идея»? Да, если трактовать ее по-чеховски — скорее как духовный лейтмотив, нежели как броский тезис.

За чем же теперь дело стало? Разве к искателям внутреннего лада не спешит на помощь художник, «сын гармонии», по Пушкину? Спешит. Тем более что неотложные вопросы торопят. Если же открылась возможность сказать о них без утайки, то первыми являются к нам авторы прямых и резких книг, на которых свежая печать эпохи гласности. Входя в мир этих произведений, мы чувствуем, что нам, как некогда читателям 20—30-х годов, энергично протирают глаза, внушают массу полезных социальных, а вдобавок к ним моральных и экологических истин. Но успевают ли поговорить с нами «по душам»?..

Когда все вразумляют всех

По традиции, авторы прямых и резких книг собеседуют с м а с с о й, напрягая голос, дабы его услышали в задних рядах. Перед ними, авторами,— поле общественного сознания, где ценному злаку — любовь и уход, а сорнякам — бой.

С наступлением эры гласности работы на этом поле оживились. Всячески их поощрять взялась и критика, попутно браня себя за долгую пассивность.

Автор одной обширной статьи долго стыдит своих собратьев по цеху, впавших, по его мнению, в «затянувшийся летаргический сон ума и совести». А заключая статью, пробует растолкать заспавшихся коллег: «И, значит, пора наконец проснуться».

Надо думать, к моменту пробуждения для них припасено увлекательное творческое задание. Посмотрим. «И сколь слышным, сколь общественно действенным могло быть слово критика-публициста — особенно если принять во внимание остроту нынешних социально-экономических проблем...» Абзац за абзацем автор усиливает тот же призыв, настаивая, что нам кровно необходима такая критика, которая «заговорила бы — на материале литературы и самой жизни — о насущных нуждах и проблемах нашего общественного бытия».

Статья, о которой идет речь (Ю. Буртин. «Реальная критика» вчера и сегодня», «Новый мир», 1987, № 6), дышит неподдельным гражданским воодушевлением, но вряд ли способна переломить характер наших привычек. Ведь чем привычнее призыв, тем безразличнее к нему сознание: оно понемногу отключается от знакомого раздражителя, наращивая защитную «мозоль» на потревоженном месте.

А для кого вновь напоминания о долге критики смелее вторгаться в жизнь? Устройте среди ночи побудку любому студенту-гуманитарию, он мигом отрапортует про авангардную роль «реальной критики», которая «на материале литературы и самой жизни...».

Если же отрешиться от гипноза напористых формул и поглядеть окрест, то совсем нетрудно уяснить, что публицистические задачи сегодня лучше всего решает собственно публицистика, занятая делом, которому обучена. Бросать ей на подмогу отряд критиков означает примерно то же, что при нынешней оснастке войск усиливать танковый десант ополченцем. Все равно Л. Аннинскому, Г. Гачеву или Е. Стариковой (выбор имен произволен) не угнаться в компетентности по части «социально-экономических проблем» за Ю. Черниченко, А. Стреляным или Н. Шмелевым. Да и стоит ли трубить общий сбор под знамена публицистики?

При подобного рода авральных сигналах и мерах, во-первых, от здравых идей очень скоро остается их шумовая оболочка, во-вторых, резко падает интерес к заветной мысли художника, и тот делается «снабженцем» при организаторах общественного мнения, поставщиком наглядных пособий для нужд социальной педагогики, в-третьих... Нет, хватит, слишком много напрашивается возражений. Да и речь о другом — о том, что стоит наметиться общественному сдвигу, как тут же крепнет просветительский призыв: всем взяться за один гуж и дружно подтягивать у м ы сограждан до уровня... ну хотя бы «реальной критики». Слово у м ы выделяю шрифтом, ибо на то оно и просветительство, чтобы адресоваться уму.

И не случайно в статье-манифесте Ю. Буртина не раз подчеркнуто, что залогом широкого признания, общественного авторитета литературной критики «является великая публицистическая идея».

С одной стороны, кто же возражать станет, а с другой — явный перекос. Значит, передайся нашему современнику душевный непокой Фауста, Болконского, Ивана Карамазова, чеховского старого профессора, ему вовсе незачем консультироваться с критикой, пробудившейся от сна, радикально усовершенствованной? Пусть не задает ей под руку вопросы не по делу?

«Великая публицистическая идея» — та путеводная звезда, до которой легче всего дотянуться,— достаточно поднапрячь ум. Оттого ее удобно помещать в центр звездного неба.

Но Блок, например, не советовал соблазняться такого рода удобством. Уже в послереволюционное время, не очень жалуя популяризаторов и просветителей, он противополагал им художников, из рядов которых «раздаются одинокие музыкальные призывы; призывы к цельному знанию, к синтезу...» И здесь же (статья «Крушение гуманизма»), несколькими строками ниже, сочувственно упоминал о небольшой группе людей, «стремящихся к синтетическому миропониманию».

В блоковской статье — предостережение против амбиций просветительства, для которого логическая выкладка, газетный афоризм всегда весомей духовного призыва.

Просветительству, однако, такие предостережения не страшны, да и вряд ли слышны. Оно победительно и легко внедряет свой стиль во все поры общественной жизни, не обходя, естественно, область искусства, стиль напористого резонерства, который наподобие радиоглушителя забивает «отдельные музыкальные призывы».

В зоне действия с т и л я происходят неизбежная рационализация, высушивание художественной речи, малоприметные для тех, кто к этому притерпелся, но странноватые на свежий слух.

Сошлюсь на свидетельство замечательного деятеля русской сцены Михаила Чехова, долгое время наблюдавшего за работой своих советских коллег из зарубежного далека. Просмотрев фильм С. Эйзенштейна об Иване Грозном, он обратился с письмом к «советским фильмовым работникам», где не скрыл своего удивления некоторой странностью исполнительской манеры актеров, которые старательно обнажают с м ы с л реплик в ущерб правде переживания..

Поставив вопрос «Что мешает вашим чувствам в «Грозном»?», М. Чехов отвечает так: «Вы говорите м ы с л ь, ударяя на главном слове, и растягиваете фразу... Всю фразу вы произносите холодно (я бы сказал: мертво), в надежде на ударное слово. Чувство не может пробиться сквозь эту несвойственную человеку манеру речи». Казалось бы, разговор идет всего лишь об элементах актерского мастерства, а не о лобовой тенденциозности романа или повести, где персонажи наперебой вразумляют друг друга, борясь за звание самого сознательного.

Но инерция взаимных вразумлений трудноодолима. По образцу социальных героев современности присаниваются и персонажи исторические, проникаясь от-

ветственностью за произносимое слово, которое что-нибудь да весит на идеологических весах. А в результате — «несвойственная человеку манера речи».

В том же письме М. Чехов замечал, что «воля и голос, если они не окрашены чувством, производят механическое впечатление». Но, увы, просветительство согласно поощрять лишь те чувства, которые по первому зову рассудка тут же выходят на перекличку. И под эгидой просветительства удобно процветать искусству натянутых, взнузданных рассудком чувств. Для просветительства мир прост, и последняя сложность, с которой предстоит сладить, — та, что не все постигли его простоту. Значит, непостигших надо без проволочек приобщить к верховному знанию.

Берем хрестоматийный пример из литературы о гражданской войне.

Муж и жена оказались по разные стороны баррикад. Она с теми, кому строить новый мир, он среди белых. Ему поручено пробраться в стан красных, но, пробравшись, он оказывается в ловушке. Решение единственное — искать укрытия у жены. Все еще любящей?! По сюжетному раскладу — да. Но его надежды тщетны: поставленная перед выбором, она отдает мужа-беляка в руки революционного правосудия. И в ответ на одобрительные голоса соратников произносит резюмирующую реплику о том, что лишь с этого вот момента может числить себя их товарищем.

Таков финал пьесы К. Тренева «Любовь Яровая». Литература 20-х годов многократно удостоверяла верховную власть классовых стимулов и порывов. И случай, описанный в «Любови Яровой», — один из ряда подобных. Особую выразительность ему придает авторское освещение.

Значит, у героини считанные мгновения, чтобы определиться — боец ли она, верный цвету знамени, или жена своего мужа. В миг выбора Любовь Яровая смущена, однако быстро берет себя в руки и действует сообразно долгу.

Сцена демонстративна. Зрителю преподнесен образцовый поступок. Колебание на пороге поступка трактовано как слабость, извинительная лишь настолько, насколько мимолетна и несерьезна заминка. Строптивости сердца, в котором укоренен инстинкт защиты родного человека, страха за него, никакого простора не дано. По логике пьесы, такая строптивость — психологический рудимент, своего рода аппендикс, подлежащий удалению.

Долгосрочному, глубоко укорененному чувству не позволено настаивать на своем, тягаться с молодым, а в масштабах всей истории — новорожденным чувством верности гражданскому идеалу, зато позволено показательно отступать, демонстрируя бессилие старины перед новью, природы (на сей раз нравственной природы человека) перед просветленным разумом.

Такова опознавательная черта взволнованного просветительства, приученного не распутывать узлы противоречий, а рассекать. Сплеча!

Впрочем, и эпоха была крутая, не поощрявшая к распутыванию узлов. Именно в такие эпохи просветительство вырывается на оперативный простор. Но, с другой стороны, между «Любовью Яровой» и, допустим, «Тихим Доном» совсем невелик хронологический интервал, и время действия совпадает — грозовое. А разве персонажи эпопеи что-нибудь делают напоказ, для пущего вразумления публики?

Григорий с Аксиньей оттого стали вечными образами, что их сердца открыты не только тревогам ближайшей минуты, но и всей глубине прошлого.

Многолетняя школьно-вузовская традиция приписывает Мелехову поиски третьего пути в революции. Но разве обязательно отклонившийся от двух путей ищет третьего? Или в подобных случаях нам привычней считать до трех? Мелехов в любом стане смотрелся чужаком, ибо вопреки разгулу вражды хотел держаться норм, которые спасают мир от одичания.

Григорий был современником Буденного, Щорса и Деникина с Красновым, но также современником гомеровского Гектора, а еще — Гамлета, короля Лира, Болконского и старого профессора из «Скучной истории».

Автору «Тихого Дона» очень долго не могли простить этой «внестроевой» позиции героя, его пребывания сразу во многих временах, как не могли простить Платонову, Булгакову, Пастернаку, Пришвину, Бабелю взгляда на ближайшие события сквозь призму опыта многих поколений.

В художественном тексте он присутствует как золотой запас, дающий реальное обеспечение словам, которыми обмениваются персонажи. Без этого золотого запаса все речи звучат механически (кажется, у персонажей от них металлический привкус во рту — привкус газетных клише).

На выходе из полосы авралов

В условиях, когда на каждом повороте сюжета писатель ждет взмаха редакторского или критического жезла и соответствующих санкций за несоблюдение установленных правил, чувства персонажей как бы конфузятся самих себя, своей капризной логики и, дабы не подвести автора, выруливают на моралистическую колею. И чем чаще выруливают, тем прозрачнее для публики воспитательные иносказания авторов и тем слабее эмоциональный тонус литературы.

Что же вышло? Хлопотали о единообразии в мыслях — нажили сердечную недостаточность.

И когда литература сопротивляется такому недугу, мобилизуя ему в отпор свои

скрытые ресурсы, это сильно тревожит поборников благочиния в искусстве.

К примеру, на рубеже 50—60-х годов мастера литературных проработок избрали мишенью прозу Ю. Казакова. Причины подобного выбора не лежат на самом виду. В отличие хотя бы от причин шумной кампании, которая велась чуть раньше против В. Дудинцева.

Там был разыгран простейший вариант: автор романа «Не хлебом единым» вызывал огонь на себя дерзким словом о круговой поруке бюрократов; последовали экстренные меры. Рядом с непримиримым В. Дудинцевым Ю. Казаков выглядел безобидным лириком, которому «запретные» темы попросту на ум нейдут.

Своих героев он чаще всего заставал в отпускном уединении, где-нибудь на рыбалке или лесной тропе, позабывшими про будничные дрязги, ибо нахлынула волна интереса к скрытой жизни природы. Но... и в речевой пластике и в музыкальном ладе казаковской прозы была полнота душевной правды, способная сбить с толку критика-резонера. Он, почитавший себя регулировщиком на перекрестках общественной мысли, не мог эту прозу ни направить в общий поток, ни задержать для досмотра. Она существовала вне его системы координат.

С Дудинцевым все складывалось четко, как на учениях: он «дерзил начальству» и, значит, навлекал на себя дисциплинарные меры, а тут поэтическая реальность, естественное саморазвитие чувств. Хочешь — постигай законы этого образного мира, не хочешь — отойди в сторонку.

Нормативной критике Дудинцев давал работу по специальности, Казаков грозил безработицей.

Возникала заминка в выборе методов воздействия на прозаика, сошедшего с просветительской колеи: если Дудинцева можно было «достать» рапповской дубинкой, то к Казакову требовался более гибкий подход — эстетический. И подошли — с ярлыком «эпигон Бунина».

А выбором ярлыка невольно сигнализировали об актуальности опыта классики для дебютантов той поры (В. Белов, Г. Семенов, А. Битов, Г. Матевосян, И. Друцэ, К. Воробьев), об актуальности, понятой как раз по-казаковски; для него особенно важно, что у классиков человек неисчерпаем, заведомо превышает любой набор социальных да и нормативно-этнических характеристик.

Эпигоном классика (какого — дело случая и вкуса; Бунин, например, удобен, так как вне зависимости от эстетики отбрасывает некую идеологическую тень на последователя) можно при большой охоте объявить кого угодно из писателей-современников, достаточно, чтобы тот мало доверял анкетам и раньше всего отыскивал духовные обоснования поступков. А охота, повторяю, была, ибо дай волю Казакову, под угрозой окажется департаментский счет к искусству.

Иное дело — когда сквозь образную конструкцию просвечивает умозрение: выверенные схемы, умозрительность — это своего рода «агентура» критики-всезнайки в художественных системах.

А как ей получить нужные сведения из глубины тех систем, где особенно содержательны настроение, тон и где отчетлив (вспомним Блока) «музыкальный призыв»?..

Между тем проза Ю. Казакова явилась точно в свой срок. Ее ждали на выходе из полосы авралов, когда настала пора каждому отдышаться, оглядеться, задать работу душе.

Читая сегодня повесть В. Маканина «Один и одна», узнаем о критической поре в судьбах двух одиноких, которая как раз пришлась на рубеж 50—60-х годов. Короткая полоса общественного оживления после памятного 56-го выдвинула своих энтузиастов, застрельщиков работы по обновлению. Маканинские двое из их числа. Тот и другая готовились к жизни — полету, а взлетная, говоря условно, полоса внезапно оборвалась, впереди двадцатилетие застоя. И как им быть? Приноравливаться к новому кочковатому рельефу и взлетать? Не всякому дано.

В общем, обозначился очередной кризис социального романтизма, а после такого кризиса вчерашним неоромантикам надо заново собирать рассыпанный мир, удостоверившись для начала, что вне их сознания он не расколот.

Это как раз и удостоверяла поэтическая речь Ю. Казакова, прозвучавшая в тот срок, когда ее больше всего ждали.

Для критики-всезнайки Ю. Казаков рубежа 50—60-х был нарушителем эстетических приличий, но в своей бунинско-чеховской ориентации нарушителем одиноким. Утешительное и смягчающее обстоятельство! А если приличия нарушает группа? Это уже тревожно...

Похвала пытливости

На самом пороге 80-х тревогу в стане критиков вызвала проза «сорокалетних» с именем В. Маканина во главе списочного ряда. Если разуметь ее стилистику, тональность — никакой связи с Ю. Казаковым. Если же отвлечься от стилистики, ритмов, красок и тому подобного, связь найдется: повести или романы «сорокалетних», как и новеллы Ю. Казакова, не прочитываются на просветительский лад.

Представляете: оперативный критик, верный завету отыскивать повсюду «остроту социально-экономических проблем», стоит в позе спринтера на дистанции эстафетного бега, нет, не стоит, а уже срывается с места, полуобернувшись к автору, товарищу по «команде», который набегает сзади, а перенятая эстафетная палочка даже на ощупь какая-то не такая. И просто ли ему, спринтеру, разобраться, что же он получил под видом эстафетной палочки из рук «эпигона Бунина» или кого-то из группы «сорокалетних»?

Нарушены правила, скажем так, командного забега. Досадно! И вот тем же «сорокалетним» предъявляется иск. Они, оказывается, нетверды в различении добра и зла, насмешничают там, где надо сострадать, любят заглядывать героиням за вырез их блузки и мало заботятся о ясности авторской позиции.

Поскольку художественные постройки на шаткой основе не стоят, речь, по сути, об эстетическом браке. Из-за чего же тогда копья ломать?

Между тем просветительскую критику в очередной раз подводит ее активный темперамент. Занятая внедрением полезных истин, склонная посреди рассуждений взвешивать их педагогический эффект, она и о писателе по себе судит: к тому приучена частым совпадением своих и его установок.

Случаются, однако, несовпадения, когда писатель в отличие от деловитого критика настроен сократически: знает лишь то, что он ничего не знает. Но хочет знать!

В. Маканин, Р. Киреев, А. Курчаткин, А. Афанасьев, возглавляющие список «сорокалетних», непослушны критике-просветительнице в силу занятости: им разобраться важно, что куда течет и что из чего вытекает. На этом участке современной прозы познавательная, изыскательская задача искусства резко выступает вперед из общего ряда задач. А к такому еще надо привыкнуть.

Публицистическая идея — властный организатор внутренних сил; под ее присмотром они вынуждены поторапливаться, стягиваясь к общеполезному делу; сосредоточенность души на себе самой чревата потерей ритма и темпа, задаиных публицистической идеей. Сговориться с самопознающей душой способно лишь то искусство, которое больше спрашивает, чем отвечает, помня о главном своем назначении — быть инструментом духовного постижения мира.

Воздержимся от преувеличений: слово «сорокалетних» чаще всего небогато лирическими обертонами, больше разъедает, чем врачует душевные ссадины. Прилежный читатель этой прозы проходит школу иронической наблюдательности под началом авторов, которым особенно интересен их сверстник — крученый, ломаный горожанин эпохи большого вранья, который как бы сам подсказывает авторам, какая тональность уместнее всего.

Однако ирония иронии рознь. Ироничен, к примеру, Сергей Есин. В «Имитаторе» и «Временителе» он верен принципу камеры обскуры, где экспонируется колоритный тип карьериста, демагога, циника, которому не уйти от морального суда, ибо его уловки давно разгаданы. Стали предметом едва ли не учебной демонстрации.

А В. Маканин или Р. Киреев если и насмешничают, то не поддаваясь искусу всезнайства. Их суждения, моральные приговоры не пробиваются на первую позицию, давая выявиться скрытой логике материала.

Исследовательская дотошность прозаиков музам явно по нраву и подчас увенчивается обретениями, которых как будто и ждать трудно от усмешливых аналитиков: те без лишней суеты рыли вглубь, докапываясь до психологической подосновы поступков, а пробились к «небу», к духовной целостности персонажей, вроде бы малоподатливой разъедающему психоанализу.

Вертикаль углубления, оказывается, способна преподнести нам сюрприз внезапной перестановкой низа и верха, сменой частного на общее. Впрочем, уже Толстым замечено: «Чем глубже зачерпнуть, тем общее всем, знакомее и роднее» (письмо Н. Н. Страхову от 3 сентября 1892 г.).

Когда в этой прозе выходят на простор «неотредактированные» человеческие чувства, они способны своевольно распорядиться жанром. В том числе как будто совершенно неподъемным для легкокрылой эмоции.

Трудно, например, приложить расхожий жанровый ярлык к недавнему роману Анатолия Курчаткина «Вечерний свет».

Первым приходит на ум обозначение «семейный роман» (читателю рассказано о крупных, мелких и мельчайших обстоятельствах частной жизни пенсионера Евлампьева и его родни). Но... десятки страниц посвящены заводским делам и, в частности, кипению страстей вокруг премии. Так, может, роман производственный? Или — философский (персонажи с охотой предаются размышлениям на общегуманитарные темы)?

Нет, дух и структура произведения восстают против подгонок под готовые рубрики. За частой сеткой обстоятельств здесь вырисовывается удел неизвестного (и ни в малой мере не озабоченного известностью) человека, его «существованья ткань сквозная», если воспользоваться строчкой Пастернака.

Евлампьеву посчастливилось не попасть в статистику военных потерь или экзекуций эпохи культа. Большие беды прошли стороной или, скажем, по краю судьбы. Впереди сколько-то монотонных лет старости. Можно бы после трудов, не очень напрягаясь, плыть по течению. Но обострен слух к неровному гулу времени, и крепнет тревожное чувство хрупкости Жизни, не собственной — общей.

Вновь вспоминаем чеховского старого профессора, проверявшего про себя, складывается или нет из его жизни «красивая композиция». Пенсионеру Евлампьеву тоже знакомо это стремление души раздвигать горизонты обзора, держа перед собой ответ за всю «композицию», ревизуя ее, соотнося с реальным и должным состоянием общей жизни.

Душа, обязанная трудиться, трудится, не поддаваясь усыпляющему кружению будней, не афишируя своих занятий, наоборот — прикрываясь деловой захлопотанностью: иначе ведь никаких не останется секретов между нею и миром.

Отчего разрушен у А. Курчаткина канон производственного, к примеру, романа? Очень просто: у нормального романиста-«производственника» деловой конфликт — всему голова; он и чувства людские по-хозяйски стягивает к себе, знать не желая, что у них Мафусаилов возраст. А чувства персонажей Курчаткина даже в разгар производственных распрей не бросают своей основной работы. Отсюда расслоение действия на ближний и дальний планы, отсюда и урон самовластию делового конфликта, когда выясняется, что жизнь души — главнее.

«Что мешает вашим чувствам..?» — спрашивал М. Чехов у фильмовых работников и тут же отвечал: «Вы говорите мысль...» Эти вопрос с ответом вполне приложимы к практике текущей литературы, которую неудержимо тянет высказываться, говорить мысли, будто она участвует в нескончаемом семинаре или сдает зачет по общественным дисциплинам, да все никак не сдаст.

Между тем (и это лучше всего запечатлено городской прозой) под рокот воспитательных речей душа современного человека все больше эмансипируется от власти рассудка. Самоопределяется вплоть до полного отделения: у него своя жизнь, у нее своя.

И «Вечерний свет» тут упомянут не как яркий образчик повествовательного искусства. Скорее как симптом. Автор упорен в стремлении рассказать об эмансипации чувств, их отзывчивости на общий ход и моральный климат Жизни. Авторское упорство ощутимо в организации, тональности романа, где внешнему событию не позволено диктовать свою волю сюжету и тот развертывается по логике событий внутренних.

Когда не новелла или лирическая повесть, а такой тяжелый дредноут, как роман, чуть ли не всей наличной жанровой силой служит экологии души,— это добрый знак. И разве случайно подобный пример мы нашли как раз на том участке литературы, где особенно авторитетен принцип «Хочу знать!» и не дано простора априорному знанию?..

●

Юрий НАГИБИН

О том, что тревожит — в литературе и жизни

I

Чехов как-то сказал: «Для жизни в настоящем надо искупить прошлое. А для этого его надо знать». До чего точно: иначе вперед не пойдешь, и как раз сейчас, сегодня настал момент заполнить нашу сильно фальсифицированную, а кое-где просто испещренную белыми пятнами историю, потому что весь тот «негатив», о котором или молчали, или говорили шепотом и на который так дружно обрушились сейчас, когда «приказано быть смелым», уходить в историю не желает. Он вламывается в нашу жизнь то Чернобыльской катастрофой, то ужасным по последствиям — и по безалаберности, к этим последствиям приведшей, — кораблекрушением, то сходящими с рельсов поездами, то цивилизованным варварством, когда душу народа, его исторические и культурные ценности пускают под нож бульдозера, чтобы на расчищенном месте возвести панельные «башни», якобы о народе заботясь.

Последние годы перед XXVII съездом КПСС мы жили будто перед концом света, будто бы и дату его знали: губили реки и озера, сводили леса, выкачивали нефть, не тратясь на разведку и на сооружение новых скважин, ходили на издыхающих морских судах и ездили по разбитым железным дорогам. После нас — хоть потоп. Нужна была *гласность*, чтобы понять: потоп настал и сейчас, когда организаторы его ушли и уходят, пенять надо на себя.

Илья Эренбург как-то рассказал мне замечательную историю. Произошло это, когда не хотели печатать часть его мемуаров — об опальном в то время Мандельштаме. Эренбург начал борьбу, и редактор сказал ему: «Илья Григорьевич, что вы хотите — мы-то с вами умные люди, но *там* нас не поймут!» И возвел очи горе. Эренбург решил пройти до конца, и настал момент, когда ему показали на последнюю инстанцию непонимания. Должность «самого непонятливого» исполнял в то время Н. С. Хрущев, человек, надо сказать, весьма неглупый. Он сказал: «Илья Григорьевич, о чем вы говорите, мы с вами умные люди, но *там* же ничего не поймут!» И указал вниз.

Сейчас, когда человеку инициативному нельзя отказать со ссылкой на «непонимающее» руководство, когда свет идет с самого верха, этот свет уничтожается по мере приближения к тем, кто внизу. Пробка в середине — среднее звено, пресловутая наша бюрократия.

Еще недавно бюрократ казался маленьким и ручным, какой-нибудь начальник жэка или в крайнем случае директор небольшого завода, — а смотрите, что наделал! Оморочил всю нашу жизнь. На фоне сплошного развала, бездельничества и очковтирательства все спокойно спивались. Водка играла колоссальную экономическую роль: уничтожая рабочего, она давала возможность выплачивать ему зарплату. Сейчас мы хотим быть трезвыми, во всех смыслах трезвыми, хотим, чтобы слово становилось делом, а не тратилось в бесконечной говорильне. Пока что-то не очень выходит.

Так уж получилось — и в этом тоже предстоит разобраться, — что раз историки не пишут настоящей истории, с оглядкой работают экономисты и социологи, то за их задачи взялись писатели. В самом деле, спросите современного читателя: если он почитывает Пикуля, то XVIII век он знает лучше, чем историю первых десятилетий века нашего — период коллективизации, тридцать седьмой год, наконец, авантюры Лысенко и «процесс врачей».

Об этих — и последующих — периодах нашей истории создана своя литература, которая с трудом и немалыми потерями пробивается наконец на страницы нашей периодики. Литература давняя: если бы после оттепели не подморозило так быстро, она могла бы выйти эдак четверть века назад, я имею в виду романы Бека, Дудинцева, Трифонова и поэму Твардовского.

На фоне нынешнего издательского восторженного увлечения писателями и произведениями, вычеркнутыми когда-то из литературы, слишком уж неспешно, «порционно» выдается читателю творческое наследие Андрея Платонова. Не переизданы с 20—30-х гг. многие его очерки и рассказы, замечательные пьесы, ждет своей очереди его главный роман «Чевенгур». А ведь Платонов первым из писателей понял ужасность маленьких командиров жизни. Застой, смерть всего, кошмар — это город Градов... Изумительна его деревня, где мужики ничего не делали, только командовали друг другом и каждый «для пользы дела» считал другого дураком. Лошади сами подходили, брали веник, относили веник в ясли, ели — потому что помощи от людей не было. Колхозные лошади — значит ничьи...

Многие произведения Платонова будто написаны сейчас. Он чувствовал все, тогда еще зачаточные проявления безответственности, взаимного обмана, пустозвонства. Норма для его «героев» — как совсем недавно и для нас — повсеместный чудовищный перерасход сил и средств: некто корчевал пень, чтобы из него сделать трубку для товарища. Бездарный распыл народных сил, народного умения, народного терпения, надежда на то, что тот же народ, не обеспеченный элементарно, построит на одном энтузиазме вечный двигатель, «действующий моченым песком».

Удивительная с «Котлованом» и «Чевенгуром» история: они были не раз переизданы во всем мире, нет литератора, их не читавшего, а у нас все решали, допускать ли эти замечательные книги к массовому читателю. «Котлован» решили-таки допустить, докатится издательская улита и до «Чевенгура», но ведь это далеко не все литературное наследие писателя.

Как сильно изменилась к лучшему «начинка» многих журналов, можно судить хотя бы по тому, что сейчас их не найти в киосках — раскупают. У некоторых журналов подписка на 1988 год повысилась вдвое-втрое. А у тех, кто думает «переждать» перестройку, — упала. Однако издательства по-прежнему ориентированы на именитых авторов — независимо от истинного качества их литературы. У «китов» есть одно неоспоримое преимущество перед молодыми — за них не надо отвечать. Открывать новые имена никому неохота, ведь тут есть элемент риска, а риск чреват... За место держатся с небывалой цепкостью, ибо место красит человека. И поразительно равнодушие «мэтров» к судьбам молодых. Радеют только родному человечку.

Особенно удручает положение, в котором оказались еще недавно молодые, прекрасно заявившие о себе рассказчики. Оказывается, издать одну книгу можно, а вторую — «извини-подвинься»! Так случилось с талантливыми Н. Сороткиной, Л. Репиной, М. Наумовым. «Советский писатель» выпустил довольно большой и очень хороший сборник рассказов Н. Сороткиной, но о нем нигде не было сказано ни слова. И редакционно-издательский мир охладел к молодому автору. Все как-то зависло: не отказывают и не издают. Она подалась в кино.

Марк Наумов — явление незаурядное, до сих пор не открытое критикой. Ему удалось опубликовать несколько отличных рассказов в периодике, из которых в его единственную небольшую книжечку попал всего один, остальные принадлежат к «отходам производства». Он давно бы мог опубликовать сборник первоклассной прозы, но все сидит у моря и ждет погоды. Недавно в «Огоньке» был опубликован его воистину блистательный рассказ «Муравьиная тропа», в котором содержания, мудрого и проникновенного, на целый роман. И снова застопорилось.

На одной книге замерла литературная судьба Людмилы Репиной, а она доказала, что может освежить подкисшую деревенскую прозу.

А вот талантливейшая В. Платова смогла опубликовать лишь один интересный рассказ в «Неве», оставшийся не замеченным критиками (читателям рассказ приглянулся). Кстати, для В. Платовой (Беломлинской) это вполне рядовой рассказ, у нее есть вещи, которые — говорю с полной ответственностью — стоят на вершине современной прозы.

Новых имен в новеллистике нет годы и годы (исключения — Борис Екимов, Татьяна Толстая), а талантливых рассказчиков немало, но их не пускают «в люди». И даже так сдвинувшееся время все еще бессильно сломать корку равнодушия к молодой новеллистике.

В жизни страны бывают разные периоды, которые можно сравнить с боевыми действиями во время войны: затишье, отступление, бои местного значения, наступление. Сейчас идет наступление по всему фронту. А какое же наступление без атаки? На острие атаки, на мой взгляд, должен находиться рассказ — самый боевой, оперативный жанр литературы. Вспомним: первыми подняли тему человека и природы, позднее укрупнившуюся в тему защиты жизни на земле, именно рассказчики в своих скромных охотничьих рассказах, а потом уже сюда потянулись романисты. Исповедальный тон, украсивший многие произведения советской литературы, приблизивший ее к душам читателей, впервые зазвучал в новеллистике, а уж потом стал достоянием других жанров. Когда награждали медалями «Строителя БАМа», из всех писателей ее получили двое — поэт и рассказчик, представители жанров «немедленного реагирования».

Почему же тогда, в преддверии XXVII съезда КПСС, мы не видели острых, смелых, принципиальных рассказов? Появись они своевременно, была бы прямая помощь народному делу. Ведь решения съезда возникают не из воздуха, за ними — наблюдение, изучение, проникновение в жизнь, в нужды не только народного хозяйства, но и отдельного человека. Разве не дело литературы и самого ее боевого, молниеносного жанра давать материал для осмысления тех или иных явлений, ставить насущные вопросы, будить тревогу?! И такие рассказы были, но редакции оставляли их «на

после съезда». Сошлюсь на свой печальный пример. Мой большой рассказ «Поездка на острова», который, по моему — да и не только по моему — убеждению, целиком лежит в русле насущных проблем, вылетел сперва из журнала, потом из книги (не по вине редакции) и преспокойно появился в «Неве» после съезда. А выйти бы ему пораньше, был бы другой навар, другой резонанс, но приговор «слишком остро» пересмотру не подлежал.

Слово «остро» было еще недавно в литературе подобием орудовского «кирпича», пресекающего движение вперед. Казалось бы, раз «остро», так и печатайте без промедления — зачем нужно «тупое», им ничего не разрежешь,— но рукопись возвращалась автору. Этим новеллистика обрекалась на то, чтобы плестись в хвосте жизни. Тут, собственно, литературное неразрывно связано с застойными явлениями в обществе — да и не может литература, какой бы ни была она нетленной, существовать в отрыве от общества, от времени.

II

Некоторое время назад мне с опозданием попалась в руки статья критика Вл. Новикова «Думайте поступками» («Октябрь», 1987, № 6). Клич поэта, подхваченный критиком, напомнил мне, что в этом «думанье поступками» лежит корень многих и многих наших бед. Вместо глубокого анализа, расчета, взвешивания всех «за» и «против», консультаций со специалистами, совета с народом — скоропалительное мышление поступками. Так созданы чудовищный проект изменения течения сибирских рек, памятник Победы на Поклонной горе и многое другое. Доказывая, что деньги на ошибочный проект потрачены недаром, что проект вовсе не ошибочен, приступали к строительству; доказывая, что строительство раз уж началось, то просто необходимо и уж вовсе не ошибочно, требовали денег на пусконаладочные работы, потом — дотаций, потом... Ошибочные поступки порождали другие ошибочные поступки, пока не возникли предкризисные явления и не потребовалась перестройка.

Так что едва ли стоит думать поступками и в масштабах новеллистики, и в масштабах страны.

К сожалению, это тенденция нашей критики — придумать какую-то искусственную концепцию и ею проверять живой материал литературы. Особенно плохо бывает авторам, когда за дело берутся немолодые, злые, обобранные в чем-то более важном для них, чем литература, представительницы давно уже не слабого пола. Но это к слову...

Иннокентий Анненский в своих «Отражениях» (что еще найдешь подобное по кипучести критической мысли, по чистоте литературной страсти!) не мудрствовал отвлеченно, а растворялся в произведении и говорил как бы изнутри него. Иногда он вроде бы пересказывал просто роман, повесть, пьесу, но, пересказывая, восхищался, спорил, сопоставлял. Он жил этим произведением, и «Отраженья» — так он называл свои критические этюды — возникали в результате глубочайшего проникновения в художественную ткань. Он всегда принимал «условия игры» автора, чтобы потом прийти к собственному пониманию, причем поступал так не только с гигантами — Шекспиром, Достоевским, Тургеневым,— но и с писателями, не имевшими перед ним каких-либо преимуществ, скорее даже наоборот — Леонидом Андреевым, Бальмонтом и другими.

Увы, сейчас критики исходят, как правило, из того, что они знают больше и видят лучше автора, о чьих произведениях пишут. Они всегда безапелляционны и даже малейшему сомнению не подвергают свое право судить — хоть бы оговорились просто: «Может быть, я что-то недопонимаю...»

Особенно нуждается в умной критике малая проза, давно уже находящаяся в загоне. Поэтому приветствую появление статьи Вл. Новикова. Когда один из ведущих литературных журналов дает столько площади на статью о рассказе, это поднимает престиж всей новеллистики. Приветствую и... с сожалением вспоминаю о рецензиях на отдельные рассказы, появлявшихся в «Литературной газете» в очень давние времена, когда рассказ был в полном упадке и усилиями Фадеева, Суркова и других его начали поднимать. Думаю, такие рецензии принесли бы больше пользы, чем статья, где критик идет не за произведением, а произведения пытается рассматривать лишь в рамках своей особой теории, согласно которой главная беда советской новеллистики — в бесфабульности. Думать надо поступками, писать надо поступками, иначе придешь к бесконфликтности... Вот оно появилось опять на свет, это дурной поры словечко, которым клеймили в свое время литераторов с кляпом во рту. Есть некоторые термины в нашем тягостном прошлом, которые вообще лучше не вспоминать.

Может быть, говоря о фабульности, критик имеет в виду сюжетность? Это не одно и то же. Фабульность — принадлежность приключенческой, фантастической и детективной литературы, так что невозможно требовать, чтобы вся литература стала вдруг фабульной. В таком случае пришлось бы отправить на свалку всю русскую классику, кроме Достоевского («Преступление и наказание» — гениальный детектив; детективной печатью отмечены его великие романы «Идиот», «Братья Карамазовы», «Бесы»; не признававший Достоевского Владимир Набоков считал его «русским Шерлок Холмсом»). Как исключение остались бы чеховские «Шведская спичка» и «Драма на охоте»... Но проза Лермонтова, Тургенева, Гончарова и уж

кого подавно, так это Бунина, «как назло» бесфабульна, что не убавляет ей гражданственности и, конечно же, не снижает литературных качеств...

Правомочно ли вообще связывать, как это делает автор статьи, «тяготение» жанра «то к «новеллистическому», то к «рассказовому» полюсу» с социально-общественными процессами? Рассмотрим его следующее утверждение: «Есть определенная связь между бесфабульной инерцией прозы семидесятых — начала восьмидесятых годов и теми тенденциями общественно-нравственного застоя, которые выражались в негласных, но живучих «заповедях»: не выступай, не высовывайся, не создавай прецедента и т. п. Ведь построение сюжета, развитие художественного конфликта требуют не простого копирования жизни, а вторжения в нее. Требуют риска, ломки стереотипов — и литературных, и социально-нравственных».

Получается, что только острофабульные авторы, которые писали о шпионаже и контршпионаже всех мастей, были действительно на переднем крае жизни, рисковали, ломали стереотипы, а прочие, якобы не желая писать фабульные рассказы, создавали себе спокойное, безбедное существование. Но можно ли зачислять в категорию «уклоняющихся» от серьезных вопросов бытия ведущих писателей той поры, будь то Ч. Айтматов, В. Астафьев, Е. Носов, Г. Семенов, Ф. Искандер, Д. Гранин, В. Шугаев и другие, а ведь никто из них фабульностью не блещет.

У фабульности самой по себе нет никаких моральных преимуществ перед бесфабульностью. Блистательно талантливы повести Виктории Токаревой и все же не равны начисто бесфабульным «Усвятским шлемоносцам» Е. Носова — наверное, одному из самых глубоких, проникновенных произведений об Отечественной войне, хотя там и не стреляют.

Надо сказать, что жанры, а уж подавно их «подразделения», равно как и приемы письма, сами по себе ничего не определяют, и не нужно возводить их в неподобающий чин, будто принадлежность к тому или иному виду литературы имеет самодовлеющее значение. Важен, прошу извинить за избыток ученых слов, эстетический и этический эффект, а чем он достигается — фабулой или исповедью, острым сюжетным действием или элегическим раздумьем — совершенно безразлично. Важно лишь то, что отложилось после чтения в человеческой душе. В основе же воздействия произведения на читателя лежит слово, а не событийность сюжета; лишь слово дает истинную и, главное, долгую жизнь любому произведению и, в частности, рассказу. Рассказу даже в большей степени, так как роман может «проехать» за счет большого жизненного опыта автора, охвата событий, эпичности, рассказ же должен быть выверен в слове до конца. Кстати, слова-то, самого главного, и не слышит в подавляющем большинстве наша критика. Она под стать любителю живописи, страдающему дальтонизмом: видит лишь содержание, сюжет и не видит главного, что определяет ценность произведения — красок.

Вот и в статье «Думайте поступками» обращается больше внимания на событийную, а не на художественную ткань.

Интересно, что при этом критик считает достойным изображения в литературе, какие сюжеты он узнал из жизни. В начале статьи они приводятся, это «несколько реальных фактов, обнародованных в последнее время периодической печатью». Как профессиональный рассказчик скажу, что никогда бы не взял их в качестве основы для сюжета. Потрясшие критика события, при всей их прекрасности или ужасности, остаются «газетным» материалом, достойным либо фельетона на страницах «Литературной газеты», либо очерка о чьем-то замечательном подвиге. Они, так сказать, локальны, а каждый самый маленький рассказ, о чем бы он ни был, должен быть всемирным, должен включать, кроме того, о чем он написан, всю остальную действительность. Конечно же, имеют право на существование газетные рассказы непосредственного реагирования; если они занимательны и не очень плохо написаны, если откликаются на действительно важные события, они могут сыграть свою роль в формировании общественного мнения. Вот тут бы и фабульности побольше, особенно в рассказах сатирических,— действительно, нельзя представить себе бесфабульный сатирический рассказ. Но такие рассказы — факты, рассчитанные на немедленное, сегодняшнее воздействие, быстро же и уходят под напором следующих рассказов-фактов. Они не создают литературу, плод ее и не могут в литературе остаться.

Для доказательства основного положения своей статьи критик тревожит тени Шукшина и Высоцкого — вот настоящие новеллисты... Никто не отрицает достоинств рассказов-анекдотов Василия Шукшина, но, может быть, хватит возводить их в перл творения?! Значительна суммарным необыкновенным букетом талантов личность Шукшина, это создает как бы прибавочную стоимость его рассказам, до безобразия обслюнявленным критическими засосными поцелуями. И уж подавно можно было бы оставить в покое Владимира Высоцкого и не превращать этого замечательного певца, талантливого поэта еще и в образцового новеллиста. И все это — на материале едва ли не самых слабых его песен, ибо «Кони» и другие трагические «песнопения» Высоцкого — бесфабульны.

«Видим ощутимые свершения таких мастеров лирического психологизма,— читаем мы в статье «Думайте поступками»,— как Е. Носов, Ю. Нагибин, Г. Семенов, А. Ким. Но такова диалектика развития жанра, что подолгу задержи-

ваться на одной ступени — значит отставать от жизни. Пристально перечитывая рассказы семидесятых, нельзя не заметить, что бесфабульность стала нетворческим беллетристическим шаблоном». Я привык к небрежному обращению с собой критиков, так чего уж обижаться на слова, содержащие беглое одобрение. К тому же люблю Носова и Семенова как писателей и моих больших друзей; чту Кима, с которым знаком не столь коротко, но отношения наши полны приязни и взаимного уважения. Так что с этими людьми я рад быть в любой компании — только не в компании «бессюжетников», потому что большинство моих рассказов как раз сюжетны.

Скажем, «Трубка», переведенная без исключения на все языки мира — включая хинди, хаусу, суахили, урду и так далее,— и в мировом масштабе всегда считалась примером современной новеллы. Позже я написал еще ряд рассказов фабульных, а не просто сюжетных: скажем, «Среди профессионалов», «Таинственный дом», «Пик удачи»... Остросюжетен, фабулен рассказ о Кристофере Марло из книжки, посвященной творцам прошлого, или рассказ «Беглец», посвященный Тредиаковскому и его жене, не говоря уже о крайне остросюжетном рассказе «Терпение». Но в угоду общей посылке статьи я мимоходом получил ярлык «бессюжетника», хотя, честное слово, мог бы рассчитывать от критика, пишущего о рассказе, на большее внимание. Все-таки редкий, единственный у нас случай, когда писатель выпускает собрание сочинений в 4 томах, состоящее целиком из рассказов.

Пятьдесят лет работая в жанре рассказа, я весьма отчетливо вижу то, что делаю и что у меня чего стоит. Если исключить «Терпение», для меня лично важнее те рассказы, где я не занимаюсь сюжетной канвой, а рассматриваю пристально и близко человеческие лица, стараясь проникнуть в то, что за глазами — как, например, в «Реке и Гераклите», «Дорожном происшествии» или в таких небольших рассказах, как «Марилон», «Посланец таинственной страны», во всех рассказах цикла «Вечные спутники», хотя при этом считаю, что сюжетное и бессюжетное равноценно.

Фабульность никак не может быть панацеей от кризиса, который, по мнению критика, переживает сейчас рассказ. Кризиса никакого нет, если судить, как и делалось всегда в литературе, по произведениям подлинных мастеров жанра. Есть объективные трудности в жизни рассказчиков. Это, во-первых, чисто материальный фактор — на рассказы не проживешь, ибо не соблюдается право аккордной оплаты. Писатель — живой человек, ему нужно самому есть и кормить семью, вот почему многие авторы, даже не обладающие романным мышлением, торопятся «перемахнуть» из рассказа в роман, и получается, что рассказ — это словно бы подступ к настоящей литературной работе, этап ученичества. Отсюда и соответственное отношение издателей и критики: писатель для них начинается с романа, рассказчиков можно вообще не замечать — они погоды не делают... Нет ничего хуже количественного мышления в литературе.

III

Столько десятков лет людей приучали к сделкам с совестью, к соглашательству, вышибали из них самостоятельность, веру, решительность, насаждали робость, ханжество, вранье и лицемерие. Главное — вранье одуряющее! Которое уже поколение идет через двойную бухгалтерию: жизнь дома и жизнь на работе, в школе, и так — начиная с яслей. Это не способствует возникновению характера решительного, смелого, могущего не только кинуться в огонь, как и было в Чернобыле,— а это часть национального характера, которую задушить не удалось и никогда не удастся,— не только совершить в эйфорическом состоянии яркий поступок, но трудиться ежедневно, планомерно, упорно. Нет сил. Веры нет, привыкли к обману. Даже когда дают серьезное, достойное дело, этого не хотят, все привыкли жить так: государство тянет с нас, мы тянем с государства. Вот одна из причин того неожиданно сильного пассивного сопротивления перестройке, о котором говорил М. С. Горбачев; человеческий фактор может быть и со знаком плюс, и со знаком минус...

Сам себе становлюсь жалок и смешон, но опять и опять повторяю в своих выступлениях — перед читателями, на радио, телевидении и в прессе: Лефортово, Сухаревская башня, могила Осляби и Пересвета... Я искренне и горячо вошел во все, что связано со словом, в достаточной мере, увы, уже засаленным конъюнктурщиками,— «перестройка». И, в частности, это не могло не включить в себя отношение к Москве и ко всем другим старым русским городам, где сохранились еще памятники старины, исторические ценности. Для каждого не позабывшего, что называется, родства человека это важно и дорого — и я кинулся в самую гущу, тем более что мне казалось: именно сейчас моя работа будет иметь должный практический результат. Но пока деятельность энтузиастов привела только к более интенсивному уничтожению старины.

Первая моя большая статья в «Советской культуре» (март 1986 г.) получила серьезный резонанс. Было много читательских писем, был очень хороший фильм Мостового, который показывали по телевидению и в кино. В газете появилась постоянная рубрика «О Москве с надеждой и любовью»... Мне казалось, что я сделал доброе дело, снова назвав больные точки Москвы, в частности могилу героев Куликовской битвы Осляби и Пересвета,— она попала на территорию завода «Динамо», и завод во что бы

то ни стало хочет ее уничтожить: новый цех ставят так, что остатки церковки с могилой неизбежно сползут в овраг. Там затрагивался еще целый ряд московских проблем, в частности досуг, кафе, транспорт, стоянки машин, московская неправдоподобная грубость, нерасторопность ГАИ, переименование улиц... И гора родила мышь: в результате всего шума на телевидении, на радио и в прессе были возвращены прежние названия двум улицам и переименована станция метро.

(Все-таки жизнь не стоит на месте. Когда статья была уже написана, вышло решение о сохранении могилы героев Куликовской битвы.)

Но было и другое следствие: все те представляющие историческую, а зачастую и архитектурную ценность здания, которые перечислялись как находящиеся в угрожающем состоянии, были уничтожены до конца 1986 года. Последним пал дом Щепкина, о котором говорили больше всех, потому что уже был уничтожен один дом Щепкина. Распоряжался этим варварством начальник ПЖРО Свердловского района А. Гриднев, а когда общество охраны памятников подало на него в суд, районный прокурор А. Баженов заявил, что поскольку товарищ Гриднев не знал, что это памятник старины, то ничего преступного в его действиях прокуратура не усматривает. Но это же абсурд! Мог ли мало-мальски компетентный работник не отличить исторический памятник от барака! Мог ли отключить радио, телевизор и не читать газет, где столько говорилось именно об этом доме?!

Он обязан, раз уж облечен властью сносить здания, знать все исторические памятники на территории своего района! Не думаю, что работники прокуратуры столь наивны, что поверили объяснениям Гриднева,— тут прослеживается сознательная линия, ведь с момента принятия статьи 230 УК РСФСР, предусматривающей уголовную ответственность за разрушение исторических памятников, по ней не был привлечен ни один человек. А раз так, то и дом Щепкина, несмотря на поднятый вокруг него шум, не исключение, а лишь один из многих и многих примеров.

За поразительно короткое время после появления моей статьи погубили дома, где жили Рахманинов, Погодин, Фет, сейчас добивают дом Есенина в Померанцевом переулке. Квартира поэта взята под охрану, но сделать ничего невозможно: там попросту грабят...

Дикий, неожиданный результат гласности: усилия замечательного нашего графика Шмаринова, художника Куманькова, статьи Ольги Чайковской, письма неравнодушных людей, которые посыпались в редакции,— все это лишь ускорило процесс уничтожения. Безответственные «ответственные товарищи» поняли, что если они не поторопятся снести дома, то будут неприятности, а раз снесли — ничего не поделаешь, с глаз долой — из сердца вон, они, дескать, не знали...

Затем началась история с Лефортовым. «Московский Петергоф», замечательный ансамбль, сочетающий воду, зелень и архитектуру, где Петр как бы прикидывал те чудеса, которые были позже созданы в Петергофе... Третье транспортное кольцо должно его разрушить. Там, кстати, произошел случай, когда энтузиасты заняли Щербаковские палаты и не дали снести их бульдозерами. Палаты решено было оставить, и сразу стало ясно, что замечательные торговые ряды, созданные архитектором Далем, сыном Владимира Даля, уничтожены ради уничтожения: они находились сразу за палатами, на одной линии, и раз палаты, как выяснилось, не помешают новой трассе, то и торговые ряды можно было пощадить.

Интересно, что, когда подобный проект рассматривался в середине тридцатых годов, во времена не такие уж нежные и мягкие к памятникам старины, трассу решено было проводить в обход Лефортова. Повторно проект рассматривался в пятьдесят первом — то же решение. И лишь совсем недавно в нероновых мечтаниях был рожден проект вести трассу через Лефортово. Потребовались неимоверные усилия жителей Лефортова, московских творческих организаций, известных писателей, художников, архитекторов, журналистов, тысяч москвичей, чтобы горисполком в ноябре 1987 г. дал распоряжение остановить работы на ближайших подступах к Лефортову и разработать новые варианты прохождения трассы. Угроза еще не снята, но хотя бы отодвинута — это дает надежду.

Вот что интересно: как только общественность поднимает голос в защиту той или иной архитектурной ценности, бюрократы начинают быстрее делать свое губительное дело. И я задумался: а что тому причиною? Неужели только честь мундира, самоутверждение, желание отстоять свой авторитет? Думаю, такое утверждение близоруко. Причина, как ни странно, в эстетике. Разрушительской деятельностью заправляют, как правило, люди малоинтеллигентные, к тому же не связанные корнями с Москвой и потому равнодушные к ее участи,— «технари», знающие свое прямое дело — иначе не добились бы таких должностей,— но абсолютно лишенные художнического мышления и уважения к исторической памяти народа. У них есть свой эстетический «идеал» — он сводится к «башням». Им кажется, что Москва из стекла и бетона — это будет чудо-город и, главное, вполне современный, второй Чикаго или Филадельфия, им хочется видеть Москву такой.

Еще одна причина подобного отношения к старине — отсутствие специалистов и материалов. Какой фарс был разыгран из-за этого с восстановлением Сухаревской башни, как доказывали, что

возводить ее нужно именно на старом месте, взывая опять же к истории... А дело в том, что на новом месте (против института Склифосовского) можно начинать строительство хоть сейчас, тем более что и Министерство морского флота дает на это деньги — там хотят сделать морской музей,— а на старом месте надо перекрывать движение, строить тоннель, на что уйдет 25 лет. Позже один архитектор, член комиссии, сказал мне: «Эх вы, карась-идеалист! А кто будет вашу башню строить, из чего? У нас же нет специалистов по лепнине, нет резчиков, нет камня!»

Старые мастера «уходят понемногу», но пока они еще есть, надо, чтобы они успели передать свое мастерство молодым; ведь стыдно, ей-богу, что «Метрополь», украшенный Врубелем, восстанавливают наши северные соседи... Словом, строительство Сухаревской башни отложено до лучших времен, когда не будет уже никого из членов нынешней комиссии, когда, точно, не будет старых мастеров и когда, возможно, не нужна станет младшая сестра Ивана Великого поколению безнадежных любителей современных «башен». Сейчас она еще могла бы сыграть свою воспитательную роль, но, если продолжить разрушение старой Москвы, через 25 лет о башне просто забудут...

И становится по-настоящему страшно. Когда происходили подобные злоупотребления и мы молчали, это соответствовало общей подавленности, соответствовало психике — привыкли, считали, что так и должно быть. Теперь чувствуешь, что ты гражданин, что можешь свободно выступить и предъявить справедливый счет соответствующим организациям и лицам. Ведь они нарушают не только моральный климат, но часто и вещи неотвлеченные — советские законы! Нарушают безнаказанно, мы об этом кричим, надрываем голосовые связки — они посмеиваются и делают, что хотят, или ничего не делают. Не считаются ни с гласностью, ни с общественным мнением, ни со всем тем, чем мы слишком рано начинаем гордиться.

Впечатление такое, будто бюрократы собрались, как ильф-и-петровские дети лейтенанта Шмидта, и подписали сухаревскую — точнее, антисухаревскую, если говорить о башне, конвенцию. Решили: пусть орут, когда-нибудь сорвут голос и заткнутся, а мы будем уничтожать все «старье», и неважно, кто там жил, и в других делах тоже будем поступать посвоему — главное, не обращать внимания.

Это чрезвычайно скверно, это расшатывает нервы хуже, чем затянувшееся молчание. Но нужно продолжать говорить — другого выхода нет. Замолчать, разомкнувши уста, уже невозможно — вот реальное на сегодняшний день достижение гласности,— но до каких же пор можно повторять: «Будьте хорошими, будьте заботливыми, трудолюбивыми, сознательными»?! Никто не хочет быть несознательным, но целый ряд людей, привыкших к малой и средней власти, привыкших к безнаказанности и безотчетности, понимают сознательность по-своему: то, что они делали все время, за что получали ордена и чины,— они делали правильно, как бы их работа ни оценивалась сейчас общественным мнением. Они контингент, так с какой стати будут позволять каким-то хитрованцам вмешиваться в их спокойную, беспечную жизнь, в их деятельность?!

Гласность — это замечательно. Замечательно, что заполняются белые пятна истории и литературы нашей, что изданы Мандельштам, Ходасевич, Замятин, Платонов, Набоков, замечательно, что не позволили ведомственным «преобразователям» повернуть северные реки, вроде бы спасли Байкал и остановили строительство издевательского мемориала на Поклонной горе. Но все наши достижения пока с частицей «не»: не позволили замолчать чьи-то имена, загадить, поиздеваться над народной памятью,— а ведь проект мемориала и был именно издевкой, ведь там солдаты-победители поднимают руки. Для того, чтобы нарушить противоестественное сосуществование бюрократа с перестройкой, должен заговорить закон. Многие из названных мною злоупотреблений подходят под действующую юрисдикцию — это прямое беззаконие, прямые преступления того или иного масштаба, калибра и толка.

Что-то должно происходить, ведь не на орешки идет игра — идет самая крупная после Октябрьской революции перестройка общественного сознания, экономики и всех сфер человеческой деятельности. Надо рассчитаться, наконец, с прошлым, предварительно узнав его, тогда мы сможем идти вперед и груз прошлых ошибок не будет висеть на нас кандалами и веригами. И боже нас упаси принимать где-либо забрезживший свет за алую зарю и победно трубить в серебряные трубы. Самое опасное — снова впасть в эйфорию победных рапортов, беспочвенного самодовольства и хвастовства. Критика не страшна сильному отечеству, она лишь укрепляет его, а умолчание недостатков и ошибок, замазывание их — вот что губительно. Надо быть беспощадно строгими к себе и стойкими, надо сохранить главное наше достижение — гласность, только тогда к нам придет успех. И никаких передышек, никаких одергиваний тех, кто говорит неприкрытую правду, никаких отходов с пути демократизации.

Пропасть в два приема не перепрыгнуть.

Во сне и наяву

•

Татьяна Толстая. «На золотом крыльце сидели...» Рассказы. М., Молодая гвардия, 1987; **Самая любимая.** Рассказ. Аврора, 1986, № 10.

•

У Татьяны Толстой, недавно выпустившей свою первую книжку, как будто и не было периода литературного ученичества. Первые ее рассказы появились в журналах четыре года назад, и уже в них она выступила как писатель со своим, вполне определившимся почерком — такое по нынешним временам непривычно. Непривычна и сама «поступь» ее прозы, уверенность внутреннего жеста: никакой взвинченности и принужденности, никакой натуги быть чем-то большим, чем самой собою. Только простор для мысли и зрения.

Надо иметь зоркий и приметливый глаз, чтобы написать: «Колесики лимона — будто разломали маленький желтый велосипед». Надо обладать умным и чутким воображением, чтобы сказать, что «перед лицом ежегодной смерти природа пугается, переворачивается и растет вниз головою, рождая напоследок грубые, суровые, корявые творения — черный купол редьки, чудовищный белый нерв хрена, потайные картофельные города». Т. Толстая пишет ярко, не жалея красок, ее сравнения и ассоциации неожиданны и притом точны; более того, точность их такого свойства, что читаешь и дивишься: как это я сам, тысячу раз видев, не додумался?

И вот что очень существенно: авторское видение формируется не бессвязной чередою минутных впечатлений, но имеет характер устойчивого мироотношения, насыщенного и выверенного мыслью. Детство шелестит листвой чудесного сада, сверкает всеми цветами радуги в рассказе, давшем название сборнику. Но мысль, проникая сквозь эту похожую на дивный сон картину, прозревает явь, реальность, которая захвачена каким-то потаенным грозным движением. Воссозданная памятью и воображением автора декорация куда-то движется, плывет. Именно плывет, словно погруженная в некую текучую среду. Т. Толстая недаром настойчиво повторяет этот глагол: плывет потолок, плывет мансарда, плывут крыша, флюгер, луна — «через сад, через сон». И догадываешься вдруг, что это ведь жизнь движется, это само время плывет сквозь сад и старую дачу — и вот уже скоро придет последний час жизни тихого соседа-бухгалтера дяди Паши. Да и чудесные вещи, запомнившиеся с детства,— тлен, рухлядь, не более. «Что же, вот это и было тем, пленявшим?.. Как глупо ты шутишь, жизнь!» На смену детскому мироощущению приходит знание крутого норова жизни — и тогда работой мысли, усилием памяти прошлое и настоящее сливаются, проецируются друг на друга, открываются одно в другом.

Это постоянное смещение и сближение временных планов чрезвычайно характерно для Т. Толстой. Оно может возникать как своего рода «ускоренная съемка»: «тихо старея, пройдет по дому» героиня одного из рассказов, но чаще — как просвечивание одного времени другим, когда граница, отделяющая прошлое от настоящего, кажется легко проницаемой. В одном из лучших рассказов писательницы — «Соня» — возникает некая компания в освещенной солнцем комнате, и видение это появляется и исчезает, а рассказ заполняется голосами, и в их нестройном шуме автор ищет гармонию, которая слышится, как сказал Б. Окуджава, «сквозь смех наш короткий и плач».

С недоуменного вопроса: в чем смысл? — и начинается рассказ: «Жил человек — и нет его. Только имя осталось — Соня». Имя, надо сказать, на редкость точное. Соня она и есть, живет как во сне, заторможенная какая-то, романтически-сентиментальная старая дева, о внешности которой лаконично сказано: «Достоинство всех английских королев, вместе взятых, заморозило Сонины лошадиные черты». К тому же — редкостная дура. И о ней — через полвека?

А ведь в одной компании с Соней «столько было действительно интересных, по-настоящему содержательных людей, оставивших концертные записи, книги, монографии по искусству». Соня рядом с ними — мишень для острот, объект розыгрышей — таких, как пылкие любовные письма, сочиненные «этой змеей» Адой от имени вымышленного Николая и принятые Соней, разумеется, всерьез...

Написано все это с той мерой юмора, живости и свободы, что в рассказе совершенно не чувствуется «конструкция»: перед нами кусок жизни, где бытовой анекдот обрывается самопожертвованием Сони ради спасения Николая в блокадном городе. И Соня, персонаж анекдота, оказывается трагической героиней, действующим лицом истории.

И вот что интересно: Соня в рассказе не только возвеличена, но — и, что очень важно, не где-то «в другом месте», а одновременно — высмеяна. Вооб-

ще стиль Т. Толстой по природе своей иронический; недаром так часты у нее длинные цепочки сравнений — словно многократное эхо-пересмешник. В ее прозе вопреки расхожему противопоставлению обнаруживают свою близость и органичное единство игровое начало и ощущение теплоты и вещности мира. При этом ирония у Т. Толстой — не просто способ избежать патетики, не броня, защищающая сокровенное и висящая на нем мертвым грузом, а, как и острота восприятия,— необходимая черта художественного, то есть самого естественного и человечного, видения жизни. Возникающий в результате авторский взгляд сложен и не может быть втиснут в однозначную формулу. Я бы сказал даже, что он включает в себя юмор и иронию не только по отношению к героям, но и к себе самой, на что нынешние молодые писатели в большинстве своем, увы, совершенно неспособны.

Критике все это, к сожалению, дало повод для кривотолков. Так, М. Золотоносов, автор рецензии в «Литературном обозрении» (1987, № 4), нашел, что «пока еще Т. Толстая слишком «внутри» своих рассказов, слишком близко к героям» и потому якобы уходит от этических оценок, сосредоточиваясь на... своих собственных творческих проблемах. К подобным же выводам приходят критики, высказывающие упреки, казалось бы, обратного свойства — в чрезмерной отстраненности от героев, в том, что, дескать, в рассказах Т. Толстой человека не любят, а изучают,— упреки, сопровождаемые обычно сетованиями на грозящее нам будто бы горе от ума, на то, что ум наш стал куда проворнее доброты, и т. д. Между тем для самой Толстой такое противопоставление (откуда оно взялось — вопрос особый) попросту немыслимо: глупость бывает безобидной, даже трогательной (как у Сони), но зло и жестокость не могут быть ничем обоснованными. И в этой неповрежденной целостности гуманистического взгляда на жизнь состоит, на мой взгляд, одна из особенностей ее таланта.

Т. Толстая далека от мысли, что мир, так сказать, всегда и во всем разумен, она протестует против романтической иллюзии, будто жизнь безусловно прекрасна. Для нее даже детские слезы над тарелкой каши — не минутный каприз, а горькая печаль беззащитности перед жизнью: «Господи, как страшен и враждебен мир, как сжалась посреди площади на ночном ветру бесприютная, неумелая душа! Кто же был так жесток, что вложил в меня любовь и ненависть, страх и тоску, жалость и стыд — а слов не дал...» («Любишь — не любишь»).

С этим перекликается явственно различимый, например, в рассказе «Факир» образный мотив морозной тьмы окраин, тягучей тоски пустынных просторов, где супруги Юра и Галя готовы чуть ли не волками выть в своем доме у кольцевой дороги. Их и в самом деле жаль. Но сотворить себе кумира и восхищаться им только за то, что он живет не на краю Москвы в блочном доме, а в высотном дворце в центре города? Тут уж не об одной бытовой неустроенности идет речь, но об определенном уровне представлений о том, чем мерится достоинство человека, его счастье и несчастье...

Беда многих героев Т. Толстой, самая суть их «сна» как раз в том, что они не замечают дара самой жизни, ждут или ищут счастья где-то вне яви, а жизнь тем временем проходит. Доверчиво ждал счастья Петерс из одноименного рассказа — взрослый ребенок, человечек с оставшимся с детства нелепым именем, чем-то похожий на чеховского Беликова, но без беликовской злокачественности,— а жизнь смеялась над ним. На первый взгляд перед нами просто история неудачных попыток героя найти себе спутницу жизни. Но то тут, то там по ходу повествования словно срабатывают сигнальные звоночки, предупреждающие: рассказ-то не о том.

Эта вроде бы совершенно незначай сказанная фраза о ледоходе на Неве в день похорон бабушки Петерса, эти весенние и зимние набережные, реки, каналы, эти ветры и дождевые потоки... Весь рассказ идет как бы под аккомпанемент неуклонного всеобщего ритма — смены времен года, навевающих герою то отчаяние, то новую надежду. После очередного разочарования Петерс окончательно впал в какую-то спячку: теперь он «жил сквозь сон», пока не пришло наконец к нему пробуждение. Жизнь торжествует над сонным мороком, но голос автора насмешливо-печален. Вот Петерс несет из магазина «холодного куриного юношу, не познавшего ни любви, ни воли»,— это ведь и о нем самом сказано, и аналогия продолжает разворачиваться: Петерс разделывает цыпленка, «чтобы стерлась в веках память о том, кто родился и надеялся, шевелил молодыми крыльями...» И в этом сопряжении будней героя с потоком вселенского времени, с природным круговоротом непоправимость незадавшейся жизни осознается с особенной остротой.

Большинство героев Т. Толстой могут показаться сборищем психологических курьезов. Эти взрослые по сути дети: Соня, Петерс, доживающая свои дни Александра Эрнестовна из рассказа «Милая Шура», слабоумный Алексей Петрович из недавно опубликованного рассказа «Ночь». Но ведь детское (как и художническое) — это всеобщее, сущностно-человеческое, и потому драма беззащитности, беспомощности, переживаемая ими, есть лишь заострение общечеловеческой проблемы. Этим-то они и дороги писательнице; самодовольного

«ну, мы-то совсем другие» тут нет и быть не может.

Именно поэтому Т. Толстая напряженно ищет адекватную форму отношений человека с реальностью. В этом она видит коренную проблему нашего существования, проблему, которая не терпит упрощенного к себе отношения. Именно поэтому, смею предположить, к числу своих неудач она относит рассказ «Чистый лист», где эта проблема как бы «выпарена» в условном эксперименте с элементарным и заранее очевидным результатом. Здесь Т. Толстая вступает со своими героями в какие-то другие отношения, более поверхностные, что ли, сбивается на фельетон.

Этот упрек отчасти можно адресовать даже одному из лучших рассказов писательницы — «Самая любимая». Заграничные родственники, чья черствость стала причиной смерти героини рассказа Женечки, вероятно, неожиданно для самого автора как бы иллюстрируют ходячие представления о западном прагматизме. Драматичная сложность человеческих отношений, которые так тонко, с таким щемящим лиризмом рисует Т. Толстая на протяжении рассказа, сменяется в конце вдруг плоским обличительством, которое явно «отслаивается» от всего предыдущего текста.

О Т. Толстой сейчас много спорят. У нее уже не только знаменитая и обязывающая «литературная» фамилия, но — литературное имя, которое упоминают в одном ряду с именами лучших писателей старших поколений. Это не насильственное уравнивание, а признание родства по крови: сформировавшаяся в глухое время, Т. Толстая с ее ясным разумом и свободой от духовной спячки взросла на их поле. И эта преемственность внушает надежду.

П. СПИВАК

Возникновение души

Михаил Яснов. В ритме прибоя. Л., Советский писатель, 1986.

Духовное средоточие тем и вариаций поэзии М. Яснова — отчий город, одаривший ранними, самыми сильными впечатлениями, сформировавший угол зрения, возглавивший иерархию ценностей.

> Когда я уеду из мест,
> где жил за полвека до смерти,
> что вспомню? Я вспомню подъезд
> под аркой на Невском проспекте.

Молодой поэт — достойный ученик так называемой «ленинградской школы». Он принадлежит к тем людям, которые, привыкнув с младенчества смотреть на «мраморную фауну, на гранитную флору», вовсе не чувствуют себя неполноценными и обездоленными. Отнюдь! Судьба не обделила их ни естеством, ни насущностью жизни со всеми ее дарами. Александр Кушнер высказался когда-то от имени этих людей с полемическим запалом: «Как клен и рябина растут у порога, росли у порога Растрелли и Росси, и мы отличали ампир от барокко, как вы в этом возрасте ели от сосен». Слова эти мог бы повторить и Яснов, однако повторять ему, как правило, не свойственно. Он — при всей очевидности «школы» — поэт самостоятельного взгляда, жеста и тона. Вот и означенную ноту он ведет на свой лад — без явной полемичности, но твердо и весьма достойно.

Яснову изнутри присуще ощущение Ленинграда как природно живого, одушевленного, страдающего, родного существа. Традиция эта идет от образа Петербурга в поэмах Пушкина, через блоковский город — в наш нынешний лирический реализм.

Михаил Яснов не просто отражает в стихах архитектурный строй великого города на Неве (таких скучноватых иллюстраций предостаточно и без него!) — интересно следить, как город лепит поэта. Здесь, в Ленинграде, сетка яблок и бутылка кефира на равных соседствуют с кариатидами и атлантами, мелочный, «низкий» быт уравнен с вечным и тем самым невольно укрупнен в масштабе. Историзм естественно переплетается с современным демократизмом — и то, и другое от этой органичной связи выигрывают. Рискну предположить, что постоянное и повседневное ощущение себя в контексте гармонии, стройности, чуда придает авторскому зрению особый ракурс: он и в житейском «соре» без натуги обнаруживает сказочную красоту и головокружительный смысл.

Городской послевоенный быт, в котором нескладный мальчишка «к дому бежал от войны», представляется самой сильной и выношенной темой ясновской книжки. Удивительно стихотворение «Проходные дворы», в котором длинная строка исповедального речитатива не укачивает, а расталкивает дремлющую память:

> Сквозь неловкое детство — и кровь ударяла в виски —
> проходными дворами я к дому бежал от тоски
> одиноких гуляний, бежал проходными дворами
> дни за днями,
> как подпасок на звук колокольчика в чаще заблудшей коровы,
> за тревожащим школьным звонком...

Заметим, кстати, что сопоставление городского парнишки с подпаском не случайно: тут не в лоб, но ненароком осуществляется то же уравнение в правах городской и сельской правды, боли, природы...

Стихи «Послевоенный город», «Перекресток», «Деревянное детство» отмечены точностью деталей и той взволнованностью, которую некогда обозначил Пастернак: «О детство! Ковш душевной глуби...» В лирике М. Яснова детство — это огромность и неслучайность мелочей. Детство — это и неприкрытость горя, которое из чужого сразу становится твоим:

> Безногий мальчик на панели
> в большой разлапистой шинели,
> в толпе, метущейся, как дым,
> сидит — и кепка перед ним.

Детство — это, несмотря на горькие следы блокады, на разруху, тесноту и скудость, счастье жить, жажда общения, неукротимый оптимизм. Жизнелюбие (но без эгоизма) вообще свойственно лирическому герою Яснова, который со своей вечной самоиронией и доброй усмешкой называет это проявившееся с малых лет свойство — «восторг, простор и крик»!

Волна оптимизма и человеколюбия пронизывает стихи Яснова о городских ремеслах, схожие своей поэтикой с детскими песенками, загадками, считалками, но не лишенные зрелых философских открытий и обобщений. Смолистые запахи мебельной фабрики; рыжий стекольщик со сказочным ящиком на ремне; бородатый старьевщик; издательские грузчик и шофер... Да, зримость и ритмическая четкость стиха здесь детские, а вот взгляд на вещи куда как взрослый. Например, в стихотворении об уличном точильщике автор незаметно обнажает и скрытые пружины своего собственного ремесла:

> Радости и печали —
> вместе давным-давно,
> маленькое и огромное
> тесно переплетено.
>
> И от их сопряженья
> крутится круг времен,
> и возникают искры,
> и звенит небосклон.

На мой взгляд, реже возникают искры и звенит небосклон в поэзии М. Яснова, когда он, отходя от демократичного реализма собственной лирики, самоцельно демонстрирует книжную культуру и филологичность (которые не вызывают никаких сомнений, когда проявляются косвенно, подспудно, невзначай). Мало трогают нерастворенные реминисценции (типа такой: «этой хандры беспричинность точно напета Верленом») или жеманное «окультуривание» будничных зарисовок: «здесь, как герой в античной драме, песок склонялся под ветрами...» Это, вероятно, неизбежные издержки любой «школы». А самобытная сила Михаила Яснова — как раз в непосредственных впечатлениях. Уверена, что он это осознает и сам. Опять же не без самоиронии вспоминает поэт в одном из стихотворений ранние мальчишечьи споры с их только еще обживаемым интеллектуализмом:

> Как будто на стыке культур,
> входили в словесные стычки
> вершащий судьбу каламбур,
> цитаты, отсылки, кавычки.

Характерно, что в финале этого стихотворения автор признается, что от тех споров осталось лишь немое изображение: «все помню, но слов — не осталось».

Отдавая дань мощной прелести культурно-поэтической «переклички» (термин А. Кушнера), я все же полагаю, что для поэта ясновского склада она лишена перспективы. Ему естественнее ориентироваться (что он на практике и делает) на собственные «формулы», даже когда насыщенная интеллектом память подсказывает цитату или отсылку.

Лучшие стихи Михаила Яснова — многолюдные, добросердечные, склонные к просторечию и прозаизму, тяготеющие то к пластике детского рисунка, к наиву, то к сочности фламандской кисти. Стихи эти *дышат*, темпераментно раздвигая и раскачивая ритмику (Яснов любит то короткие, то протяжные и, как у Ин. Анненского, «прерывистые» строки), нашептывая неожиданные созвучия, подсказывая ни на кого не похожие образы и метафоры:

> ...Грудью на сеть
> навалилась смородина,
> роняя красные слезы
> в птичьи клювы...

Стихи Яснова во все глаза глядят вокруг и непритворно сочувствуют миру, особенно его детям и старикам. Поэт признается:

> Учусь одной, но главной теме:
> возникновению души...

Однако пора ученичества уже миновала — книга «В ритме прибоя» свидетельствует о том, что возникновение творческой души состоялось. Как-то она будет расти дальше?

Татьяна БЕК

Серьезно и непринужденно

•

Б. Сарнов. Бремя таланта. Портреты и памфлеты. М., Советский писатель, 1987.

•

Недавно бойкая литературная дама, не на шутку осерчав на статью профессионального критика, обрушилась с раздраженной филиппикой на критику. Не на того или иного ее представителя, на критическую деятельность в целом. Без тени смущения она заявила: критика — второстепенный жанр литературы. Едва ли стоит тратить полемический пыл на доказательство истины, что критика — не жанр, а род литературы. Не в терминах суть. Удручает сама постановка вопроса. Выходит, рифмованное или верлибренное чириканье каких-нибудь литературных воробьев и воробьих или фабульное плетение всяческих несообразностей, как день от ночи далеких от реальных обстоятельств реальной действительности, при любой погоде более значимо, нежели всякая, в том числе отмеченная умом и талантом, критическая «продукция».

Рассерженного автора вышеупомянутого утверждения можно было бы как-то понять, если бы он обратил свой гнев на критику последнего двадцатилетия, которая и в самом деле чем дальше, тем больше низводилась до второстепенной роли. Критика, всегда ценная прямым и открытым разговором о наболевших проблемах жизни и литературы, куда в большей мере, чем, скажем, поэзия или романистика, зависима от злобы дня, которая определяет характер ее существования. В годы, ныне названные застойными, особенно трудно пришлось критике. Условия, в каких она оказалась, не способствовали объективному и честному разговору о коренных процессах, происходивших в обществе и в литературе.

Разные критики реагировали на сложившееся положение вещей по-разному. Одни из них, не имея возможности в полный голос высказываться о состоянии дел в современной словесности, углубились в исследование проблем теории и истории литературы. Другие обнаружили эластичную способность, красноречиво и тонко рассуждая о второстепенном, начисто игнорировать главное, которое добросовестный критик не упускает из виду даже тогда, когда его внимание занято сугубо частными фактами. Третьи проворно приспособились к ходовым лозунгам времени и, клянясь в приверженности святым заветам нравственности и искусства, угодливо обслуживали сильных мира сего, в первую очередь тех, кто занял административные высоты в литературных департаментах.

Б. Сарнов относится к той, не самой многочисленной, но все же и не совсем малолюдной категории критиков, которые не то чтобы вовсе замолчали, а постепенно как-то выбыли из обсуждения текущей литературы. Имя этого автора, деятельно участвовавшего в сшибках шестидесятых годов, стало впоследствии все реже и реже появляться на страницах газет и журналов. Что причина затухания активности критика крылась не в убыли его творческой потенции, не в утрате им вкуса к полемическим сечам, а в обстоятельствах, в которых ему, как и некоторым другим его собратьям по профессии, приходилось работать, свидетельствует не столько даже рецензируемая книга (вышедшая, к слову сказать, лишь через двадцать лет после издания предыдущего сборника статей Б. Сарнова), сколько его острые и горячие выступления в спорах последних двух лет.

«Бремя таланта» в основном состоит из статей, публиковавшихся в периодике. Самая ранняя из них была напечатана в 1968 году, самая поздняя — восемнадцать лет спустя. Обращаясь к той или иной теоретической проблеме, к тому или иному прозаику и поэту, к тому или иному произведению, высказывая по их поводу свои соображения, Б. Сарнов, очевидно, меньше всего помышлял о том, чтобы впоследствии, если эти статьи окажутся под одной обложкой, между ними возникла перекличка. Писались они по мере внутренней надобности, а может статься, и внешней необходимости, и в каждом отдельном случае их автор решал вполне конкретную задачу, вытекавшую из материала, с которым он имел дело. Но, объединенные в одну книгу, эти статьи образовали целостное единство. Истоки этого единства — в характере дарования критика и в той позиции, которую он последовательно отстаивает.

В статье «Семена, летящие на асфальт» Б. Сарнов рассматривает некоторые литературоведческие труды и показывает, что авторы этих работ, которых никак не заподозришь в отсутствии знаний и добросовестности, сплошь да рядом обнаруживают плачевную глухоту к искусству слова. Он задается вопросом: отчего это происходит? И так на него отвечает:

«Казалось бы, человек, занимающийся литературой профессионально, должен понимать ее лучше «простых смертных». Но иногда бывает так, что профессионал-литературовед именно вследствие своей профессии (ведь самая суть его профессии состоит в том, чтоб «музыку разъять, как труп») постепенно обретает некий дефект восприятия, мешающий ему отличить талантливое от неталантливого, художественное от нехудожественного, подлинное от неподлинного, то есть живое от мертвого.

Читая труды какого-нибудь пушкиниста, всегда можно с уверенностью сказать, что он досконально изучил работы всех своих предшественников. Но возникает ли у него потребность перечитать Пушкина? Читая книгу иного специалиста по Блоку, вы ни на секунду не усомнитесь, что автор этой книги тщательно изучил всю литературу о Блоке. Но случается ли ему когда-нибудь просто так, «для души» снять с полки и раскрыть томик Блока?»

Вопросы эти совсем не праздные. Ведь литературоведы, о которых с таким сарказмом отзывается критик, служат путеводным маяком для вузовских преподавателей и их подопечных — учителей-словесников. И если немало молодых людей по окончании школы — мы все тому свидетели — не в состоянии не то чтобы постичь, а хотя бы догадаться, чем более или менее ловко состряпанные подделки отличаются от подлинных произведений

искусства, если литература остается за пределами их сокровенных интересов и никак не воздействует на их внутренний мир, то вина за это падает (ясное дело, отраженно) на некоторых из тех ученых мужей, чьи работы убедительно разбирает Б. Сарнов.

Впрочем, все, что он говорит о профессиональном недуге иных специалистов, имеет, если отправляться от противного, непосредственное касательство к нему самому. Он — их антипод. Для Б. Сарнова художественная литература (прежде всего, разумеется, отечественная) — естественная и привычная среда духовного обитания. Он обращается к ней не по мере служебной надобности, от случая к случаю. Он с ней никогда не расстается. Он постоянно ощущает ее как живую свою спутницу. И отношение у него к ней домашнее, личное. Это проявляется не только в том, *что*, но и *как* он пишет. Он щедр на цитирование. Его статьи пересыпаны высказываниями Пушкина, Толстого, Достоевского, Горького, Блока, Маяковского, Цветаевой, Булгакова, Зощенко, Ходасевича. И может показаться, что автор избыточен в опоре на цитаты, что подчас мысли его не понесли бы заметного урона, будь они выражены «своими словами». Но в такой манере письма наличествует логика. Отчасти причина подобного способа подачи материала в щепетильности. Помня сказанное другими, критик не тщится выдать его за свое. В еще большей мере это коренится в том, что прочитанное стало неотъемлемой принадлежностью его духовного обихода.

Б. Сарнов — хороший читатель. Непосредственный и искушенный, внимательный и вдумчивый.

Легко предвидеть, что эта констатация вызовет ироническую ухмылку. Ничего себе комплимент. Нашел за что хвалить. Не поздоровится от этаких похвал. Как там ни суди и ни ряди, ценят автора за то, *что* и *как* он пишет. *Пишет*, а не читает.

Ирония — штука хорошая, но в данном случае она не совсем уместна.

Искусство критики неотторжимо от искусства чтения. Осип Мандельштам писал: «Читать стихи — величайшее и труднейшее искусство, и звание читателя не менее почетно, чем звание поэта». Эти слова справедливы по отношению к читателю не только стихов, но и художественной прозы. Что и говорить, искусство чтения — лишь одно из нескольких слагаемых искусства критики, но зато какое существенное. Не каждый хороший читатель — хороший критик, но каждый тонкий и глубокий критик — тонкий и глубокий читатель. Мы редко вспоминаем об этом. Слово «прочтение» употребляется у нас, как правило, применительно к театру, поставившего пьесу драматурга. С неменьшим правом можно пользоваться им, когда дело идет о критической работе. Ведь одна из важнейших задач критики — давать свежее прочтение литературы настоящего и прошлого. Многие беды критики проистекают из нежелания и неумения прочесть то, что написал автор. Случается, что иные критики видят в художественном произведении, о каком взялись говорить, не предмет истолкования, а своего рода стартовую площадку, отталкиваясь от которой они могут позволить себе парить где и как им взбредется. Доводилось даже слышать и читать нечто вроде теоретического обоснования такой позиции. Критика-де подобно киплинговской кошке может «гулять» сама по себе. Настаивать на ее зависимости от литературы — это принижать суверенитет критики, обрекая ее играть унизительную роль лакея при барине. И в самом деле, зачем тому, у кого развито воображение, кто за словом в карман не лезет, кто по любому поводу да и без повода готов понарассказать сорок бочек арестантов, опираться на текст, когда этот текст только стесняет полет его буйной фантазии? Читаешь такого критика, дивишься неиссякаемой его способности фонтанировать, восхищаешься безграничным его умением сервировать любые концепции, и только крошечное сомнение точит: какое отношение явленный тебе поток красноречия имеет к произведению или к художнику, ради трактовки которых он как будто взялся за перо. В оправдание такой манеры письма, которую, льстя ей, величают импрессионистической (точно импрессионизм состоит в уходе от предмета), говорится, что она служит надежным противоядием от скуки и тем самым подымает престиж критики. Аргумент нешуточный. Увы, нередко даже толковые статьи и монографии написаны так уныло, что хоть плачь, и сознание, что ты почерпнул в них полезную информацию, утешения не приносит, поскольку читать их — сущая мука.

В книге Б. Сарнова, несмотря на то, что в ней серьезно говорится о серьезном и не делается ни малейших попыток упростить сложные вещи, нет и намека на скуку. Она написана живо, увлеченно, занимательно. Но автор ее не ищет интереса на стороне. Он находит его в явлениях литературы, к которым обращается. Он рассматривает эти явления не прямолинейно, не в лоб, а «заходит» к ним с разных сторон. На первых порах может сложиться впечатление, что критик бродит вокруг да около, кружа возле занимающей его темы, и с помощью любопытных околичностей старается удержать внимание читателя. Экскурсы в историю литературы, параллели и аналогии, неожиданные, порой парадоксальные ассоциации как бы обволакивают предмет разговора. Но по мере движения сюжета каждой из статей эти косвенные улики становятся прямыми доказательствами, аргументирующими авторскую концепцию.

Нагляднее всего это видно в самой обстоятельной статье сборника, посвященной Николаю Заболоцкому. Когда

вышли «Столбцы», Александр Архангельский написал на них пародию, в которой прозрачно намекнул на сходство стихов поэта с виршами героя Достоевского капитана Лебядкина. И хотя пародисту и его читателям казалось, что подобное сравнение делает Заболоцкого посмешищем в глазах квалифицированных ценителей литературы, ничего необычного в этом не было. Пародия в конце концов на то и пародия, чтобы средствами гротескового заострения довести характерные черты пародируемого до убийственной карикатуры. Удивительно другое. Схожее мнение о близости раннего Заболоцкого опусам капитана Лебядкина высказали читатели, понимавшие толк в поэзии и меньше всего склонные задеть самолюбие автора «Столбцов». Но еще более удивительно, что Заболоцкий не только не обиделся на эту вроде унизительную для него аналогию, но сказал — и без тени запальчивости,— что ценит капитана Лебядкина выше многих современных поэтов. На эту историю можно было бы смотреть как на причудливый курьез, которому не стоит придавать серьезного значения. Так, очевидно, и смотрели на нее все писавшие о Заболоцком. Но Б. Сарнов, столкнувшись с этим фактом, не прошел мимо него, как другие, а задумался над ним. Задумавшись, стал его исследовать. Вывод, к которому он пришел и который стал ключом к истолкованию начального творчества поэта, если миновать доводы, оснащающие его, может показаться вызывающим. Шутка ли сказать, критик утверждает, что близость «Столбцов» лебядкинской музе объясняется не тем, что в них дается сатирический портрет времени, а тем, что их автор отчасти усвоил зрение несчастного капитана и взглянул на мир его глазами. Кое-кто, прочтя это, в сердцах, наверно, воскликнет: «Эк куда метнул!»

Вот тут-то и понимаешь, что петляющее повествование, прослоенное многочисленными отступлениями, где обстоятельно цитируются и разбираются Зощенко и Платонов, Каверин и Олеша, Ходасевич и Мандельштам, представляет собой не дань эрудиции, не способ развлечь читателя, а твердую опору для доказательства мысли, которой сопротивляется наше первоначальное восприятие. Не хуже других Б. Сарнов сознает, какая пропасть отделяет самобытного Заболоцкого от трагикомической фигуры капитана Лебядкина. И если у поэта возникла потребность взглянуть на мир глазами последнего, то для этого были веские резоны. Пафос примитивного утилитаризма, пронизывающий угловатые строки капитана Лебядкина, при всей своей обнаженной антипоэтичности рожден общественным устройством, обрекавшим таких, как он, на жалкое существование, при котором и помышлять было нечего о подлинных взлетах духа. Сознание своей невольной вины, вины человека, приобщенного к культуре и щедро пользующегося ее плодами, перед теми, кто от нее отлучен и вынужден пробавляться ее убогими суррогатами, сознание, которое сродни чувству неизбывной вины «кающихся дворян» перед простолюдинами,— такова почва мотивов и стимулов, побудивших молодого Заболоцкого усвоить зрение капитана Лебядкина и посмотреть на мир его глазами. Толкование, даваемое критиком, при всей его аргументированности не исчерпывает всех глубин творчества замечательного русского поэта, но оно проливает свет на подоплеки этого творчества, ускользавшие от внимания исследователей.

Новизна трактовок произведений поэзии и прозы — это относится не только к статье о Заболоцком, но и к другим статьям, составившим книгу,— связана с умением критика по-своему, свежо и непосредственно прочесть их. Связана она и с другим его качеством — не доверяться влиятельным стереотипам даже в том случае, если они выдаются за истину.

Бытовала и бытует точка зрения, согласно которой задача писателя состоит в непрерывном освоении все новых и новых пластов действительности. Утверждается, что, следуя этому наставлению, он, во-первых, сумеет отразить во всей полноте окружающее и, во-вторых, избежит страшной напасти — субъективности. Анализируя автобиографическую прозу Фазиля Искандера, Марины Цветаевой, Юрия Олеши, раскрывая художественное своеобразие их произведений, показывая, что сообщает им достоверность и притягательность, Б. Сарнов приходит к заключению: успех сопутствовал этим писателям именно потому, что они глубоко погружались в свой индивидуальный опыт, обращались к событиям и переживаниям, оставившим нестираемые следы в их памяти. Благодаря этому они сумели выявить существенные психологические и социальные закономерности. Субъективность не только не стала заслоном для объективного, но явилась дорогой к нему, ибо чем больше субъективных свидетельств, тем больше шансов, что картина мира предстанет перед нами в многосторонней полноте. Нужно ли оговариваться, что субъективность несет ничуть не большую ответственность за субъективизм, чем индивидуальность за индивидуализм?

Для такого подхода к субъективному у Б. Сарнова свои резоны. Он — его убежденный сторонник. Если под объективным понимать, как это порой водится, расхожие мнения, то критик не испытывает к нему ни малейшего почтения. Не то, чтобы он не чтил авторитеты. Достаточно ознакомиться с высказываниями многих русских писателей, на которые он опирается, чтобы увериться, что иные авторитеты он очень даже чтит. Но он не склонен брать на веру сложившиеся репутации, будь то репу-

тация ходкого теоретического постулата или громкого писательского имени. И не потому, что он стремится эпатировать публику, а потому, что он независим в подходе к литературе. Примером тому может служить статья, посвященная «Святому колодцу» и «Траве забвения». Когда она появилась, тем, кто в литературе ценит по преимуществу мастерство, казалось, что новая проза Катаева, прозрачная и пластичная, воскрешающая мельчайшие подробности быта и тончайшие нюансы атмосферы ушедшего времени, ничего, кроме похвал, не заслуживает. От внимания Б. Сарнова не укрылись эти достоинства, и он воздал им должное. Но он сумел увидеть то, чего не смогли или не захотели увидеть восторженные почитатели Катаева. Да, изощренное зрение, пристальная наблюдательность, поразительный дар воспроизведения вещного мира, искусная словесная ткань, но нет того, что вдыхает душу в литературу и что составляло неотъемлемое свойство наших великих предшественников — нравственной щепетильности, высокой совестливости или, прибегая к метафоре, которой пользуется критик, «угля пылающего».

Не могу умолчать о том, что не все оценки и приговоры в его книге кажутся мне равно убедительными. Я никак не могу согласиться с тем, что Б. Сарнов пишет о Б. Ахмадулиной, которой он, по сути дела, противопоставляет Н. Глазкова,— недаром статья называется «Двойной портрет». Критик судит стихи Б. Ахмадулиной по законам, которые, быть может, справедливы, даже непреложны, но в другой поэтической системе. Не случайно, укоряя автора «Струны» за жеманство, кружной путь мысли и другие прегрешения, критик вынужден защищаться оправдательными оговорками, которые выглядят куда более весомо, чем все его инвективные претензии. И в самом деле, искренность, верность себе, сострадание к чужому горю, готовность защищать тех, к кому немилосердны обстоятельства и судьба,— неужели этого мало? Роль, которую играет в нашей поэзии Ахмадулина, под силу ей одной — ей и никому другому. Верно, конечно, что Ахмадулина и Глазков — поэты полярные, но они не исключают, а дополняют друг друга. Давно было сказано: «В доме Отца нашего горниц много».

Кто-то, как я, не согласен с истолкованием стихов Беллы Ахмадулиной, кто-то, возможно, не согласится с другими трактовками Б. Сарнова, но едва ли отыщется читатель, который заподозрит критика в том, что в оценках явлений поэзии и прозы, ставших предметом его рассмотрения, он руководствовался предвзятым отношением к ним. По душе ему эти явления или нет, он судит о них искренне, честно, исходя из своей позиции и своего вкуса. Он исследует текст, он выдвигает доводы, он строит доказательства, а не произвольно возносит или гвоздит, как это всегда случается с критиками, которые меньше всего заняты анализом произведения, а нацелены на апологию или уничтожение его автора, для чего оказываются годными любые средства.

«Бремя таланта» побуждает нас более пристально вглядеться в знакомое и привычное. Книга заставляет думать. Не только об искусстве. О жизни тоже. Она представляет собой не самоуверенный монолог, сотканный из безапелляционных вердиктов, а непринужденный разговор, приглашающий читателя к диалогу. Иными словами, книга Б. Сарнова выполняет ту же роль, что и подлинные произведения художественной прозы, поэзии, драматургии.

Л. ЛЕВИЦКИЙ

Адрес редакции: 125872, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдел прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Сдано в набор 29.12.87. Подписано к печати 02.02.88. А 01346. Формат 70×108 1/16.
Высокая печать. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр.-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24.
Тираж 250 000 экз. Заказ № 1821.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.